

ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 6/2014

ГОД ИЗДАНИЯ 75-й



6'2014

- *Олеся Николаева*
Средиземноморские песни
Стихи
- *Александр Мелихов*
Мой маленький Тадж-Махал
Роман
- *Ветер с Гудзона*
Антология современной
русской поэзии Америки
- *Надежда Сырых*
Еще раз об Англии
- *Николай Божков*
Сказы хутора Сторожевое

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJORNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomrk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.04.2014.
Подписано в печать 05.06.2014.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,7.
Уч.-изд. л. 18,63. Тираж 2000 экз.
Заказ 6035. Цена свободная.

Дружба народов

6'2014

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ
Лев
АННИНСКИЙ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА
Наталья
ИГРУНОВА
Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ
Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Резо
ГАБРИАДЗЕ
Алла
ГЕРБЕР
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Александр
КЛЯЧИН
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Олеся НИКОЛАЕВА. Средиземноморские песни. Стихи	3
Александр МЕЛИХОВ. Мой маленький Тадж-Махал. Роман	7
Ветер с Гудзона. Антология современной русской поэзии Америки. Вступительная заметка Галины Климовой и Андрея Грицмана	86
Александр ЖЕЛЕЗЦОВ. Дорога. Триптих	103
Игорь МЕЛАМЕД. Последние стихи	115

События. Суждения. Судьбы

Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Уроки с репетитором, или Министр собственной безопасности. Авантюрная биография кабинетного человека. Окончание	117
--	-----

Золотые страницы «ДН»

Александр КУШНЕР. Стихи и переводы	161
Имант АУЗИНЬ. О напряжении. С латышского. Перевод Александра Кушнера .	165
Алиса ГАНИЕВА. Мир абрагов (Чабуа Амирэджиби. «Дата Туташхиа»)	166

Нация и мир

Надежда СЫРЫХ. Еще раз об Англии... ..	168
--	-----

Публицистика

СТРАНА РОССИЯ	
Николай БОЖКОВ. Сказы хутора Сторожевое	191
Нина СЕВЕРИКОВА. Философ в битве за Москву	217

Подробное чтение

Ольга БАЛЛА. Опровергая иллюзию смерти	220
--	-----

Книжный развал

Александр КОТЮСОВ. Бог, любовь, воздух и одиночество	226
Марина МИХАЙЛОВА. Большая жизнь малого мира	229
Ольга ГЕРТМАН. В зоне Божьего слуха	232

Эхо

Одиннадцать острот Черчилля о России. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	237
--	-----

Summary	240
---------------	-----

Олеся Николаева

Средиземноморские песни

Лестницы

О, какие страсти мелкие, как с такой тщетою жить,
Как бы лестницу верёвочную для побега мне добыть?
Чтобы не к местам болотистым: а к вершинам править путь,
Эту лестницу верёвочную аж до облака тянуть.

Сколько надобно терпения в каждом пальце и в горсти,
Чтобы лестницу верёвочную завязать и заплести!
Всё, что знала злого, доброго, чем богата на веку,
Всё отдам за стебли гибкие, за канаты и пеньку.

Чтобы лестницу верёвочную прямо к туче прицепить.
Чтоб на воздух ускользящий осторожно наступить.
И раскачиваться по ветру меж сосною и луной
С этой лёгкой-лёгкой лестницей невидимкой потайной.

А под утро, глядь: качаются между твердью и травой
На таких же дивных лестницах, наполняясь синевой,
Други, недруги и сродники, незнакомцы — там и тут
Все по лестницам раскачанным лезут, тянутся, ползут.

Замирают в страхе, падают и опять стремятся вон
Из котла, где нечисть варится, где кошмарный снится сон.
Не сбежать оттуда посуху и не скрыться под водой
Лишь по воздуху, по облаку, лишь по туче кучевой.

А навстречу — кто там движется — сверху вниз, наоборот,
По незримым тонким лестницам кто же спустится вот-вот?
Всё так странно, недосказано, не проявлено, зато
Кто отважится, поднимется, тот узнает, кто там кто.

Николаева Олеся (Ольга) Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Автор 6 книг стихов, нескольких книг прозы, статей и эссе по православной этике и эстетике. Профессор Литинститута с 1989 г. Лауреат премий Бориса Пастернака (2002), «Anthologia» (2004), «Поэт» (2006) и др. Живет в Переделкине.

Сын

Пригрейте сиротку, приютите малютку!
Чтобы он по чужим дворам не шатался,
На чужих ветрах не трепался.
Чтоб папаша его Дракон спал в нём — не просыпался.

Чтоб мамаша его лихая
Не нащёптывала с того света злое,
Чтобы его не мучило чужое бывшее.
Гибельное, гнилое.

Порхайте над ним, как феи, пойте ему как музы,
Распутайте, разорвите спеленавшие его узы,
Расколдуйте, как принца сказочного, как героя,
Спрячьте его от погони за озером и горою!

За маленьким бедолагой волочатся сети, к нему тянутся пясти,
Рваные рты вослед раскрываются, монстры пиковой масти.
Пусть он рисует красками всё, что ему приснится:
Клювы без головы, без панциря черепахи,
на длинных ногах мокрицы.

Вы повесите это на стенах, на доме и на заборе:
— Это наш маленький Босх. Как тебе, Сальвадоре?
Выйдет к гостям в белоснежной рубашке, шейный платок из ситца.
А вы уже — старики. И можно не суетиться.

Мёртвая голова

1

Словно мухи мёд, дребедень пожирает мозг.
И хоть дунь, хоть плюнь — понабились в рот чужие слова.
И свеча уже еле теплится, оплывает воск.
Говоришь, а в ответ — мёртвая голова.

Оттого и ангелы замолчали, а запоют,
Так улитка раковины ушной мембраной не задрожит,
То стеклом по стеклу, то в железо железом бьют,
Кость о кость стучит, зуб о зуб, издыхающий пёс лежит.

Я тебе говорю: «Надо что-то делать!» Еле жива,
Заметалась туда-сюда, искушая судьбу.
А навстречу мне из потёмков — мёртвая голова
И глазные яблоки у неё на лбу.

И подземный зверь ворочается, и земля гудит,
И ветра над нами сталкивает воздушный змей,
И кричит, надрываясь, баба, пока не родит,
И никто никакого смысла не видит в ней.

А скажи: «Свет Божий, красота, синева»,
А скажи: «Любовь», а скажи: «Небесный язык»,
Так в ответ тебе лишь мёртвая голова, мёртвая голова:
Ходит по горлу туда-сюда острый кадык.

2

Чтобы мёртвую голову оживить,
Дух вдохнуть, колесо крутануть,
Черенок небесного винограда привить
И — беспутной — вчерне вычертить путь;

Надо умолить Всевышнего, в его садах
Понемногу брать того-этого: свет, соль.
И в его укладах, в его ладах
То диез себе выпросить, то бемоль.

...Будем же мёртвую голову оживлять,
Вызывая бури, восторг, потоп,
Чтоб она и умничать могла, и валять
Дурака. Но прежде этого — чтоб

Славословить и словесно варить
Брашно — духу, а телу — прозрачный свет,
Языками разными говорить,
Создавать миры, завивая их в свой сюжет.

Ибо даже девушке с пирсингом, парню с тату
Дядьке с глазами рыбьими, с куриным яйцом во рту
Или прилизанному, со змеиной улыбкой, — неважно
Переносить эту глухоту, эту немоту.

Каждый пробует вкус удалить свинца, чешую соскрести,
Снять железную маску с лица, кожу содрать в шерсти.
С кем-то случайно встретиться, притронуться невзначай.
Чтобы всё вокруг зашаталось, охнуло! Ёкнуло! Ой да ай!

Чтобы мёртвая голова закачалась, чтоб часики завести!
Мёртвая голова, так слушай, носа не вороти,
Медленно оживай, волос что молочай.
Не спрашивают — молчи, спросили — так отвечай!

Монсеррат

Герой и аскет, как он борется с телом,
А паче же с плотью и прелью:
Семь суток не пил он, семь суток не ел он,
Семь лет не выходит из кельи.

Он знает, как страсти на душу войною
Идут и горланят стоусто,
И надо платить за победу ценою
И жизни, и крови, и чувства.

А я-то сдаюсь и ни с чем не воюю,
И дело моё легковесно,
И душу подвижную, душу живую
Я не ощущаю телесно.

Я с девами девой была чуть жеманной,
Я братом был братии в храме,
А зеркальцу — облачком, знаком туманным
На чуткой его амальгаме.

И можно развеяться в шири безмерной,
Распастся от этой свободы,
Раз нет ни хребта у души легковерной.
Ни гендера нет, ни природы.

Пророчество

Будет у тебя много свобод, много утрат, много наград,
будет царапать кошачий коготь, пробираться холод собачий,
Будет тобою править оленевод, будет и конокрад,
будешь петь средиземноморские песни, среднерусские плачи.

Будет у тебя и жених и муж, и отец, и сын, и дочь, и брат,
Будет у тебя и мать, и друг, и подруга, и — целый свиток.
Будет у тебя в винограднике виноград, будет беда, насад,
Яблочки отравленные и сад, полный улиток.

Будет у тебя лента в косе алеть, и закат гореть,
И сердце будет чувствовать каждое дуновение,
И сны ты будешь разгадывать, и будет у тебя смерть,
Будет у тебя погребенье.

Выбери эту жизнь, лёгкий её состав
Тайны, любви и боли, музыки и эмали.
В Книге уже описано где-то в одной из глав:
С ночи пыльцу собирали, краски соединяли.

Выбери, чтобы — быть! Выбери, чтобы — стать!
В Книге давно написано на предыдущих страницах:
Мать колебалась долго: рожать или не рожать?
Но вдруг дитя шевельнулось под её платьем в птицах.

Александр Мелихов

Мой маленький Тадж-Махал

Роман

Маргарита Кузьминична как будто от самого рождения жила за мужем именно что как за каменной стеной, чувствуя себя уверенной и строгой хозяйкой дома и матерью. Даже вызывая к мужу неотложку, она немножко отчитала диспетчершу, а на прибывших медиков, усевшихся заполнять какие-то бумаги, прямо-таки прикрикнула: да не сидите, делайте же что-нибудь! «Что же мы можем сделать, — с мучительной досадой пожал плечами главный. — Он уже окоченел».

Оказалось, строгость ничего не стоит против жизни. То есть против смерти. И когда к Маргарите Кузьминичне вернулась способность хоть что-то слышать и понимать, вместе с нею вернулось и другое, давно забытое орудие защиты — растерянная улыбка запуганной маленькой девочки.

* * *

А Виктор Игнатьевич в свой роковой день наоборот впервые почувствовал себя *уважаемым человеком*. Да, ушедшие в Москву документы на заслуженного деятеля науки, да, личный служебный кабинет, — все это, конечно, хорошо, но *положено*, а по-настоящему уважаемым человеком себя можно почувствовать, только когда получаешь что-то неположенное. И он это неположенное получил с упоительной легкостью: набрал номер заведующей отделением, представился без всяких этих титулов, а что он при своей относительной молодости профессор и заведующий кафедрой — это Лине Васильевне уже и без того известно через жену, так что и отнеслась она подобающим образом: назначила встречу, ни словом не упомянув о приемных и неприятных днях и часах, да еще осведомилась, удобно ли ему вечернее время. Да и приболевшая тетюшка, чье здоровье он собирался обсудить, тоже своей незатейливостью дополнительно подчеркивала ту высоту, на которую он сумел подняться.

Александр Мелихов — прозаик, публицист, автор многих романов, лауреат литературных премий. Постоянный автор «ДН». Последняя прозаическая публикация в журнале — роман «Подручный Орфея», «ДН» № 4, 2013.

Журнальный вариант.

И в набитом автобусе он, словно цыплятам, рассыпал оттуда ласковые крошки своим скромным спутникам: отодвигался, прогибался, провисая на перекладине, вжимался, ужимался, ничем не выдавая своего превосходства: гражданин как гражданин, и шляпа на нем как шляпа, и пальто как пальто... И к соседям он испытывал некоторое даже умильное чувство: ведь, в конце концов, это они постарались окружить уважением и заботами его, несущего бремя духовных тягот.

Виктор Игнатьевич и к больнице подходил с тем же выражением кроткого простодушия чуточку не от мира сего, — и с тем же выражением пробирался сквозь густо замешенную, но еще сочную осеннюю грязь, истыканную отпечатками, словно звериная тропа на водопой. Он с чуточку детской растерянностью перепрыгивал с предмета на предмет, с чуточку преувеличенной неловкостью взмахивал руками и с каким-то трогательным изумлением вглядывался во вдавленные в грязь предметы, которыми посетители гатили опасный участок. Испачканный ботинок в тот вечер и подлинно не огорчил бы его всерьез, — все равно ведь он был *уважаемый человек*.

В вестибюле уборщица, — кажется, здесь их называли нянечками, — орудуя метлой, будто веслом, гнала по истертому кафелю могучую лужу — упрямо выгребала от кого-то в каное против течения — простая женщина, занятая нелегким непрестижным трудом, потому что кто-то ведь должен его делать, — трудом, однако, дающим ей самое драгоценное — душевный мир, который так редко приходится вкушать деятелям духа.

Виктор Игнатьевич потоптался у входа и с долей чудаковатости оглядел помещение. Нянечка покосилась на него и сразу поняла, что мысли его совсем в другом мире, — и дуновение этого мира коснулось ее души внезапным ощущением крайней мелочности ее житейских забот и неподдельным интересом к этому необычному, а казалось бы, такому непримечательному человеку.

Убаюкан до такой удивительной степени Виктор Игнатьевич был тем, что ему уже довольно давно стало беспрерывно везти. Везти настолько давно, что само понятие «повезло — не повезло» успело улетучиться из его словаря, заменившись понятием «заслужил — не заслужил».

— Ох, напачкаю я вам, — посетовал Виктор Игнатьевич голосом счастливой мамыши, извиняющейся за своего малолетнего отпрыска.

— Куда «напачкаю» — никуда не напачкаю! — вскинулась уборщица («нянечка» — это вдруг сделалось для нее чересчур ласкательно) — оказалось, она в своем каное вовсе ни от кого не спасается, а, наоборот, настигает.

Виктор Игнатьевич, убавив чудаковатости, прямо посмотрел на нее, приподняв брови и чуть сдвинув фокус зрения, чтобы неотчетливо видеть ее лицо, — так он смотрел на аспирантов (в переводе — помогающих): умная, следовательно, немного юмористическая, рассеянная любезность и неременное присутствие юмористического удивления — это создает дистанцию, когда что-то в собеседнике вызывает юмористическое недоумение.

— Что значит «никуда не напачкаю?» — тонко подчеркнув «никуда», спросил Виктор Игнатьевич и тут же пожалел, что спросил.

— То и значит, что нечего ходить взад-вперед! — и она так взмахнула веслом, что прутья в луже зашипели, а воздух заметно посвежел от водяной пыли, словно в близости прибоя или фонтана, и уборщица на миг застыла в наклоне, будто ведьма, приготовившаяся оседлать свое помело.

Виктор Игнатьевич глянул на нее построже — с достоинством — и мучительно ощутил, до чего не идут к этому достоинству и его шляпа как шляпа, и

пальто как пальто, и лицо как лицо, и самый способ, которым он сюда попал, прыгая с кочки на кочку.

— У меня назначена встреча с заведующей отделением, — для сановности начиная гнусавить, произнес Виктор Игнатьевич. Он хотел еще прибавить: что значит «нечего ходить!», но удержался, чтобы не повторять и тем самым как бы признавать существующими эти безобразные слова. Вместо этого Виктор Игнатьевич добавил: — Я — профессор Ложкин.

Виктор Игнатьевич как-то подспудно попытался намекнуть, что пришел сюда не в качестве рядового посетителя, а по каким-то особым профессорским делам. И зря он это прибавил.

— Ах, прахвесор! — гостеприимно воскликнула хамка. — Тут все прахвесора... А раз прахвесор, то и читайте неприемный день.

Непристойное эхо носилось по вестибюлю, сейчас начнут выглядывать любопытные. Уборщица, оставив метлу, решительно взялась за швабру — изорванная тряпка метнулась, как отяжелевший язык пламени, — и начала беспорядочно ширять шваброй во все стороны, словно в бессмысленном танце, и вся эта разнузданность, очевидно, адресовалась Виктору Игнатьевичу.

«Каждому еще объяснять», — подумал Виктор Игнатьевич и двинулся вперед. С этой публикой...

Уборщица тоже шагнула вперед и, взяв швабру наперевес, уставила ее на Виктора Игнатьевича, будто рогатину на медведя. Перевернутое пламя качнулось и весомо застыло траурным, прошедшим огонь и воду штандартом.

Виктор Игнатьевич возмущенно, — так сказать, не веря своим глазам, — воззрился на нее, уповая на то, что она все же устрашится своего деяния, в самую возможность коего добрые люди и поверить не могут, воззрился и понял, что да, сделай он шаг — и она не поколеблется сунуть мокрую тряпку прямо ему в физиономию. Лицо, кстати, у нее было позначительнее, чем у него — аскетическое, с впалым, привычно стиснутым ртом: нижняя губа словно поджимала верхнюю к пригнетенному книзу, резко очерченному носу — такие лица часто встречаются на рисунках Леонардо, попадают они и среди римских цезарей. Только нездоровая отечность чем-то посторонним кое-где легла на эти черты, отечность, поднимающаяся, очевидно, снизу, потому что ноги у нее были хотя и не толстые, но сплошь в ямках, похожих на вмятины от пальцев ваятеля.

Всего этого Виктор Игнатьевич не разглядел, но он прекрасно заметил и оценил и решимость взгляда, и банно-пятнистые, алкогольного оттенка разводы в окрестностях носа. Тем не менее, Виктор Игнатьевич, возможно, и попытался бы что-нибудь предпринять, но где-то в неведомой дали послышался распорядительный голос Лины Васильевны. Виктор Игнатьевич, конечно, мог бы позвать ее на помощь, но посудите, каково это — предстать перед дамой, с которой только сегодня любезно беседовал в качестве престижного клиента, в образе затравленного медведя, из глубин коридора взывающего об избавлении.

Виктор Игнатьевич наспех пожал плечами и в пять шагов оказался на улице. Там, забыв об интеллигентной неловкости, он живым духом проскакал до твердой асфальтовой почвы, где и сам отвердел душой и зашагал по переулку, еще более укрепляясь от вида собственной тени, которая, хотя и чрезмерно выламывалась, но руками размахивала очень энергично и, казалось, даже сердито пофыркивала. Виктор Игнатьевич и на автобусной остановке раза три энергично прошелся туда-сюда, но рядом, как всегда некстати, торчал народ, отчего прохаживаться было неловко, тем более пофыркивать, так что ему поневоле пришлось более или менее осознать случившееся, то есть разжать холодный комочек в животе, позволив холоду заполнить все опустевшее тело. И

ощутить — не то что дрожь, но некую вибрацию, словно идущую извне, через пол, как это бывает в самолете.

И жуть вдруг взяла, что есть же во вселенной такие ужасные закоулки, в которых на людей наставляют швабры. Виктор Игнатьевич внезапно понял, что огражден от оскорблений и даже насилий, в сущности говоря, лишь доброй волей окружающих — вот хотя бы и нынешних его коллег по ожиданию автобуса. Каждый из которых был опасен по-своему. Щуплый потертый мужичонка с застарелой невыбритостью на обвисших худых щеках, стынувший в неподвижной покорной позиции, еще трое мужиков, до сих пор воображающих себя парнями, две тетki, женщина с ребенком лет пяти...

Мужики опасно перешучивались, особенно усердствовал самый глупый, который после каждой шутки победно озирался, а потому мог обратить внимание и на Виктора Игнатьевича. Шутник этот так, видно, врос в победительный наряд своей великолепной юности, что до сих пор продолжал им кичиться и принимать молчаливые знаки восхищения его сально оглаженным коком, толсто и округло вздернутым носом, брючками дудочкой и треугольным пальто основанием вверх. Громогласность свою он явно считал столь же общественно полезной, как у диктора на вокзале.

Так что им стоит оскорбить, ударить и скрыться, хотя бы и в эти нагие и все же непроницаемые кусты, — никто ведь не побеспокоился поставить здесь дежурного милиционера! А ведь эти еще паиньки, а могут подойти и настоящие бандиты!..

Но где же, где же, где же автобус? Виктор Игнатьевич то и дело готов был сорваться с места, чтобы заходить взад-вперед, подобно тигру в клетке, но вовремя спохватывался, чтобы не привлекать к себе внимания. «Безобразие, безобразие», — повторял он одним языком без помощи губ, ибо даже их движение сейчас представлялось ему опасным.

— Безарбузии! — вдруг, победно оглянувшись, объявил громкий, и Виктор Игнатьевич вздрогнул. — Двадцать минут нет автобуса! — и громкий небрежным шелчком стряхнул пепел с сигареты, которой он не затягивался, а специально держал на отлете, словно огонек на крыле самолета.

С невыразимой надеждой и мольбой Виктор Игнатьевич пытался взглядом проникнуть за угловой дом, чтобы выволочь оттуда за шкуру упирающийся автобус (фонарь на углу в осеннем тумане напоминал одуванчик). Из случайных звуков, отсветов воображение формировало за углом один автобус за другим, но каждый раз горько обманывалось. Вдобавок еще и громкий время от времени радостно восклицал: «Идет!», поясняя с задержкой: «дым из трубы» или «по крыше воробей», и победно оглядывал подданных, а Виктор Игнатьевич потупливался. Один из приятелей всякий раз отвечал громкому: «Говорил, на полтинник надо было идти».

Наконец, заваливаясь на правые колеса, из-за поворота плавно, как самолет, вырулил полный света аквариум; номера впереди нет, — обязательно нужно терзать людей до последней секунды. Притормозил, припал на передние колеса, — снова семерка!

Что коллегами Виктора Игнатьевича было воспринято с возмутительным безразличием. Щуплый вообще не шевельнулся, а остальные...

— Смотри, Ириша, вот цифра семь. Видишь? Семь, — это женщина с ребенком, девочкой, стало быть. Певучая дидактика.

— Опять седьмой.

— Уже вторая.

— А потом три подряд двадцать третьих приедет, — это тетki.

И молодящиеся мужики:

— Ты смотри, твоюмать, опять семерка пикирует!

— На полтиннике бы давно доехали.

— Слышь, Шурик, беги, бери диспетчера за галстук, чтоб быстрее лаптями шевелил. А то, скажи, усы без наркоза повыдергаю, — и обширный победный взгляд.

Снова семерка. Это и впрямь издевательство.

— Ну-ка, Ириша, какая это цифра? Правильно, семь, — выводит терпеливо и ласково.

— А потом подряд три двадцать третьих будут.

— Четыре. Они кончат партию в домино и поедут.

— Опять семерка, птвоюмать! — возмущенное удовлетворение.

— Он что, вокруг квартала ездит?

— Слышь, Шурик, ложись под колесо, пусть он через тебя буксует. Скажи: пока не повезешь к Ваське, не встану, — победный взгляд.

А подлинного возмущения — ни в ком! Виктор Игнатьевич незаметно для постороннего глаза приплясывал на месте.

Очередная семерка. Они проходили без задержки, свободные и празднично иллюминированные, как трансатлантические лайнеры. Карнавально серебрился асфальт.

— Ну-ка, Ириша, сколько автобусов прошло? — приободряет дидактически. — Неправильно, подумай.

— В это время всегда плохо ходят.

— Надо в управление написать, сорок минут стоим...

— Больше, сорок минут было, когда третья подошла, давно уже надо было написать.

— Да ты что, птвоюмать, опять семерка?

— Точно, вокруг квартала ездит. Говорил, на полтинник...

— Слышь, Шурик, бери его за задний мост...

Но подлинным возмущением все-таки и не пахнет. Удивительное неуважение даже и к собственным словам! Однако в теперешнем состоянии Виктор Игнатьевич не осмеливался и рассердиться как следует, а на всякий случай старался поглядывать на соседей с симпатией. И когда подошел подслеповатый на правый глаз вожделенный Двадцать Третий, Виктор Игнатьевич пропустил их вперед, хотя едва не начал при этом приплясывать в открытую.

В автобусе навстречу Виктору Игнатьевичу, чернея узким цыганским лицом, решительно шагнул высокий парень. Виктор Игнатьевич отпрянул, а парень, не заметив его испуга, хватаясь за перекладины, прошатался к выходу. Это была последняя вспышка неврастения. Заняв изолированное место у колеса, среди людей, — что ни говори, а все-таки лишь от них приходилось ждать защиты, — Виктор Игнатьевич несколько расслабился.

Сбоку послышался знакомый голос:

— Слышь, Шурик, а ты сунь пятак в компостер, раз — и пробей. Или зубами пожуй, — и победительный взгляд окрест себя. И снова: — Шурик, держись за воздух, а я за тебя.

Виктор Игнатьевич задержал на своем недавнем громком коллеге долгий насмешливый взор. На его лице наметилась даже простодушно-умненькая улыбка. И — раскаленным шилом: грязная тряпка у лица, непреклонный взгляд, россыпь фиолетовых волосяных червячков вокруг носа и — абсолютная беспомощность. Ужаснейший гнев поднялся из груди Виктора Игнатьевича. Схватить эту мерзкую швабру, резко вырвать — стоп! — а дальше что? Визгли-

вые вопли, толпа белых халатов и фланелевых пижам, он едва удерживает рвущуюся мегеру, — а может быть, и не удерживает, и кто знает, что за этим последует, — письмо хотя бы в ректорат: заведующий кафедрой подрался с уборщицей... Кошмар!

Но почему, почему *она* ничего не боится?! Да ясно же почему: потому что ей нечего терять. А ему есть, он сам этого и добивался всю жизнь. Но почему же терпят в обществе таких гадких, никчемных... — и снова нечаянно понял: отнюдь не никчемных. Такие, как она, необходимы обществу для всяких непрестижных работ. Мы прикованы к взаимной нужности, как каторжники к общему ядру, совсем уж неожиданно подумалось Виктору Игнатьевичу: взаимная нужда согнала нас из лесов в города и заставила, ненавидя друг друга, все-таки подтирать друг за другом грязь или возлагать на себя общие духовные тяготы. Виктор Игнатьевич сам поразился циническому размаху своих обобщений, но чувствовал, что обобщения эти, в сущности, в чем-то не так уж новы для него.

Да, люди эти, увы, нужны ему... А он им? Понимают ли они, что в сравнении с его заботами их собственные дела и так далее? И снова всплыло непреклонное лицо с волосистой фиолетовой россыпью, — и понял Виктор Игнатьевич, что не ценит эта публика его трудов и ценить не собирается...

Виктор Игнатьевич пристально оглядел доступную его взору часть пассажиров и всюду обнаружил вопиющую нескромность. Все были откровенно поглощены жалкими собственными делишками. Непременная милующаяся парочка — пресерьезно воркуют голубками, ничуть не беспокоясь, что таких, как они, миллиарды уже перебивало на земле и еще столько же перебивает. Бабуся в вязаном платке, расширяющем голову к плечам, покатым из-за того же платка под пальто, делающего ее похожей на мышь (туда же лезет в автобус!), суетливо спешит захватить свободное место. Веснушчатая худая девица раз и навсегда отвернулась в окно. Другая, смазливо-припухшая в кожаном пальто (рукав у локтя — ни дать ни взять щиколотка хромового сапога), знать даже не хочется, до какой степени он для нее пустое место: не аспирантка она и не младший научный сотрудник, не способен он ей доставить ни одного из ценимых ею удовольствий. Очкастый умник в глубокомысленных моржовых усах стоя читает книгу, наверняка дурацкую. Никому и в голову не приходило испытывать к Виктору Игнатьевичу какое-то особое чувство. Суд толпы...

Виктор Игнатьевич встал и с непреклонным лицом, напористо склонив голову, твердой, насколько это возможно во время движения, поступью начал пробираться к выходу. В подъезде, в почтовом ящике он обнаружил большой конверт. Опять что-нибудь выпрашивают (что именно выпрашивают, а не, наоборот, предлагают, Виктор Игнатьевич не сомневался: все, что мог, он уже получил). И в лифте Виктор Игнатьевич с мрачным удовлетворением ощущал, как он неуклонно вместе с кабиной надвигается головой вперед, — в таком движении есть что-то упорное, бычье.

Жены не было, и Виктор Игнатьевич, кажется, даже знал, где она, но ему так великолепно удавалась суровая напористость, что не хотелось отвлекаться, вспоминать.

Вот только к лицу ли она ученому, суровая напористость? И решительный кивок — да, к лицу! Современный ученый — это деятель! В литературе же, а может, просто в воздухе до сих пор носится тип чудаковатого рассеянного профессора, снимающего галоши при входе в трамвай. Тому каноническому профессору легко было чудаковатствовать, все больше воодушевлялся Виктор Игнатьевич, в те мифические времена самые предприимчивые шли не в науку,

а в коммерцию, — а сейчас, когда наука превратилась в производительную силу... вот у него, Виктора Игнатьевича, и ученый совет, и административный, и партком, и ректорат, и кафедра, а в них Жилин, а в них Коробков... Тоже ведь профессора, но галоши перед трамваем снимать не станут, от них гляди, как свои галоши уберечь. А соискатели ученых степеней, а родственники абитуриентов, а выход в практику, а прополки-овощебазы, а хоздоговора, полставки, финансовая дисциплина — ведь сколько народу от него зависит материально, и всякий домогается, всякий выпрашивает... Да вот вам, пожалуйста! Виктор Игнатьевич вспомнил о конверте и, по-государственному хмурясь, уверенно, как патологоанатом, вскрыл его (а как от этих вскрытий замирало сердце когда-то!), — разумеется, снова автореферат диссертации, скоро, кажется, все заделаются кандидатами, работать уже и сейчас некому.

Лицо Виктора Игнатьевича сделалось по-государственному брюзгливым. А это еще что? Алая открытка «С праздником Октября!»: «Уважаемый Виктор Иванович (хоть бы отчество правильно разузнали!)! Поздравляю Вас и Вашу семью (разумеется, и семью!) с наступающим праздником, сердечно желаю крепкого здоровья, семейного счастья, творческого вдохновения. В заключение убедительно прошу (ага, наконец-то и "прошу") оказать мне поддержку, которая может оказаться весьма существенной. Буду очень Вам признателен». Подписано: «Ваш земляк» (а земляков у него двести тысяч) — и фамилия. Еще бы, у них в провинции его подпись чего-то стоит.

Фамилия — Виктор Игнатьевич только сделал вид, что незнакомая, а так-то он сразу вспомнил: прошлым летом он заезжал в родной город, и школьный приятель — скорее всего, тоже не случайно — затащил к сослуживцу своей жены, ассистенту под сорок из тамошнего пединститута: хороший, мол, мужик, домашняя наливка и др., и пр. Уж как тот суетился, как хлопотал, а за наливкой пустился плакаться, что на работе его окончательно доедают: и лекционные часы отняли, и вечерними занятиями да комиссиями заездили, что ни похуже — все на него, а спасение одно — защита. Так они и защиту тормозят, на последнем обсуждении, например...

Самую тяжелую артиллерию хлебосольный хозяин пустил в ход: наливку подливал, в глаза засматривал, сынишку пятилетнего привлек: покажи *дяде Вите*, как ты рисуешь... Но Виктор Игнатьевич авансов не давал: слушал рассеянно, поддакивал рассеянно, пригубливал рассеянно. И над рисунками сюсюкать не стал: взглянул рассеянно и задумался. А ты, значит, мальчик, иди поиграй.

Впрочем, сочувствовать-то Виктор Игнатьевич как раз сочувствовал, поражался даже, но с таким простодушием, что сразу было ясно: он никак не связывает всех этих безобразий со своими служебными возможностями, о которых по скромности своей никогда и не вспоминает. А тот попрошайка все же прислал свой жалкий авторефератишко!.. Но теперь Виктор Игнатьевич не собирался увиливать. Теперь он готов был заявить со всей прямоотой, что работа так себе, очень средняя. Да, такие защищают сотнями, но это еще не основание, чтобы и он поддерживал что-либо подобное. И позиция его будет только принципиальной, не более того.

И по инерции прямооты нечаянно понял: да он же не из принципа отказывает, а потому лишь, что, с одной стороны, лень вникать, писать, отправлять этот чертов отзыв, а с другой — мало ли что: у «земляка» на кафедре, кажется, склоки, накапает кто-нибудь, пойдут разбирательства — расхлебывай потом. Хотя, вообще-то, если бы не та хамка, он, возможно, и снизошел бы, черкнул пару строк на казенном бланке, — прямоота уже начала нагнать, резать

правду-матку собственному хозяину в глаза. Виктора Игнатъевича прямо-таки покорила ее бестактность. Какая еще уборщица! Что же, по-вашему, с его стороны было бы принципиальнее содействовать слабой работе? И чуть руками не развел: да ведь как он ни поступи, все будет непринципиально. Принципиально могут поступать только принципиальные люди, а непринципиальные, что бы они ни делали, все равно способны действовать только по каким-то личным мотивам.

Открытие было до того обескураживающим, что Виктор Игнатъевич решил рассердиться, и гнев послушно расширил его грудь — сладостный гнев сильного. Виктор Игнатъевич брезгливым жестом отбросил тощую брошюрку, немедленно соскользнувшую за письменный стол, и с радостью отметил, какая непосредственная свежесть чувств до сих пор доступна ему.

В конце концов, ему-то в свое время никто не помогал, все достигнуто своим горбом! (Виктору Игнатъевичу и подлинно пришлось-таки понатрудить спину, — правда, больше поясницу, чем плечи, — пока он выбивался в доктора. Но с заведованием кафедрой ему повезло, — впрочем, слово «повезло» давно ведь уже улетучилось из лексикона Виктора Игнатъевича.) Однако на миг все же сделалось как-то неуютно, словно зимой отворили дверь на улицу: насколько же удобнее было обращаться с попрошайками прежнему чудаковатому профессору: «Что вы, я даже и не знаю, кто у нас этим занимается» или «О, эти вещи не для меня» — и вопрос закрыт. У него уже и глуховатость начала вырабатываться специфическая, и все полагающиеся дефекты речи: не то картавость, не то шепелявость, вроде как у того старичка, который что-то им читал на втором курсе и произносил «Ляйбниц» вместо «Лейбниц». Он тоже, говорят, был до крайности непрактичен...

Тоже прохвост был, должно быть, порядочный, прибавила прямота, и Виктора Игнатъевича потянуло обратно: в тепло, в уют, в недосказанность... В душе рождались, таяли и снова рождались какие-то образы, сомнения, страхи... Ведь того-то образцового старичка, в которого он так уверенно вырос, все любили или уж, по крайней мере, снисходили: что взять с трогательного непрактичного профессора, вечно парящего в каких-то эмпиреях, с трудом отыскивающего в них дорогу даже и в уборную! Вот к суровым и деятельным — к ним и требования иные. Уж коли ты решительный и энергичный, так будь добр оставаться таковым не только с низшими, но и с высшими, что-то там *пробивай*: тому квартиру, этому тематику, третьему ставку...

Виктор Игнатъевич затосковал. Отсеченный от теплого уютного мира ледяным стеклом прямоты, он с тоской взирал на прежнего себя — чудаковатого профессора, как душа глядит из холодных звездных туманностей на только что ею покинутую бrenную оболочку. И, кажется, не все потеряно, еще не вошла жена, не раздался крик ужаса, но — поздно! Не вернуться обратно в теплый мир душе, отдававшей беспощадной космической ясности. А ведь как чудесно в пору приходилась ему эта столь долго возвращаемая оболочка! Каким великолепным панцирем она служила: прочным, гибким, невесомым, мягким, теплым, невидимым...

Зазвонил телефон, и от этого сигнала из внешнего мира Виктор Игнатъевич неожиданно воспрянул, словно от призыва боевой трубы. И душа шустренько, раз-два, юркнула назад в опустевшую оболочку. Поэтому с кресла вставал Виктор Игнатъевич как-то еще неясно, но уж к телефону припустил канонической семенящей трусцой, близоруко вглядываясь под ноги.

С кем и о чем беседовал Виктор Игнатъевич — неизвестно, из прихожей доносился только неразборчиво-добродушный дребезжащий тенорок с трудно-

уловимым, но трогательным дефектом речи, из которой удалось разобрать лишь: «...исключительно в целях постижения научной истины».

Обратно Виктор Игнатьевич вернулся с рассеянной, но отнюдь не глуповатой добродушной улыбкой, чуточку по-детски оглядывая комнату. При взгляде на кресло в его памяти мелькнуло какое-то воспоминание о каком-то космическом холоде, — но воспоминание это мягко, словно тюлевая занавеска под летним ветерком, коснулось его лица и улетучилось в каминную трубу. И Виктор Игнатьевич с примиренной печалью покивал себе: «Да, да, научная работа требует человека целиком».

Таким его и нашла жена, точнее уже вдова, в любимом кресле — с кроткой наивной улыбкой на губах, но совершенно остывшего. Только на эмалевом овале эта улыбка превратилась из наивной в растерянную: смерть-то, оказывается, не перехитришь...

Зато звание заслуженного деятеля науки было золотыми буквами высечено на черном мраморе его надгробной стелы. А его вдова Лидия Игнатьевна и через двадцать лет при каждой встрече в нашем престижном уголке интересовалась с горьким торжеством: «Неужели вы и этого не слышали? Добивают, добивают науку! Нет, это не просто так, это кому-то выгодно!»

Я скорбно кивал, но ни о чем не спрашивал, давая возможность поскорее перейти к главному — к разговору о покойном муже и о том, как они любили друг друга: главное утешение любящего, потерявшего своего любимого, — воспеть историю их великой любви — эту истину я узнал от самого Орфея. И Лидия Игнатьевна всегда отходила от меня умиротворенная и благостная. Потому что я никогда не притворялся — у меня и в самом деле всякий раз наворачивались слезы: тощая шея, для которой не хватало никакого шарфа, и длинный нос кляузницы, летом красный, а зимой фиолетовый, делали ее лишь еще более трогательной.

И песню о своей любви она сочинила самую бесхитростную: прошли, держась за руки, от школьной до гробовой доски — мечта большинства российских женщин, скромная и стандартная, как двухкомнатная хрущевка.

Я не шучу. Я давно не шучу со смертью.

С той самой минуты, как она отняла у меня Ирку.

* * *

С Леночкой судьба повыкрутасничала куда изобретательнее. Институт прикладной кристаллографии, двухъярусным мачтовым бором сталинских колонн вырезавший из задворок Петроградской стороны целый огромный квартал, и без того-то произвел на Леночку угнетающее впечатление, но окончательной букашкой она себя почувствовала, когда за двухъярусной колоннадой открылся самый настоящий завод — перекрикивающиеся промасленные работяги в комбинезонах, рычащие тягачи, снующие вертлявые подъемники, наставившие низкие плоские рога... Да еще и по углам свалены какие-то ржавые механизмы, которые и в исправном-то состоянии всегда внушали Леночке безотчетную тревогу. Правда, из-за уверенно лавирующих сквозь все это столпотворение приличных людей с черными патефонами, к каждому из которых был приклеен бечевочный хвостик, начинала брезжить надежда, что еще немножко потерпеть — и она проснется.

В лаборатории, куда ее направили, правда, не было ничего, кроме письменных столов, расставленных в затылок друг другу, но напоминало все это не утраченный рай институтской аудитории, а какую-то полутюремную школу-

интернат, где запуганные не то учащиеся, не то заключенные все свои патефоны прячут под стол и боятся поднять глаза на восседающую за учительским столом поджавшую твердые губы не то надзирательницу, не то классную даму с прилизанной мужской стрижкой, со стальным взглядом из-за стальных очочков.

Какие мартенситные превращения в кристаллической решетке полезут в голову, когда в тебя ввинчиваются сразу два стальных сверла? Леночка была готова заниматься хоть кристаллографией, хоть кулинарией, лишь бы в теплой дружеской компании, но надзирательница спросила только одно: «Вы читаете по-английски?» — «Я окончила английскую школу», — пролепетала Леночка, и — была изгнана в одиночную камеру. Куда еще и жесточайше запрещено было опаздывать! Как будто она была пальто или хозяйственная сумка, Леночке присвоили номерок, который при входе в тюрьму полагалось перевешивать с одной доски на другую, а ровно в восемь привратник запирает неразобранные номерки стеклянной дверцей. Что ожидало тех, чьи номерки оказывались запертыми под стеклом, словно жуки или бабочки, Леночка старалась даже и не думать. Она слышала, что опоздавшим их приятели выносят временные пропуска, но Леночка-то была совершенно одна в своем каземате! Единственным, с кем ей приходилось иметь дело, был страшно засекреченный товарищ по фамилии Вус, никогда не улыбавшийся под своими белобрысыми усиками щеточкой, а настоящий запорожский вус он отращивал на голове, в наивной надежде его белобрысой струей замаскировать обширную плешь.

Вус выдавал Леночке под расписку из солдатского сейфа невероятно красивые иностранные журналы на толстенной глянцевой бумаге, на которой даже язвы, печатавшиеся в медицинских приложениях, смотрелись красивыми, как самоцветы, а уж от фотографий кристаллов глаз было не оторвать, особенно на фоне тюремных стен Леночкиной одиночки. Леночка должна была выписывать все, что относилось к выращиванию кристаллов, в особую тетрадку, прошитую специальным шнуром, подклеенным к обложке сургучной печатью, а тетрадку, как объяснил ей Вус, выносить даже в тюремный коридор разрешалось лишь в патефонном чемоданчике, который полагалось тоже запечатывать пластилином с оттиском личной металлической печаточки. Чтобы печать не прилипла, Леночке перед оттискиванием приходилось плевать на свой номер. А чтобы не потерять (это тоже грозило неведомыми, но страшными карами), Леночка носила этот плоский блестящий грибок на шелковом шнурке, ярко-оранжевом, чтоб хоть что-нибудь в ее тюрьме напоминало о солнце.

Изо дня в день Леночка только читала и переводила с неподъемным словарем, неустанно шевеля губами, но случалось, за девять часов работы (обед был такой же работой среди чужих незнакомых людей) вслух она произносила лишь два слова — «здравствуйте» и «до свидания», на что Вус ей сдержанно кивал вообще без слов. Тем не менее, однажды она решилась задать ему вопрос, почему ее работа так засекречена, если сами иностранцы свободно печатают все свои находки в своих же журналах. К ее удивлению, Вус впервые заулыбался своими щеточками с приятной хитринкой:

— Супостаты не должны знать, что мы этим интересуемся.

Но когда она, расхрабрившись, спросила, как так случилось, что патефонные чемоданчики превратились в переносные сейфики с бечевочными хвостиками, Вус ответил четко, но туманно:

— У хорошего хозяина ничего не пропадает.

Леночка не замечала, что обращается к нему жалобным голоском, чтобы только он еще раз улыбнулся, однако Вус оставался неподкупным. Так что пред стальными очками классной надзирательницы Леночка предстала с окончатель-

но умоляющим видом: я все сделала и сделаю еще в десять раз больше, только, пожалуйста, пожалуйста, не смотрите на меня так безжалостно!.. И, о чудо, надзирательница смягчилась. Отнесите ваш обзор Бережкову, почти по-доброму распорядилась она, и добавила, дрогнув чеканкой губ:

— Мы его на курсе звали Жан Маре.

Громкое имя Бережкова до Леночки доносилось даже в ее одиночке: самый молодой доктор в отрасли, боксер, байдарочник, пловец, лыжник, представлявший институт во всех видах спорта. Бережков действительно оказался немножко похож на Жана Маре из «Графа Монте-Кристо», но был совершенно лишен его надменности, и статную его фигуру подчеркивал не фрак и не шелковый халат, а шкиперский свитер с засученными рукавами и туго подпоясанный поварский передник. Окруженный приятным дымком канифоли, он самолично сидел с паяльником за длинным верстаком, заваленным всевозможными приборами и таблицами, а лаборатория его и впрямь походила на сверкающую ресторанный кухню, только в огромные то никелированные, то матовые чаны были вделаны манометры, термометры, гигрометры...

Представившись Олегом без отчества и сразу же перейдя на ты, Бережков подвинул Леночке стул, небрежно расписался в описи ее патефончика, что тетрадка-де передана О. Бережкову, и тут же погрузился в чтение, не глядя, но и без промаха набулькав ей в граненый стакан из химической колбы черного кофе, медленно всходявшего на слабой газовой горелке. Читал Бережков стремительно, скорее проглядывал, одновременно развлекаясь тем, что довольно высоко подбрасывал и, все так же не глядя, левой рукой ловил священную печать.

С тревогой понаблюдав за этой отчаянной забавой, Леночка наконец решилась предостеречь:

— Смотрите, потеряете!

— Потеряем — новую сделаем.

— Как, подделаете?.. — с ужасом спросила Леночка, понизив голос.

— А чего? У меня это уже третья, — отвечал отраслевой гений, явно думая о другом.

Долистав тетрадку, он несколько секунд отрешенно смотрел на Леночку своими рассеянными-мужественными серыми глазами и вдруг спросил:

— Пойдешь ко мне работать?

Леночка поспешно закивала, вперившись в спасителя умоляющим взглядом: «Неужели это возможно?..» Однако Бережков тут же набрал Леночкину мымру и с шуточками (в жизни не могла представить, что та способна принять такой тон) выпросил Леночку себе. И тут же предложил:

— Сходим на острова? Попьем где-нибудь кофейку, обсудим наши делишки?

— Как, сейчас же еще рабочий день?..

— Выпишу тебе местную командировку. А у меня свободный выход.

— Но у нас же секретная работа? Мы не имеем права где-то обсуждать...

— Мои секреты у всех перед носом.

Бережков пощелкал шариковой ручкой.

— Видишь: сжали пружину — собрали энергию, отпустили — использовали. Вот и я хочу создать энергетические кристаллы. Чтобы после сверхнапряжения вещество сохраняло энергию в метастабильном состоянии. А откуда взять сверхнапряжение — тоже ясно откуда: взрыв. Вот тебе и весь секрет. А второй секрет у нас под ногами: мы ходим по земле, а под ней бурлит магма. Вот и я тоже хочу сделать термоэнергетические кристаллы. Сохранить внутри кристалла силу

взрыва. Или, по-простому, по-рабочему, кварк-глюонную плазму. Тогда я получу Нобеля, казна получит пару миллиардов долларов, а ты получишь докторскую степень. Сначала у нас, а потом в Принстоне. Когда рассекретят.

Они уже шагали по задворкам Петроградской, и Леночка даже не подозревала, что здесь столько интересных вещей, начиная с наметившейся весны: слежавшиеся сугробы на газонах уже почернели, на асфальте появились лужи, на одну из которых Бережков метнул свой соколиный взгляд и тут же признал в ней Ладожское озеро.

— У меня на Вуоксе есть любимый островок, — с совершенно детской гордостью поделился он.

— Монте-Кристо? — вполне серьезно спросила Леночка, но Бережков немножко обиделся.

— Почему обязательно Монте-Кристо — просто островок. Там, кроме меня, никто не бывает. Хочешь, съездим, покажу.

И что-то из Леночки тут же поспешно закивало.

А Бережков уже обрадовался куску сухого асфальта:

— Смотри, какая трещина — как Миссисипи. Я хочу когда-нибудь по ней на плоту сплавиться, как Гек Финн. После Нобелевки меня начнут же выпускать. Смотри, смотри, мне всегда казалось, эти морды на меня похожи.

Вдоль закопченного фасада шли облупленные рыцарские головы с поднятыми забралами, и у Леночки невольно вырвался протест:

— Они злые. А вы очень добрый.

— Я очень добрый?.. — для него это оказалось полной неожиданностью, и он так же быстро, но ответственно, как будто снова просматривая невидимую секретную тетрадку, пробежался по каким-то воспоминаниям — и вдруг залился краской, как четырнадцатилетний мальчишка.

И тут же постарался ускользнуть:

— Здесь каждый год новый асфальт кладут, дом все ниже и ниже. Когда я начинал работать, я до этого балкона не мог допрыгнуть, а теперь запросто.

Леночка посмотрела на декоративный угловой балкончик с пузатой ржавой решеткой, на который даже не было выхода, и поняла, что допрыгнуть до него совершенно невозможно.

— Что?.. Спорим на рубль! Держи куртку.

И в своем скиперском свитере доктор наук с короткого разбега сиганул вверх и кончиками пальцев правой руки зацепился-таки за цементный краешек. Тут же, качнувшись, ухватился другой рукой. Еще мгновение — и, без усилия подтянувшись, он выбросил руку к перилам, а еще через два мгновения перемахнул через них и послал ей цирковой воздушный поцелуй обеими руками разом. И прежде чем она успела испугаться, что хозяева вызовут милицию, он уже снова стоял рядом с нею и оттирал платком испачканные ржавчиной руки.

— Я и сейчас не понимаю, как вы это сделали, — пролепетала Леночка, и полезла в карман за кошельком, однако Бережков остановил ее широким кавказским жестом:

— Пальта нэ надо. Давай куртку. Грех пользоваться чужой простотой.

На Елагином острове снег даже под пасмурным небом еще сверкал весенними кристаллами, но какой-то предприимчивый тирщик уже открыл свои строгие черно-белые мишени, грубо размалеванные жестяные корабли, танки, мельницы и разложил по прилавку ледяные воздушки. Бережков переломил одну из них и подмигнул:

— Зарядили энергией.

Приложился и выстрелил, мельница завертелась.

— Извлекли полезный квант, — снова подмигнул Бережков.

Он заряжал воздушку энергией снова и снова и разряжал ее раз за разом, а мишени одна за другой клевали носом, и кувыркались вниз головой, — снайпер даже не заметил, что навеки пронзил еще и Леночкино сердце.

В кафе за греческой колоннадой Леночку вдруг охватил страх, что она не справится с новой работой и Бережков прогонит ее обратно к стальной мымре, но тот ее успокоил: ты пироги любишь печь? Так это такая же самая кулинария. Надо чтоб тесто не переходилось и не перестоялось, чтоб ничего не ушло, не перегорело, чтоб расплав нарастал на подложке равномерно, просто нужен глаз да глаз — за температурой, за угловой скоростью, за давлением, за напряжением, иногда приходится и ночевать в лаборатории, у него в шкафу специальный спальник свернут, это рутина. А вот консервация взрыва — это да, эта штучка будет посильнее «Фауста» Гете.

Леночка думала, он взрывает какие-то бомбы где-то на специальном полигоне, а оказалось, взрывы эти хлопают не громче детских пистолетиков внутри самим же Олегом и высверленной полуторапудовой гири, которой он перед каждым экспериментом троекратно крестился. Он вообще все любил делать сам — паять, сверлить, завинчивать, и даже это делал лучше всех. Даже его поддельная печать, если приглядеться, была лучше настоящей. Это признал и неподкупный Вус, когда у какого-то алкаша в вытрезвителе изъяли подобранную на улице печать института прикладной кристаллографии.

Чтобы не вводить народ в соблазн, выговор Бережкову объявили в самых общих чертах — за нарушение режима секретности, но все равно все всё знали, и слава Бережкова взлетела в совсем уж заоблачные выси. Но он, казалось, и этого не замечал. Единственное, к чему он время от времени возвращался, была просьба к Леночке называть его на ты, но добился лишь того, что она начала называть его Олегом без отчества. Зато с никогда еще прежде не испытанным наслаждением. Она и маме за ужином (они жили вдвоем) постоянно рассказывала о нем даже и всякую чепуху, чтобы только лишний раз произнести его имя: О-Л-Е-Г. Так что мама однажды возмутилась: «Но он же женат!» На что Леночка возмутилась ответно: «При чем здесь это!»

Не понимала бедняжка, что очень даже при чем...

Она знала, что у Олега две дочери, которые давно вызывали у нее нежные чувства, хотя она их видела только на фотографии. Зато на одном банкете ей лишь с большим трудом удавалось оторвать взгляд от его жены, и, хоть она и старалась изо всех сил отнестись к той по справедливости, жена ей все-таки не понравилась: над Олегом подшучивала, называла его по фамилии и притом так, словно это не высокое звание: БЕРЕЖКОВ, а что-то почти забавное. И внешне она походила на хорошенького мужчину — такой вот Ален Делон, переодетый женщиной, — прохаживалась руки в брюки, а в гардеробе вообще надела мужскую шляпу. Но Леночка старалась об этом не вспоминать, чтобы не заподозрить себя, будто она ревнует, — у них с Олегом была просто дружба, общая преданность общей работе. Бастион института теперь представлялся ей родным домом, где они с Олегом возились на собственной кухне. Всех остальных она воспринимала как их с Олегом поварят, и Олег тоже казался ей мальчишкой, за которым нужен глаз да глаз, он вообще о себе не думает, может вытворить бог знает что.

Когда по проторенной дорожке к ним на кухню заглянул председатель профкома: «Бережков, не хочешь нас прикрыть по бобслею?», — Олег прямо подпрыгнул: «Давно хочу попробовать!» И попробовал: вернулся — половина лица заплывшая и фиолетовая, другая просто расцарапанная. Тогда-то у нее и

вырвалось впервые на ты: «Что с тобой?!» Оказалось, все было очень смешно. Судья наверху задал единственный вопрос: «Ты когда-нибудь катался?» — «Нет». — «Тогда главное следи, чтобы сани не выпустить, а то они тебя перемелют, десять пудов как-никак». И когда в ледяном желобе где-то на пятом вираже сани-таки сумели сбросить, он помнил одно: нужно за них держаться, — так их вместе и кувырало. И нижний судья только и спросил: «Ты идти можешь?» Это был самый смешной момент во всей истории. Но все-таки Леночкино потрясение окончательно переродилось в негодование лишь во время ночного бдения над захандрившей печью, когда она прикладывала к его кровоподтекам компресс из казенного спирта. Олег пошучивал, но, видно было, с трудом удерживался, чтобы не отдернуть голову, — и Леночку наконец прорвало:

— Как можно быть таким безответственным?! Если с тобой что-то случится, ты подумал, что будет... — она хотела сказать: с девочками, но вдруг снова само собой вырвалось: — Со мной?..

И, разрыдавшись, вместо компресса, припала к его страшному синячищу губами, причинив ему такую боль, что он мотнул головой, как конь от овода. А потом, всхлипывающую у него на груди, гладил ее по спине — нежно, но, как ей показалось, довольно рассеянно, словно кошку: уж очень, подумалось ей, он привык, что женщины от него без ума. Так что свернувшийся в шкафу спальник прождал напрасно всю эту ночь. И даже не одну. Ласки Олега оставались такими бережными, что Леночка постепенно перестала дрожать, но, напротив, ждала какого-то более бурного разрешения. Она уже опасалась, что не очень-то ему и нравится, он ведь так избалован, а она — что она такое?..

Спальник развернулся во всю ширь лишь на острове Монте-Кристо.

Куда Леночка отправлялась, испытывая сразу и радость, и тревогу, — даже вода выплескивалась как-то тяжело на темный от влаги зернистый песок, и ей вспомнилось, что Олегу для его энергокристаллов зачем-то требовалась тяжелая вода. Олег возился с байдаркой, оставшись в одной — что у него за жена! — довольно-таки застиранной майке. Однако она не могла не дивиться, как играют его мускулы, и даже потихоньку пощупала себя за напрягшийся бицепс — куда ей!..

Байдарочный скелет рос на глазах, и наконец — раз, два, и готово — обтянулся черной резиновой шкурой, словно какой-то остроугольный тюлень. А пока она прилаживалась, как поудобнее усесться, Олег принялся так работать двулопастным веслом — туда-сюда, туда-сюда, — что берег быстро остался далеко позади. Она тоже пыталась грести, но видела, что ее гребок почти не придает лодке движения, а Олег заставляет ее двигаться вперед чуть ли не прыжками. Ее совсем не страшило, что она отделена от плещущей под нею тяжелой воды всего только дышащей на волнах резиновой шкурой: за блестящей от пота, играющей мышцами спиной Олега она и впрямь себя чувствовала как за каменной стеной. Начали появляться островки, одни зеленые, плоские, другие каменные, купольные или угловатые (один был вылитый гранитный сундук в два человеческих роста), а потом вдруг резко сдвинулись друг к другу, так что пришлось лавировать, и ее совсем не смущало, что за всю дорогу он не проронил ни слова: и не нужно было портить плескучую тишину.

Стало темнеть, вода превратилась в рубиновый расплав, а острова в темные стога, из-за которых, словно призраки, изредка вдруг возникали и беззвучно скользили мимо другие байдарки. Вот так бы скользить и скользить без конца за этой сильной надежной спиной...

На некоторых островках мелькал огонь, темные тени, слышался смех,

звук гитары, но их-то островок должен быть необитаемым! Однако Олег направил лодку к довольно обширному острову, на макушке которого склонилась к багряным угольям темная фигура в приподнявшей уши шапке-ушанке.

— Там же кто-то есть?.. — впервые решилась она нарушить тишину, и Олег тоже впервые усмехнулся:

— Это наш человек.

«А я думала, мы будем вдвоем...», — огорчилась Леночка, но, разумеется, вслух ничего не сказала. Однако третий лишний на их острове оказался чучелом.

— А угли откуда? Они же быстро прогорают?..

— Люминесценция. Вторая форма секретности.

У него и впрямь все в руках горело — через две минуты они уже сидели у разгорающегося костра, и Олег переобувал резиновый сапог, и у Леночки сердце сжалось от жалости к нему (что за жена, а еще в шляпе!..): левый носок у него был дырявый сразу и на пятке, и на большом пальце. С этой минуты за его носки отвечала она, а он, ничего не замечая, обустроивал их ночное гнездышко: удар обушком — и колышек сидит как влитой, пара опоясывающих движений, и узел затянут намертво, а веревка натянута как струна, — и вот уже расправилась палатка, тугая, как барабан, а вот уже и двуспальный спальник развернут внутри...

В последнюю минуту на Леночку снова напала дрожь, но он начал ласкать ее так, как будто старается просто ее согреть, и она, не зная, как еще ему выразить свою благодарность, сама изо всех сил прижалась к нему, и только когда все кончилось, он слишком уж скоро прошептал ей на ухо: я кипяченую воду в золье оставил, она еще теплая. Она понимала, что это он о ней же и позаботился, но все равно ее как-то покорило, что он все приготовил заранее. Противная она какая оказалась — что, лучше было бы в темноте лезть с ковшиком в черную тяжелую воду? Леночка потом весь следующий день старалась искупить это неблагодарное движение души.

Впрочем, ей и стараться было не нужно, она была так счастлива, что впервые в жизни не жалела пойманную рыбу, ей казалось, что и та прыгает от избытка счастья. А вот хранителя острова, весь день понуро просидевшего в своей ушанке над липовыми углями, ей было по-настоящему жалко. Зато пышное выражение «рай в шалаше» тоже оказалось простой констатацией бытового факта: после обеда хлынул дождь, и им до вечера пришлось сидеть и лежать в палатке под его ликующую барабанную дробь, и Олег уже целовал ее по-настоящему, до боли, и видно было, что он едва удерживает себя на поводке, и все-таки удержал, поберег ее, и это был действительно самый настоящий рай. При его бесшабашности он оказался на удивление заботливым и даже стеснительным. Когда утром он привел ее по высокой, сверкающей от росы траве на гранитный край островка и, оставшись в одних плавках, неправдоподобно, голливудски красивый, прыгнул ласточкой с такой высоты, что у нее чуть ноги не подкосились, а потом, вынырнув, поплыл кролем со скоростью торпедного катера, уже через минуту затерявшись за соседними островками, — это было вполне в его духе. Но когда, выбравшись по угловатым глыбам на берег — самый настоящий морской бог, — он, покосившись на нее, отправился выжимать плавки в кусты, это ее тронуло почти до слез. И она почувствовала сладостное торжество над стальной мымрой: вот вы его называли Жан Маре, а он теперь со мной!

С этой минуты двухъярусный серый бастион окончательно сделался их с Олегом родным домом, и про себя она считала, что именно она Олегу настоящая жена, а его Ален Делон в шляпе просто приятель по общаге, и даже когда при

всей его бережности она дважды залетала, Олегу она об этом не стала и рассказывать, и все мучения и мерзости перенесла стойко как партизанка. Она же понимала, что он просто-напросто взял и подарил ей такую счастливую жизнь, о какой она и помечтать не могла бы догадаться, а она принесла ему больше мороки, чем радости, ибо радостями он и сам мог завалить себя с головой.

А потом пришла еще и свобода, и Леночка стала ощущать родным домом не только институт, но и всю страну. Во время путча они слушали Собчака на Исаакиевской площади, держась за руки, но на груды хлама — баррикады, — Олег лишь презрительно покосился.

— Детство. Вооружаться надо.

— Как вооружаться?.. Ведь это же гражданская война?..

— Значит война, — и тут уж Леночка перепугалась по-настоящему: ведь таких-то и убивают, он же совсем о себе не думает!

— Но жили ведь мы как-то раньше!.. — взмолилась она.

— Мне всегда было смешно на них смотреть, на нашу власть. А теперь не смешно. Раз уж я хвост поднял, я его больше не подожму.

Так что поражение путчистов Леночка восприняла как свое личное избавление. И согласна была дальше уже на все — лишь бы Олег оставался с нею. Зато он как закусил удила, так больше их уже и не выпускал.

Двухъярусный сталинский бастион еще не превратился в руину, но внутри царил разруха. Вертлявые подъемники отправились следом за ржавыми грудями в металлолом, по цеху металлообработки, освобожденному от станков, вывезенных якобы в Турцию, гонял оберточную промасленную бумагу ветер. В будущем здесь должен был открыться зал для боулинга, но его шары катились очень медленно. Из лаборатории монокристаллов исчезли оба ведерка для обращения шихты в расплав, одно иридиевое, другое платиновое. Участок фотолитографии, где, чтоб ни чешуйки с них не слетело, прежде все ходили за стеклом, затянутые в маскарадные костюмы новогодних зайчиков — только ушек не хватало, — походил на устроенную как будто ради намеренного надругательства помойку, среди которой просверкивали черные зеркальца бракованных срезов, занесенные каким-то левым ветром из лаборатории эпитаксиального роста. Цех пластмассового литья, правда, на некоторое время зажил лихорадочной круглосуточной жизнью: оказалось, вся цивилизованная Европа с утра до вечера играет в го, завтра европейским путем последует и Россия; для этого ей понадобятся миллионы пластмассовых коробочек... Прессы наштамповали гору вожаделенных коробочек, да так и замерли навеки, а черная угловатая гора коробочек продолжала цепенеть в цементной пустыне апофеозом идиотизма, словно черепа на картине Верещагина. Немногословный Вус тоже лишь изредка прошмыгивал где-то вдали белым мышонком из невидимой норки. И только лаборатория Бережкова прирастала все новым и новым невиданным оборудованием по контрактам с Южной Кореей, с Финляндией, с Америкой, с Японией...

Олег был нарасхват. Из Бомбея и Манчестера он привозил пачки валюты, раздавал поварям зарплату за все месяцы своего отсутствия, заваривал новую серию гениальных экспериментов и снова улетал то в Силиконовую долину, то куда-то в Малайзию. Леночка так им гордилась, что почти не скучала. И ничуть не удивилась, только стала светиться еще ярче, когда энергокристаллы начали консервировать совершенно неслыханную энергию по отношению к массе. Его доклад на Мельбурнском конгрессе был назван главной сенсацией десятилетия, а в вечерних австралийских газетах чернели жирные заголовки: «Кристаллическая бомба», «Вулкан в кристалле» и даже «Русские наступают». Возвращение на

родину осуществилось не менее сенсационно: паспортный контроль он проходил уже в наручниках. Профессор Бережков был обвинен в продаже технологий двойного назначения.

Более даже возмущенная, чем испуганная Леночка бросилась к экс-директору института академику Куропаткину, неуклонно выдвигавшему Бережкова в членкоры, невзирая на то, что его так же неуклонно прокатывала московская мафия. В последние годы Куропаткин был повышен до Президента, дабы не мешать новому директору сдавать помещения и распродавать технику, но кабинет и авторитет за собой удержал. Куропаткин был аристократичен, как постаревший Штирлиц, и Леночка нисколько не сомневалась, что он подпишет любое письмо в защиту гениального ученика. Но Куропаткин встретил ее почти надменно.

— Что вы хотите, чтобы я подписал? Что он выдающийся ученый? Пожалуйста, я подпишу. Но это не имеет никакого отношения к существу дела, к разглашению государственной тайны. А также к тому факту, могут или не могут его энергокристаллы иметь военное применение. Этого никто заранее знать не может.

— Но тогда ни о каком открытии вообще нельзя рассказывать...

— Правильно. Поэтому надо руководствоваться законом. Есть на теме гриф секретности — значит нельзя разглашать, нет — значит можно. Сходите к Вусу. Если он напишет, что бережковские отчеты уже рассекречены, мы так и напишем. А если нет, не имеет никакого значения, большой Бережков ученый или маленький. Когда Бор захотел поделиться с Советским Союзом секретом атомной бомбы, Черчилль угрожал ему судом за государственную измену. Защитник демократии, напоминаю. А Бор был, уж простите, никак не менее гениален, чем Бережков.

Уже начиная мертветь, Леночка разыскала Вуса в его норке, и даже сквозь нарастающий ужас не могла не заметить, что он из белого мышонка за эти годы превратился в серебристого. Испуганно шевеля серебряной щеточкой усиков, Вус только отнекивался: мне что спустят, я то и делаю, снимут наверху гриф секретности, и я сниму, не снимут — я не могу написать, что сняли, это подсудное дело...

И вдруг подтянулся:

— Не толкайте меня на преступление!

— А кто может снять гриф секретности?

— Это специальная комиссия должна собраться, в Москве. Попросите Куропаткина, он человек авторитетный...

Похлопотать Куропаткин согласился охотно, но сразу предупредил, что там задействованы большие люди, их быстро не соберешь.

— И все это время он будет сидеть в тюрьме?..

— Что я могу сделать! Но есть такое понятие — подписка о невыезде...

Наступив на гордость и стыд, Леночка позвонила жене Олега. Та держалась ледяным кристаллом в человеческий рост.

— Следовательно требуется только то, что можно подшить к делу. Или вы и его рассчитываете соблазнить? Бог в помощь. Но имейте в виду, там обстановка к этому меньше располагает. А телефон пожалуйста, записывайте.

«ОТ СЕБЯ» гласила табличка на помпезной тяжелой двери. От себя, от себя, от себя, — и наконец унылая вахта, только вместо вахтера часовой.

Голос следователя в старой черной трубке был непримирим:

— Если у вас есть новые следственные материалы, шлите почтой. А для душеспасительных бесед у меня нет времени. И личные характеристики подо-

зреваемого тоже нужно подавать в письменном виде. Ну, хорошо, я спущусь, но ровно на две минуты, предупреждаю. Нет, подниматься ко мне не надо, а то потом еще придется с конвоем выводить.

Леночка уже представляла, что к ней спустится какой-то сталинский палач, а из электрического дверного проема возник юный пионер в узком, как щель, черном галстуке. И весь Леночкин напор сразу угас под его встречным напором оскорбленной правоты. «Как это кристаллы его собственные? А кто надбавку за секретность получал? А на каком оборудовании он их разрабатывал? Ах, покупал на собственную валюту!.. А налоги с нее было платить не надо? А ее не надо было декларировать? Государство у нас еще есть или уже нет? Рано вы его списали! Да, мне за державу обидно! Это не я, а ваш Бережков разглашал государственные тайны, возил контрабас, я хочу сказать, контрабанду. А держится так, как будто это мы преступники, а он невинный граф Монте-Кристо! Еще Страсбургским судом нам угрожает, правозащитниками... Ну, с теми-то понятно, если мы кого-то арестовали, значит он святой. Но ваши западные друзья, я ему так и сказал, из-за вас нас бомбить не станут, мы не Сербия. В общем, хватит. Мы с ним и так слишком долго цацкались, пора его пересадить к настоящим контрабасистам, чтоб до него наконец дошло, где его настоящее место. Да, есть такое понятие — подписка о невыезде. Это решает суд, но я буду против. Он может помешать осуществлению следственных действий. И свидание давать это мое право, а не обязанность. Да, я считаю, это пойдет во вред следствию, вы ему опять будете внушать, что он гений, что ему закон не писан... Вы же сами наверняка выступали за верховенство закона? Вот я и осуществляю верховенство закона!»

Куропаткин, с тревогой, похожей на брезгливость, покосился на ее мертвенно-бледное личико и принялся тут же названивать в Москву. Однако большие люди собраться так и не успели. Зато Бережкова успели перевести в пресс-хату, где с него должны были сбить спесь, для начала окрестив из параша. Но старый боксер пожелал остаться некрещеным и отправил крестителя в нокаут, — и наутро был найден мертвым с заточкой в ухе.

— Зато шкуру не испортили, — успокоили сокамерники надзирателя.

Он и с полированного ладожского гранита с рваными краями глядел недосыгаемым орлом, и только написанная на его лице мальчишеская готовность протянуть руку каждому, кто пожелает к нему взмыть, придавала человеческого обаяния его слишком уж рекламной мужественности.

Рваная гранитная глыба была выбрана со смыслом и даже где-то со вкусом, как однажды выразилась самая близкая мне из кладбищенских завсегдатаек, которую я до знакомства с нею имел бестактность про себя прозвать Пампушкой. Жена Бережкова с миловидными дочерьми, которых, правда, немного портил слишком мужественный отцовский подбородок, навещала глыбу редко и притом только в теплую пору. Она по-прежнему одевалась по-мужски, чуть ли не в какое-то жокейское галифе с мушкетерскими ботфортами, при кубанке набекрень, и норовила распоряжаться, не вынимая рук из карманов. Сходства с Аленом Делоном я не зафиксировал. Зато Леночку толком разглядеть мне никак не удавалось, хотя пару-тройку раз в месяц она навещала своего Олега и зимой, и летом. Но, видимо (и совершенно напрасно), опасаясь столкнуться с женой, зимой она всегда приходила на грани иссякания светового дня, а летом натягивала на нос бейсболку с большим козырьком, и когда, худенькая, в футболке или короткой курточке, она возилась у могилы, ее можно было принять за дочь покойного.

Она пыталась продолжать дело своего возлюбленного, но на те гроши, которые удавалось выбить для нее Куропаткину, ничего не удалось бы испечь

и самому Бережкову. Так что Куропаткин, не по дням, а по часам дряхлеющий Штирлиц, заставая ее в лаборатории одну, случалось, сардонически шутил: «Ты как Таня Савичева. Умерли все, осталась одна Таня». Зато ей удалось отвоевать своему возлюбленному место в нашем престижном уголке. После его смерти уголовное дело было закрыто, а подписанное Куропаткиным Леночкино ходатайство так растрогало занимавшуюся престижными погребениями даму, что она констатировала с некоторым даже приятным удивлением: «У нас там прямо какой-то ученый уголок вырисовывается».

Хотя при жизни Бережков на Виктора Игнатьевича только вскинул бы свои соколиные глаза из-под соболиных бровей: «Что, и он ученый?..» А Виктор Игнатьевич в ответ покосился бы на него с презрительной опаской: оч-чень сомнительный тип... И Лидия Игнатьевна что-то такое тоже чуяла, раскланиваясь с Леночкой подчеркнуто корректно и высокомерно, с высоты еще и статуса законной жены по отношению к любовнице. Поэтому я при каждом удобном случае закидываю в напряженно наставленные ушки бедной Леночки, прячущей глаза за длинным козырьком, что они с ее возлюбленным сделали на удивление мудрый выбор, не посягнув на свободу друг друга: семейные *узы* неизбежно разрушают любовь. Блаженны те, чьей любви не требовалась смерть, чтобы быть воспетой! Чья любовь воссияла над общим делом, а не над кладбищем! Заметьте, указывал я на мясной, в прожилках жира небольшой валун со стесанным боком, — жены к нему не ходят, их любовь была убита браком. И это при том, что он был любимчиком миллионов!

* * *

Да, да, у актера есть два совершенно разных назначения: ваять из собственного тела воплощения чьих-то вымыслов и — служить любимчиком публики, наподобие домашнего зверька. И начинал Любимчик вроде бы ваятелем. Заброшенный распределением из Ленинграда в хабаровский ТЮЗ, он ошеломительно воплотил Мочалку в «Мойдодыре», однако через год был уволен за прогулы и загулы, а на деле за связь с директорской женой. В Иркутске его уволили уже за связь с женой главрежа, в Томске — осветителя, и чем ближе перемещался он обратно к Ленинграду, тем ниже опускался статус его любовниц, а вес его пьяных загулов, напротив, рос и рос. В Ленинград он вернулся уже истопником, однако ухитрился и тут пару-тройку раз жениться и еще тройку-четверку «поджениться».

Что эти женщины в нем находили? Нос распух, будто от многомесячного насморка, усы, брови — три бесцветные зубные щетки, заплывшие глазки из-под зубных щеток глядят зорко и недоверчиво, — то-то вышедшие в люди однокурсники и брали его исключительно на роли дореволюционных купчиков, сыщиков, дворников, надзирателей. Он потянул бы и на более крупных гадов, но увы, его трезвых просветов хватало только на мелких. А потом он подшил и был принят в детективный сериал комическим чмошником оттенять суперменство главного героя со стальными мускулами и каменными скулами. И уже на сороковой серии продюсерское ухо расслышало согласное биение женских сердец, привязавшихся именно к чмошнику, — что хорошего в этих суперменах: любят одних себя, обожанием объелись — куда желаннее хоть неказистый, да свой. Добрый, потому что для злобы нужны амбиции. Верный, потому что на неверность нужен спрос. Надежный, потому что...

Потому что по надежности мы невыносимо истосковались! И щедрое продюсерское сердце распахнуло целые шлюзы надежности. Так чмошник преобразился в любимчика, а любимчик в героя. В каждом новом воплощении

он являлся то капитаном воздушного судна, то капитаном судна океанского, то капитаном спецназа, обзаводясь все более крупными звездами и восходя из любимчиков тоже в настоящие звезды. И если раньше ему приходилось подгонять запои к съемкам, то теперь съемки подгонялись к запоям; если раньше ему приходилось каждый стакан отрабатывать анекдотами, то теперь ему наливали за одну лишь возможность с ним чокнуться; а что до женщин, то их глаза со всех сторон светили ему то собачьей безнадежной преданностью, то туманной загадочностью, то лукавинкой, а то и детским бескорыстным восторгом. Здоровье, однако, уже иссякало на глазах, врачи-таки сумели отравить ему радость успеха своими печенками, почками, сердцами, сосудами, и ему теперь приходилось больше изображать лихого гуляку, хотя он слишком уж по Станиславскому по-прежнему старался вжиться в прежний образ. Он лиловел, раздувался, и режиссерам оставалось лишь погуще его закрашивать да повышать в чинах, так что скончался он от алкогольной кардиомиопатии на Кавказе в чине генерал-майора, и его последнее фото в камуфляже облетело все таблоиды, породив среди его особенно страстных поклонниц убеждение, что он пал в бою, защищая от ваххабитов стратегическое ущелье, один за триста спартанцев.

Мое злоязычие проистекает, как всегда, из зависти. Мне кажется, я и красивее, не говоря уже в миллион раз умнее, а уж что до надежности — так это не у меня семь жен венчанных и семьсот невенчанных, и все-таки меня забудут, не износивши башмаков, а к нему женская тропа только разрастается. Им мало приносить цветы, они оставляют еще и послания, соорудив рядом с могилой фанерную стену плача, куда приклопывают упакованные в прозрачную полиэтиленовую пленку признания и призывы: «Опустела без тебя земля», «Неужели ты никогда больше не войдешь в мой дом — простой, надежный, добрый?», «Ну почему, почему Россия оскудела такими мужчинами?!»

Самые романтические оставляют даже стихи:

Осенний лист чертит свои узоры,
И Север дышит холодом опять.
Нигде тебя не встретят наши взоры,
И в хладную постель уходим спать.

Наверно, мы тебя все недостойны,
Как недостойна лебеда сова.
Я вижу, ходят все вокруг спокойны,
С экранов же слова, слова, слова.

Но я с тобой останусь вплоть до гроба,
Мой рыцарь, мой прекрасный паладин!
На небесах с тобой пребудем оба.
А до того пока побудь один!

Однако мой слух, так и не освободившийся от чар Орфея, начинает невольно разбирать сквозь словесную белиберду подлинную тоску, подлинную мечту — в душе ведь все подлинно! — и я снова вглядываюсь в лицо своего победителя и перестаю понимать, в каком он звании, сколько ему лет, какие у него глаза, волосы и брови, я вижу только одно: он и вправду был таким, каким они его видят, — женщины не ошибаются.

* * *

В глазах же Лидии Игнатьевны заслуженный артист стоит едва ли даже не повыше, чем заслуженный деятель науки, — ее коробит лишь проникновение новой жизни. И все-таки наш кладбищенский букет был бы неполон без нового

героя наших дней — человека дела. Чей путь в наше избранное общество начинался как в сказке: жили-были три друга — Пит, Сэм и Антоха, двое умных, а третий деловой. Когда юные электротехники оставляли конденсаторы, солениды и уравнения Кирхгофа и отправлялись шабашничать на Север, Антоха уже при закупке бухла на дорогу и на шахер-махеры безо всяких выборных формальностей признавался бригадиром.

И когда Пит и Сэм в час по совковой лопате вгрызались в вечную мерзлоту, Антоха в каком-нибудь унээр (управление начальника работ, если кто забыл) за пару бутылок подряжал экскаватор. Затем оформлял наряды на ручные земляные работы, сколько надо отстегибал прорабу, и друзья отправлялись в поисках новой халтуры. Правда, когда однажды после трудового сезона Антоху вызвали в прокуратуру, Пит и Сэм изрядно струхнули. Зато Антоха только взбодрился: «Вы-то что зассали, вы вообще не при делах, все я подписывал!» Дело и правда через полгода закрыли за недоказанностью, после чего у Сэма с Питом гора свалилась с плеч, а Антоха наоборот заскучал; поэтому он и бросил институт за полгода до диплома. А Сэма и Пита, получивших диплом с отличием, но уже не получивших распределения, он позвал в качестве *менеджеров* в свою *фирму*: «Мне нужны *верные люди*».

От тех времен остался анекдот «Что такое бизнес по-русски?»: «Возьмешь вагон листового железа?» — «Возьму». После этого первый бежит искать железо, а второй деньги.

Не зная, на что может польститься новое незримое божество — Рыночный Спрос, заводы пытались клепать что умели из того, к чему привыкли, но половина привычного была растащена по дороге все тем же Спросом, а из оставшегося можно было склепать разве что-нибудь несуразное, но для многих и это было лучше, чем все пустить по течению, то есть спустить на металлолом. Никто не знал, что может понадобиться завтра, а потому на всякий случай хватал, что попадется, с радостью избавляясь от попавшегося, чуть только на горизонте начинал маячить новый дурак.

На Антоху не раз и не два наезжали братки, и он всегда охотно садился к ним в машину, — Антоха где-то раздобыл мобильник с навигатором и прямо из машины предлагал поговорить со своим куратором — генералом кагэбэ: у Сэма был гулкий, будто из цистерны, начальственный бас. И на братков всегда производило сильное впечатление, когда генеральский бас называл точный адрес, где они находятся, и сообщал, что для решения вопроса высылает опергруппу, — в итоге опергруппа понадобилась всего один раз.

Друзья в тот исторический момент в основном перегоняли из Варшавы подержанные иномарки, а к травматическому оружию еще только примеривались, но уже арендовали для него бывшее бомбоубежище неподалеку от Выборгского дворца культуры: оружие полагалось складировать в помещениях особой прочности. Прочность, однако, не помогла — дверь отлетела как от пушечного выстрела, когда под прикрытием пуленепробиваемых щитов в бомбоубежище ворвались камуфляжные фигуры в черных масках. «Всем на пол!!! Руки за голову!!!», — оглушительно вопили исчадия ада, но добровольно бросился на пол только Антоха как самый сообразительный, а из-под Пита и Сэма были вышиблены стулья тяжелыми ботинками, которыми для вразумления еще и прошлись им по ребрам.

Когда им позволили подняться, их уже встречал спокойный молодой мужчина в штатском, и пока Антоха с ним перетирал в комнатенке с письменным столом, черные маски вполне миролюбиво смотрели телевизор вместе с Сэмом и Питом, предварительно оказав им первую помощь в отряхивании.

Потом Антоха за стенкой подписал бумаги, необходимые для передачи бомбоубежища более достойным бизнесменам, и вся команда удалилась, очень вежливо распрощавшись. Но зато к тому времени, когда братва наехала на их магазин поношенных финских холодильников на улице Ленина, Антоха сумел нарыть настоящие концы в московских органах. Тридцатипятилетние спокойные ребята подъехали на скромном «Ниссан Патруль» и так же без понтов извлекли из багажника большую черную сумку, в которой скромно, но с достоинством побрякивало оружие. Планировали стрелку на задах кинотеатра «Зенит» они как настоящую боевую операцию с выделением секторов обстрела, с путями отхода, а когда Сэм заглянул к ним за сахаром для кофе, они так на него воззрились, что он почувствовал себя беспардонным чужаком на собственной кухне. Дело, однако, не дошло не только до разборки, но даже и до терки: когда пацаны поняли, что у Антохи реально позади Москва, они предпочли исчезнуть. После чего московские орлы сделались разговорчивыми, за выпивкой болтали о футболе, о бабах — мужики как мужики. Правда, о работе ни гу-гу. Только после пятой один вдруг что-то вспомнил и посмеялся над простаками, которым для допроса требуются всякие сложные приспособления: «Чего тут мудрить — засовываешь ему карандаш в ухо!..»

Ребята, не Москва ль за нами, ликовал Антоха, пускаясь во все новые и новые аферы и авантюры, летая как на крыльях и даже просто на крыльях от Калининграда до Анадыря, чувствуя впервые в жизни, что это и впрямь не пустые слова — *моя страна*. И не пустые слова — *мои друзья*. Из их троицы одному лишь Антохе банковские тетки, ошалевшие от необходимости решать, кому из текущей мимо них реки проходимцев можно доверить серьезные деньги, выписывали все новые и новые кредиты, зачарованные его уверенностью: он действительно ничуть не сомневался, что рано или поздно все кончится хорошо. Не по-здешнему элегантный, наполеоновского роста, с уверенно приподнятым округлым носом (поджарый Сэм и пухлый в очочках Пит рядом с ним возвышались один его охранником, другой бухгалтером), он раскидывал во все стороны неводы своих бизнес-планов, и те, кто в них попадал, каким-то образом тоже не оставались в накладе — все долги Антоха возвращал с избытком, иногда даже просто забывая на стуле женскую шубу. Разумеется, старые долги возвращались за счет новых, но разве цель жизни любого из нас не заключается в том, чтобы как можно дальше оттянуть расплату? Так Антоха покупал и продавал воздушный металлический лист, летучий пруток, унесенную ветром муку, утекшую вслед за Невою водку, бывшие в употреблении презервативы, разыскиваемые интерполом автомобили, цемент в слитках, молибден в бумагах и музейные пушки вместе с маслом, одним из первых догадавшись, что если назвать свалку биржей, то доверие к ее владельцу возрастет многократно. За маслом, с лимоном зелени, он слетал аж в саму Америкку, где славно погулял в президентских апартаментах, но масла почему-то привез всего тысяч на двести, да и оно по зрелом исследовании оказалось маргарином пятой свежести. С этого-то вояжа Сэм и Пит и почувяли, что пора вырывать из опасного деньговорота, а Антоха считал, что настоящая игра только начинается.

— Как с нас потребуют кредиты, если нас целая армия? — втолковывал он. — Это одного нарушителя можно оштрафовать, а если весь город пойдет на красный свет, никакой милиции не хватит.

Однако этим слабакам уже казалось, что цунами нарушителей идет на убыль, и каждый из них опасался остаться на мелководье одним из тех отставших, на ком правосудие отыграется за всех. Сэм уже вполне пристойно торговал травматическим оружием, Пит — спортивным питанием, а Антоха по-

прежнему мог в любое время подкатить к магазину на своем шестисотом «мерсе», тормознуть под запрещающим знаком, да еще и распечь сунувшегося в окошко гаишника: «Ты на кого наезжаешь?! Назад на свиноферму захотел?!» Служивый устремлял испытующий взор на руководящую обрюзглость Антохиных щек (Антоха снимал напряжение вискарем), затем бросал тоскливый взгляд на абсолютно натуральный метровый кольт на вывеске и понуро шлепал обратно на пост, а Антоха по-хозяйски входил в лавку и без спроса выгребал из кассы всю наличку.

— Ты что творишь, мне ж с поставщиками расплачиваться надо!..

— Сделаю дело, со всеми расплатимся.

В общем, Пит и Сэм, поднапрягшись, выплатили Антохе его долю гордого сокола, избравши благоую часть более или менее обеспеченных ужей. У распадающейся троицы еще оставался в общем владении кинотеатр, который они намеревались переоборудовать в кегельбан, но тут в дело вмешалась Антохина жена, бывшая парикмахерша (Антоха недолюбливал образованных женщин). Она позвонила сначала Сэму, а затем Питу и вывалила на каждого одно и то же мусорное ведро, — она и в выражениях не стеснялась:

— Вы бы без него сейчас сидели в полной жопе!

Укладчица, как ее называли отступники, уже давно доставала их своим нахрапом, хотя в ее упреках и была немалая доля истины: Пит и Сэм никогда бы не решились заниматься контрабасом с такой дерзостью — после границы выписывать новые документы с поддельными печатями. После ее демарша два друга немедленно распилили и кинотеатр, но ее вопли уже ничего изменить не могли: оставшийся в гордом одиночестве Антоха прекратил снимать напряжение новорусскими напитками и ударился в старорусское пьянство. Квартиру он успел купить генеральскую в двух шагах от Таврического сада, и когда однажды ночью он вышел за добавкой...

Но тут мнения расходятся. «Укладчица» настаивала, что его задушили — они с дочерью отлично слышали через дверь хрипы и звуки борьбы, но выйти не могли, потому что с той стороны в двери торчал ключ. Милиция же придерживалась менее драматической версии: Антоха успел вставить ключ в дверь и сделать половину оборота, когда с ним случился сердечный приступ, от которого он и умер, а если вы еще раз заикнетесь про укрывательство, пойдете под суд за клевету, расцарапанное горло ни о каком удушении не говорит, во время удушья люди часто пытаются ногтями разорвать себе горло, не он первый, не он последний.

И все-таки оставшиеся в живых друзья были этой рядовой историей так потрясены, что выкупили для Антохи участок в нашем почетном уголке и установили на могиле стелу сахарного мрамора, откуда Антоха взирает на мир прежним наполеоновским взором. Друзья расщедрились даже до того, что авансом забронировали для Антохиной дочки место на юрфаке и арендовали для жены парикмахерский салон на два посадочных места при одной раковине. Мне, кладбищенскому завсегдатаю, иногда приходится с нею сталкиваться, и если когда-то в ней и был нахрап, то он целиком и полностью остался в прошлом: она и какую-нибудь лопату не может попросить без совершенно не принятого в нашем избранном кружке заискивания. Я и сам начинаю суетиться, чтобы поскорей избавиться от этих причитаний, ужасно не вяжущихся с парикмахерским шиком ее нарядов и поэтическими полукружиями под черными трагическими глазами. Похоже, и друзья стараются навещать его могилу так, чтобы с нею не пересечься. Сэм от постоянного соприкосновения с поддельным оружием обрел сходство с поддельным ковбоем; Пит на своих протеинах отъелся до

габаритов боксера-тяжеловеса и, говорили, мог за брошенную в подсобке упаковку заехать в ухо, хотя в институте за полноту, добродушие и очки он носил прозвище Пьер Безухов, — тем не менее, на кладбище оба приходят добрыми и грустными и всегда здороваются первыми. А потом еще и просветленно прощаются. И медленно — один неумеренно стройный, другой копнообразный — бредут к воротам, провожаемые презрительным взглядом Знатного Рабочего.

* * *

Жорес Лукьянов родился в семье секретаря райкома. И хоть и район был не из первых, и секретарь не из первых — ездил на работу в тарантасе, ходил в общую баню, жил в одноэтажном кирпичном доме с удобствами во дворе, — Жора понял, какая это была райская жизнь, только когда отца (и следом мать) арестовали без следа и без возврата, а его пустили по миру, то есть по родне. И хотя впрямую никто ему этого не говорил, из нескончаемых препирательств, кому из родни и куда его переправить, где светит лишний квадратный метр, лишняя пайка жмыха и лишняя кадушка квашеной капусты, — из этой нескончаемой грызни самолюбивый мальчишка сделал совершенно правильный вывод: он паразит, лишний рот и *нахаба*, — у материной родни выражались и таким отвратительным сермяжным языком, Жорес с тех пор навеки проникся неприязнью к *сермяге*, как он впоследствии именовал сочетание деревенского начала с туповатым себе на уме.

Поэтому фэзэу он ощутил как защиту и часто повторял одними губами: *на полном государственном обеспечении*. И то, что форму ему выдали грубую и почти военную, только наполняло его грудь еще большей успокоенностью: уж о солдатах-то государство побеспокоится в первую очередь. И что кормили серыми слипшимися макаронами и жеваным хлебом под видом котлет — от этого падший инфант чувствовал себя лишь еще более уверенно: уж такой-то харчевки не отнимут. И когда другие пацаны пытались зубоскалить, что их учат работать деревянными напильниками, он только хмурился: вдруг возьмут да и всю их лавочку и прикроют. Ему не нравилось даже, когда их в газетах и по радио называли фабзайцами — кто станет беспокоиться о каких-то там зайцах!

Так что когда ему наконец доверили настоящий металл, настоящий напильник, а затем и настоящий станок — сначала токарный, а затем и фрезерный, он принялся работать не с энтузиазмом — с истовостью. И вскоре вышел не просто в передовики — в мастера. Оказалось, он без циркуля одним напильником может выточить шайбу с точностью до половины миллиметра, что стружку он снимает собственноручно заточенным резцом до зеркального блеска и притом выходит в ноль с такой точностью, что штангенциркуль вообще не ловит ошибки, и мастеру восхищенного интереса ради приходится извлекать из бархатного ложа микрометр.

Как сына врага народа на Доску почета Жореса не выдвигали, но затянутый в гимнастерку неизвестного рода войск, тучный корпусом и изможденный лицом директор мастерской ответственно кивал ему на бегу, порождая в его душе смутную надежду, что укрытие можно отыскать не только в толпе, но и в личном мастерстве. Ему уже обещали комнату в коммуналке, когда в город вошли немцы. Вошли без боя — мастерскую отступающие власти взорвали сами. И подпольного движения Жора никакого не успел заметить — просто началась битва за жратву: жратвой торговали из-под полы, за нее хватали, сажали и даже вешали. Жора пока что перебивался ремонтом замков, зажигалок и прочей металлической хурды-мурды, за которую платили картофелинами, но в нем

нарастало опасение, что эти картофелины, укрытые от вермахта, однажды могут дорого ему обойтись. И когда его загребли на работу в Германию, он испытал даже что-то вроде облегчения: если заставят работать, значит будут и кормить. Тем более что его с самого начала занесли в особый список квалифицированных обработчиков металла.

Дорога, правда, далась нелегко, но тут, он понимал, были серьезные причины: постоянно пропускали спереди воинские составы, а сзади санитарные. И когда в авторемонтной мастерской, куда его определили, главным блюдом оказалась брюква, он тоже видел в этом определенную честность: что имеем, тем и кормим, не называем мясом жеваный хлеб. Жорес не любил, когда врут, всякое бывало — и по три дня не жравши приходилось сидеть, и спать под верстаком, и получать дубинкой по спине, но надо не забывать и того, что только в Германии он увидел, какие они есть — настоящая струбцина, настоящие цанги, настоящий метчик, бородок, кернер, крейцмейсель, шабер. А надфили!.. Он в них влюбился с первого взгляда. И герр Шульц это тоже сразу оценил. И выучил такому мастерству, какое ни фээзушнику Жорке, ни стахановцу Жоресу и во сне не снилось. Ни даже его директору — тот-то был, похоже, из мудозвонов, кои только речи горазды толкать да погонять. Тогда-то в его душу и закралась крамольная догадка, что все беды в этом мире от мудозвонов — мастера-то всегда бы между собою поладили.

Как сам Жорес с герр Шульцем. Жорес даже немецкий мастеровой язык освоил, обсуждая с герр Шульцем, как бы эдак половчее выточить или отлить какую-нибудь заковыристую деталь. А после каждой удачной работы герр Шульц обязательно приносил ему бутерброд с маргарином — повкусней любого масла. Зато, когда пришли советские войска, Жореса начали таскать, не по своей ли охоте он завербовался в Германию. Да еще когда цвангсарбайтеры переселились в уцелевший дом бургомистра и удали ради перестали мыть посуду, выбрасывая грязные тарелки от фарфорового сервиза в окна, Жорес нарочно их драил с песочком. А перед отправкой домой зашел к герр Шульцу поблагодарить за науку. И учитель встретил его пришибленный и спросил, что из его вещей он хочет забрать — ковер, часы?.. Жорес, залившись краской, замахал на него руками, и герр Шульц, смахнув слезу, вынес ему заветный набор фрез: это самая хорошая сталь, пусть русские научатся делать такую. Жорес, когда устроился на работу, в первый же день принес драгоценные фрезы прямиком в дирекцию, но директор его не принял, велел все оставить у секретарши — и больше об этих фрезах не было ни слуху, ни духу — раздолбайство схряпало и не заметило.

При Хрущеве, когда работу на немцев можно было уже не скрывать, а даже хлестаться по-мудозвонски: страдал-де в фашистском рабстве, — Жорес старался уклоняться от таких разговоров, а если мудозвоны начинали очень уж требовать, чтоб он выступил на митинге, он пару раз даже сорвался: какой, на хер, фашизм, производство как производство! Работают, работают, потом какие-то ихние мудозвоны собирают партийное собрание — тогда все надевают повязки с фашистским крестом, посидят, послушают мудозвонский трендеж и опять идут работать, а инструменты, между прочим, берегут, нам бы поучиться! Так что, хоть времена были и мягкие, в парткоме с ним однажды поговорили очень жестко. После чего Жорес не столько утрашился, сколько устыдился: с этими мудозвонами и сам докатишься до мудозвонства, надо работать и забить болт на все эти фашизмы, коммунизмы...

Он понял, что, если убрать горсточку мастеров, мир разделится на мудозвонов, хитрожопиков и раздолбаев. Мудозвоны произносят речи и распоряжаются, хитрожопики шустрят, чтоб закрыть наряд повыгодней, ухватить кружку

пива без очереди или бесплатную путевку в профсоюзный «домотдых», а раздолбаям вообще лишь бы квасить да заколачивать козла во дворе. И мастера среди всего этого мудозвонства, хитрожопства и раздолбайства должны делать свое дело и держаться друг за дружку. Чтоб быть поближе к мастерам, Жорес и перебрался в культурный город Ленинград по лимитной прописке. Завод был номерной, и очень скоро выяснилось, что сопла к ракетным двигателям вытачивать, кроме Жореса, почти что и некому. Вернее, просто некому. Два огромных фигурных стакана, впритирку вложенных друг в дружку и разделенных ребристым листом, нужно было для начала выставить вдоль оси токарного станка с точностью, недоступной никому из хитрожопиков, не говоря уже о раздолбаях, а потом еще и обточить так, чтоб не дай бог не замять ребристую перемычку, иначе год не расплатишься, отчего никто за них и не брался, хотя платили будь здоров. А Жорес, не торопясь, спокойно управлялся сначала с небольшой электрической лебедкой, потом с собственноручно заточенным резцом и заканчивал работу не медленно и не быстро, а в самый раз и без единой задоринки. При этом даже нормировщику с его бдительным секундомером не позволялось к нему приближаться: и мастер, и начальник цеха хорошо усвоили, что этот передовик в любой момент может заявить: «Хотите быстрее? Ну так и делайте сами». Но тут уж даже самые завистливые хитрожопики прикусывали язык: ничего не скажешь, что умеет, то умеет, без всякого блата и хитрожопства мужик кладет в карман полтора директорских оклада. И с Доски почета не слезает безо всякого партийного пронырства. Ему прощалось даже то, что он ходит на работу в шляпе и костюме с жилеткой — чувствовали, что у человека какой-то принцип, хоть и не знали, что так приходил когда-то в мастерскую герр Шульц. И неразговорчивость его, тоже чувствовали, от какого-то служения, хотя никому из работяг и даже из начальства никогда не приходилось употреблять это вычурное слово.

Он и с женой разговаривал в основном только по делу, с боевой голосистой девахой из механосборочного, тоже лимитчицей, перед Жоресом сникавшей до пугливой выжидательности, не осчастливит ли каким кратким распоряжением. Единственное, в чем она решалась проявить настойчивость, — в робкой мольбе: ну, покушай, Жоресик, это же курочка, печеночка, ребрышки, гуляш, так что, вообще-то всегда сдержанный, Жорес иногда обрывал ее очень грубо, чего герр Шульц никогда себе не позволял: «Отцепись!» И, собственно, был прав: он вовсе не голодал, физически он был силен и вынослив, хотя мосласт и худ, что подчеркивалось его неизменной стрижкой под полубокс — под герр Шульца. Особенно его бесило, когда на жену находила умильность: ну что ты смотришь тучей, ты погляди, квартиру от завода выделили, детки растут, гэдээровский гарнитур дали без очереди, бумаги на Трудовое знамя ушли в Москву, все же хорошо!..

Какое, на хер, хорошо, дура ты деревенская, когда раздолбайство уже к горлу подступает, уже на работу пьяные выходят, уже за два прогула только пальцем грозят, а наберутся храбрости турнуть, так суд обратно восстанавливает — какие тут Дни молодого рабочего, какие ордена: это ж все чистая насмешка, когда об мастерство открыто ноги вытирают! С сынишками-погодками Жорес на некоторое время, правда, потеплел, взялся приучать их к каким-то начаткам мастерства, но чуть они подросли и поняли, что чем больше они будут погружаться в дрели и надфили, тем скорее останутся такими же простыми работягами, как отец, — пацаны потихоньку и скисли, а Жорес потерял к ним если и не любовь, то всякое уважение. Ну а уж когда один из них двинул в хитрожопики — в финансово-экономический, а другой после армии в мудозво-

ны — в райком комсомола, Жорес стал соглашаться полчаса сидеть с ними за одним столом только после слезных молений жены.

Курс на ускорение сначала оживил его настолько, что он даже успел три или четыре раза выступить на профсоюзном собрании и получить давно заслуженного Героя соцтруда, прежде чем до него дошло, что вся перестройка — это победа хитрожопиков над мудозвонами. Зато когда оба сына вышли в какие-то дилеры, риэлторы, хуелторы, он понял, что мудозвоны с хитрожопиками были заодно, а поражение, окончательное и бесповоротное, потерпели мастера. Завод почти не работал, зарплату задерживали, но Жорес вышел на пенсию не из-за этого — тошно стало на всю эту мудистику смотреть. Пенсия, или, как пошучивали у них в цеху, пездия, даже и геройская, была копеечная, приходилось принимать деньги у сыновей-хитрожопиков. Чтобы не рехнуться от тоски и злости, он заставил себя увлечься чеканкой по латуни и за год выдолбил на пластине 300 на 450 мм Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина в развороте, и сердце его сжималось, когда он видел, что работа неуклонно подходит к концу. И единственным, с кем он готов был разговаривать не только по делу, оказался внук-студент, неожиданно выросший в серьезного парня.

Внук учился на историка и часто, чуть не каждый месяц, приходил к деду расспрашивать о Германии, он говорил, что мы слишком легко усвоили еврейский взгляд на фашизм, в котором было и глубокое народное начало. Евреи Жореса не интересовали, а в Германии он и вовсе их не встречал. Гитлер их за что-то «наказывал», как однажды выразилась его жена, но ему ведь и Гитлер никогда не попадался. Но зато он сам видел, как женщины перед работой заносили в пекарню пироги из сырого теста, а когда возвращались, пироги были уже готовые. И за опоздание не сажали, а работали почти что под бомбами. Внук слушал с подчеркнутым почтением, даже и стриженный под тот же полубокс. Они были похожи друг на друга еще и правильными чертами без особых примет. Как вся та компания, куда внук однажды его зазвал рассказать правду о Германии — там только один жирноватый парень был обрит налысо с длинной чуприной впереди. Он был одет в расшитый какими-то невиданными узорами синий чапан, а на деревянном журнальном столике перед ним лежала сучковатая лакированная дубинка.

«Мудозвон», — недовольно подумал Жорес. Он собирался рассказать, какие немцы мастера, а этот представился жрецом *русов* и потребовал, чтобы Жорес не сходя с места признал, что Россией должны править те, у кого эти самые русы были предками. «Да кто ж их знает, своих предков, — недовольно пожал плечами Жорес. — У меня мать наполовину мордвинка, отец наполовину белорус — мы все какие-то помеси». — «Ложь!» — вскричал жрец и грохнул дубинкой по столику. Жорес вздрогнул и обрадовался — давно чесалось впасть от души какому-нибудь мудозвону, — но внук за рукав потянул его в прихожую: не обращай внимания, мы пока что не можем пренебрегать никем, потерпи, мы сначала посмотрим фильм — небольшой, только отрывок, а потом ребята зададут тебе вопросы.

Свет не гасили, но черно-белые факелы на огромном плоском экране все равно текли огненной рекой, сливаясь в живую горящую свастику. «Мощно, правда?» — покивал внук Жоресу, и того наконец прорвало. «Какую страну погубили, мудозвоны!..» — простонал он, но внук встревоженно спросил не «что с тобой?», а «какую страну?..».

— Какую, какую... Германию, конечно! Дойчлянд.

— А, я думал, совок.

— Да и в совке было получше, чем в нынешнем блядюжнике!

Жорес даже дверью хлопать не стал — все равно никому ничего не докажешь. Оскользаясь по ледяным буграм среди огненных шеренг сталинских громад (совсем убирать перестали), он добрался до ближайшего ларька и купил бутылку «Жириновки», которую на три четверти выпил тут же, не отрываясь, из горла, а потом, передернувшись, допил до конца. Хотел по-русски трахнуть пустую бутылку оземь, но удержался и культурно, по-немецки пристроил в переполненную урну. И побрел, оскользаясь все чаще и чаще, соображая все хуже и хуже, и только выбравшись к ночной железной дороге, он сообразил, что брел в эту сторону на звук, напоминавший шум заводского цеха. Звук усиливался, и он по мерзлым бетонным шпалам, спотыкаясь, двинулся ему навстречу. Звук сквозь легкую морозную метель вспыхнул прожектором, потом завыл сиреной, как при бомбежке, и каменная тоска наконец-то растаяла в его груди: ведь это же будет совсем не больно...

Но этой блаженной его улыбки так никто и не увидел. Фотографию на могилу жена выбрала с Доски почета, с которой он смотрел на мир очень серьезно и почти презрительно. Как никогда ни на кого не смотрел его учитель герр Шульц. Зато на надгробии герр Шульца наверняка не было такой изящной золотой звездочки.

* * *

Сколько Капитолина себя помнила, ее всегда томила скука. Она даже и не знала бы, что это скука, думала бы, просто жизнь, если б в самом-самом начале ее не свозили к бабушке в деревню. И там было страшно интересно — интересно и страшновато смотреть, как жует корова Субонька: хрукает, хрукает слева направо (или справа налево?), а потом по шелковистой шее пробежит комочек — сначала туда, а потом обратно. И снова хрукает. А глаза у нее синие-синие, к зрачкам густеющие до черноты, — ни у кого больше она не видела таких темно-синих глаз, как у Субоньки. Только этого и было в ее жизни интересного.

Сердцевиной скуки была, конечно, школа, там как будто нарочно собирали все самое никчемушное — какие-то биссектрисы, медианы, «а квадрат плюс бэ квадрат», «калий-натрий-кальций-магний», добыча свинца в Замбии... В школе ее и звали Линкой и Линежкой, а дома Капой. Чтоб капать на мозги. Так что на нее впервые повеяло живым, когда она попала в компанию, где слово «школа» произносили не иначе как с усмешкой, где учителей называли совками, а родителей родичами, где изредка появлялись даже настоящие диджеи и рэперы, и когда по кругу пускали косячок афганки или чуйки, получалось еще более побратски и еще более прикольно: как будто вымыли пыльное окно. А когда появился герыч, она уже и сама не знала, смутно помнилось, *то тебя прет, то тебя ломает*, а в просветах неотступная тревога, что осталось только на два дня, а дальше — невыносимые *ломы*... Это легко сказать — *ломы*, а когда истекаешь разъедающими кожу соплями, когда сутками не отходишь от толчка, куда, кажется, вот-вот вывернет все твои внутренности, когда пара часов сна превращается в недостижимую мечту, и, даже добравшись до постели, никак не можешь найти терпимую позу — все тебя крутит и трясет, и ты начинаешь ползать на карачках по полу с пинцетом для выщипывания бровей, чтобы найти среди грязи хоть крупинку *белого*, а потом *двинуться* этой грязью, тряхнет, так и хрен с ним, но когда хорошенько это запомнишь, тряска начинается задолго: бабок нет, дома появляться нельзя — начнут запирать, тащить в детокс, а без ширялова она все равно не знает как жить, без кайфа нет лайфа, родичи уже ей не верят ни на копейку, да и кидала она их до фига и больше, тырила по мелочи, а из квартиры у друзей и подруг тем более давно все повынесено, вечная шустрежка

и вырубалово — блин, у Гнома щас нет ни хрена, еще не поздно рвануть на Ваську, знаю там пару точек, хотя их, может, хрен знает когда уже закрыли, — вечное ожидание и изнывание, крысиные наркотские ухватки дружков и подружек, морды барыг: «Чего надо?» — и неизбывные мусора, мусора, мусора...

В первый раз ее отымели в ментовке при метро и выпустили под утро, еще метро не работало, в ледяном подъезде отмывалась полупрозрачным твердым снежком с вдавившимися отпечатками пальцев, а в последний раз дружок, с которым начиналось так суперски, продал ее барыге за пару чеков. Она тут же вмазалась, и вышел передоз, но барыга свое таки получил (у дружка от герасима давно не стоял) — она пришла в себя в подвале, долго смотрела на бетонный потолок и не понимала, где она. А потом почувствовала, что стягивает внутреннюю сторону бедра, посмотрела — трусов на ней не было, а стягивало чем-то вроде засохшего молочного киселя. И подумала только одно: хорошо, подвал теплый. Она ведь там хрен знает сколько пролежала, на пояснице успел образоваться пролежень.

Короче, тут, в подвале она поняла — так и кинуться недолго, надо сдаваться родичам, хоть они и совки и даже заводчане. В детоксе она неизвестно сколько втыкала в тесном холле, отбегала в сортир, где из нее без всяких спазмов лилось само собой, и ей было по фигу, когда ее раздевали, мыли в душе, укладывали под капельницу... Только когда медсестра никак не могла попасть в вену, ее немножко завело: она гордилась, что *арыки* у нее не убитые, не надо ширяться куда-нибудь в *метро*, — как в полусне, выхватила машинку из мертвенно-бледных резиновых перчаток и вдунула себе сама.

Очнулась она оттого, что кто-то тянул ее веко вверх, а глаз сам собой закатывался за ним следом, и мужской голос как бы с улыбкой приговаривал: ну-ка, ну-ка, не убегай! Она опустила глаз и увидела молодого мужчину, почти парня в белом халате. У него была сверкающая добротой и бесшабашностью улыбка на красивом кавказском лице и синие-синие, как у Субоньки, глаза в черных-пречерных девичьих ресницах. «Ну что, еще помучаемся?» — спросил он ласково, но напористо и потрепал ее за плечо, и плечо возникло из пустоты, а за ним появились руки, ноги, спина, на которой она лежала, но только плечо послало ей сигнал, что тело ее создано не только для употребления, но и для ласки.

Мир начал оживать, и она увидела с койки, что халат у него разорван под мышкой, и еле слушающимися губами прошлепала:

— У вас халат рваный...

— Добродетель и должна ходить в рубище, — сурово ответил парень, и она поняла, что он не только нечеловечески красивый, но и прикольный.

С этой минуты началась новая жизнь, вернее, не новая, а просто жизнь — что было до сих пор, это была какая-то тягомотина и гадость, а жизнь оказалась и вправду прекрасна и удивительна, — и среди нескончаемой школьной мутотени отыскалось что-то правильное. Запах столовки, полусонные торчки в коридоре, пережевывающие, кто, где и как раскумаривался, какие колеса кроют дольше, они теперь *омолодились*, *торба* съехала, можно торчать по новой — все это теперь вызывало у нее не столько брезгливость, сколько жалость: так ведь и вся жизнь утечет в толчок... И становилось до слез жалко мать с отцом — как скучно они прожили!

Для нее теперь каждая минута, каждый звук сделались предвкушением: вот сейчас он войдет, и ее с головы до ног зальет радостью. Самое офигенное в нем была даже не его неправдоподобная красота, а свет, который он излучал, свет уверенности, что жизнь прекрасна и бесконечна. Да она такой и была, особенно

когда он задерживал на ней свои синие Субонькины глаза, и она готова была броситься хоть в костер, чтобы сделаться для него — не то чтобы милой, но хоть не противной, она же знала, сколько у нее грязи даже в крови...

Когда она переламывалась под общим, он же мог ее видеть загаженной, все время стучало в голове, и она чувствовала, как у нее горит лицо — уже и забыла, когда такое с ней бывало. У нее и так стоял перед глазами случайно увиденный мужик под капельницей: он храпел как удушенный, а на нем хорошенькая сестричка меняла заляпанные подгузники. И что она будет про него думать, если он потом вздумает к ней подкатываться?..

Про свой гепатит же она раньше вообще не вспоминала, он там был у всех, а что гепатит когда-то может перейти в рак, так чего про это думать, тут как бы продержаться хоть три дня. Зато теперь она постоянно чувствовала себя испачканной, и просто-таки сама не хотела, чтобы он, такой чистый, сверкающий, до нее дотронулся. Теперь она сама не могла взять в толк, как это они вмазывались целой кодлой, один баян на всю колоду, одна ее подружка поймала аж турбович, помесь туберкулеза с вичом, и не стала домучиваться, сделала золотой укол и отъехала, а она вот выкарабкалась живой, только изгаженной непоправимо, хуже тех подгузников.

Но все равно она старалась быть почище, покрасивее, не употреблять хотя бы мерзких слов с той помойки, которую она каждый день старалась соскрести с себя в душевой. И он ее тайно, она видела, все-таки выделял, на долю мига (она обмирала) задерживал на ней свои бездонные Субонькины глаза во время общих собеседований. И открыто ставил в пример: смотрите-де, Капитолина твердо идет к выздоровлению, и она каждый раз не шла — летела над полом к себе в палату, да побыстрее, чтобы не слышать, как это дурачье начинает пережевывать, хачик Львович или еврей (уважают все-таки, зовут по отчеству, а не клику... не кличками, как других).

Она и во сне начала летать. Сначала низко, напрягая все силы, но однажды он бережно приподнял ее сзади за локотки, и она полетела, совсем не чувствуя себя, несомая счастьем, счастьем, счастьем...

В Хибины он взял ее уже волонтером, и в поезде, в морозном тамбуре поделился с нею теперь как со своей, без служебного напористого оптимизма: «Я считаю, одну зависимость можно вытеснить только другой зависимостью, кайф кайфом вышибают. А люди в массе живут так скучно, что я удивляюсь, как они еще не все сторчались». Она кивала изо всех сил, чтобы он понял: за нее можно не беспокоиться, у нее теперь такая зависимость, такой кайф, какой торчкам и не снился. И с тайной радостью вглядывалась, как два облачка пара из их губ смешиваются в одно.

И когда они шагали рядом, закованные в горнолыжные ботинки, из-за которых ноги ощущались какими-то протезами, она ни глазам, ни ушам своим не верила, что снег даже без солнца может так слепить глаза и хрупать так звучно, как будто под ним закопан пустой фанерный шкаф. А когда взгляд уносился по склону ввысь, но никак не мог и не мог отыскать вершину, сливающуюся с пасмурным и все-таки праздничным небом, то сердце падало в пятки, когда до него доходило, что еле-еле различимая черненькая мушка, ползущая зигзагами не то по снегу, не то уже по облаку, вовсе не мушка, а человек, лыжник...

Могла ли она подумать, что через какой-нибудь час в такую же черную точку обратится ее боготворимый Львович! Но до этого он, словно заботливый папаша, всей своей торчковой команде собственноручно пристегнул прокатные лыжи и проверил крепления, и лишь потом препоручил инструктору Сене, у

которого на пальцах были выколоты размытые царские перстни. Они стояли под трамплином, похожим на недостроенный ржавый мост, и Сеня держался с ее божеством тоже очень уважительно, рассказывал со смущенной улыбкой, как он поспорил на ящик водки, что прыгнет с трамплина на детских саночках:

— Они из-под меня вылетели, я их ловлю, под себя подтаскиваю, а их ветром относит... Потом брюхом как об снег долбанусь — думал, все кишки к черту вылетят.

Она в оторопи бросила взгляд на своего Спасителя и в долю секунды прочла в его синих Субонькиных глазах: ты понимаешь, какая это дурость — так обращаться со своей единственной жизнью? — и тут же послала ему ответный сигнал: да, понимаю. И ее на веселом щипучем морозце снова залило жаром счастья, что они понимают друг друга без слов.

А затем его увлекла в небеса трамвайная линия, поседелые опоры которой, стремительно уменьшаясь, уходили ввысь по слепящему склону до полного исчезновения, а она осталась на пологом лягушатнике в распоряжении Сени, оказавшегося ужасно заботливым. Капуша, ты переноси тяжесть туда, сюда, сгибай то колено, се, но она уж не хотела отказываться от самого надежного метода — чуть лыжи начинали нести не туда, тут же садиться на попу. Зато толстячку-хомячку Андрюшке Сеня кричал с непритворным страданием: Андрюха, ты притормаживай, поворачивай, но тот с отвязанной улыбкой до развевающихся белых ушей швейцарской шапки летел напрямик куда лыжи несут, а потом уже катился кувырком, поднимаясь на ноги по частям еще более веселый и отвязанный, чем раньше.

И вдруг, словно прекрасный черный пришелец, с небес примчался ее полубог, развернулся, взвив трехметровый веер снега, и стал как вкопанный, и она, сидя на снегу, смотрела на него снизу, как тогда с койки, но сейчас он был уже не в рваном халате, а в каком-то космическом облачении, и смотрел на нее не с подбадривающей «медицинской» улыбкой, а просто с улыбкой, как на симпатичную маленькую девочку, и она тоже наконец-то улыбнулась ему открыто, ощущая себя такой же чистой, как этот снег, этот мороз, словно она проварилась в них, будто в отбеливателе.

Вечером народ, как всегда, не хотел расходиться из номера своего вождя, не в силах поверить, что в этом мире можно жить и радоваться, а не только кайфовать и погибать, и в какой-то момент Львович предложил, если кто умеет, сочинить стихи, про кого захочет. Все призадумались, а хомячок Андрюшка, профессорский сынок, сразу выскочил на середину, как всегда отвязанно улыбаясь до ушей.

— Я про Капитолину. Что нам сказать про маленького Капика? Весь вечер ищет денежного папика. Ночь, Староневский, парадняк, минет, сосу у каждого, по стошке, лишних нет.

Капа в ужасе метнула взгляд на Львовича и успела заметить, как он быстро прикрыл веками темную синеву своих глаз, а что ее лицо горит, она почувствовала только в коридоре: вот это оно и есть — гореть от стыда. В комнате, заваленной горнолыжным снаряжением, она бросилась на визгливую кровать и зарыдала в голос, но когда до нее дошло, что теперь ей никакими снегами не отмыться от той помойки, в которой она варилась столько лет, и значит ей уже никогда не будет места в мире чистых и счастливых, невыносимо захотелось вмазаться. Не просто вмазаться, а сделать именно *золотой укол*. Мысли заматались в привычном круге — где тут может быть *точка?*.. Внизу, в баре наверняка что-то можно надыбать... Бабок, правда, мало, но ради такого дела можно и... Раз уж все равно про нее так думают...

Кровать взвизгнула, и самый родной в мире голос произнес:

— Не обращай внимания. Этому барчонку максимум полгода жить осталось.

— Честно, я никогда этого не делала! — взмолилась Капа, уже замирая от надежды, но еще не смея взглянуть ему в глаза.

— Ну, конечно, не делала, — Львович потрепал ее меж лопатками (она замерла окончательно). — И вообще ничего никогда не было. Ты теперь совершенно другая девушка.

Капа подумала было, что это он так, для воспитания, но тут же поняла, что это чистая правда: прежней Линки больше нет и не будет. Хотя снова посмотреть в бездонную синеву его глаз она решилась лишь на следующий день: хотела проверить, понимает ли он, какое это ласковое слово — девушка? И что девушкой ее еще никто ни разу в жизни не называл?

И страшновато стало, когда она узнала, каким безжалостным может быть его голос: *барчонку, максимум полгода...* А пошучивает, проверяет крепления как родной папаша...

Вот его невеста и не понимала, что лучше его не доводить. Правда, она не знала, что он уже приехал разозленный.

Он не успел притормозить перед трамваем, остановился так, что пассажирам пришлось его обходить. И какой-то алкашистый мужик стукнул кулаком по капоту и что-то этакое прорычал. А Львович, этот всеобщий папаша, вдруг ринулся из машины и, придерживаясь за дверцу, впился в опешившего мужика с такой ненавистью, что тот застыл с полуоткрытым беззубым ртом (из-за сияющих трамвайных окон было светло как днем):

— Ты что сказал?! Я тебя спрашиваю: ты что сказал?!!

Мужик столбенел в полном ошеломлении, но его баба, с одного взгляда оценив бешеную кавказскую физиономию Львовича, поволокла его прочь. А прекрасный грозный демон вернулся за руль, процидив с мучительным отвращением:

— Жив-вотное...

А она-то думала, алкаши для него как дети родные.

После этого у Капы пропали и последние робкие мыслишки, что, может быть, как-нибудь, когда-нибудь...

Невеста жила где-то на проспекте Большевиков, где Капа никогда не бывала, хотя окна там горели такими же неотличимыми рядами, как и на Капином проспекте Ветеранов. И квартира у той была не лучше Капиной. Правда, она жила там одна, большая разница. Но Капа не могла не отдать ей должного: да, красивая, притом непривычно, капризно красивая, изгибается как-то по-особенному, запрокидывает голову так, будто приказывает расчесать ее золотые волосы, рассыпающиеся по лопаткам... И как будто даже не догадывается, что нужно поторапливаться, когда тебя ждут.

Так что в ночной клуб они отправились уже действительно ночью (Капа понимала, что это знак доверия к ее трезвости, если он решился взять ее в такое злачное место, там же наверняка спиды открыто толкают). Львович за рулем мрачно молчал, отвечал отрывисто, а та как будто нарочно начала капризно жаловаться, что хочет пить.

— Скоро приедем, — несколько раз резко ответил Львович, а потом вдруг тормознул: — Хочешь — выходи и ищи.

— Ну и выйду.

— Выходи.

И высадил ее на каком-то непроглядном пустыре — даже Капе это

показалось чересчур, она уже и в гремящей клубной толчее не решалась рот раскрыть, они по-быстрому и умотали. А через неделю он женился на своей капризнице как ни в чем не бывало, и единственное, что Капа себе позволила, — не пойти на свадьбу, сказалась больной, как не раз бывало в школе.

Все равно у нее с ним была общая работа, где они пропадали часов по двенадцать-четырнадцать. Львович недалеко от Краснознаменной получил собственный реабилитационный центр для дурачков и дурочек, вроде тех, какой в полузабытые времена была она сама, а теперь ее спаситель назначил ей зарплату за то, что она помогала их спасать! Андрюшка к ним уже не попал — не продержался на этом свете и тех шести месяцев, какие отвел ему Львович, но других таких же весельчаков Львович тоже повез в свои любимые Хибины, и они сожгли там сауну. И Львович не стал теревить их родителей, хотя очень даже стоило бы, а продал машину и расплатился.

Все равно он очень круто пошел в гору. Прежнего главного нарколога во время утренней прогулки с собакой двое неизвестных с бейсбольными битами избили до полусмерти, и он подал в отставку. А новый главный по фамилии Благосветлов сразу же начал двигать Львовича на работу с молодежью, и уже через полгода после пятого круга групповой психотерапии, когда все еле шевелили языком, а один он цвел как роза, Львович, обычно лишь бодро пошучивавший, вдруг подивился с гордостью: «Вы поглядите — у нас ремиссия за ремиссией».

Ничего удивительного — ведь таких, как он, больше нет. Ведь она и до него видывала благородных красавцев в кино, похуже, конечно, но все-таки, однако ей и в голову не приходило, что такие бывают на самом деле. И еще, главным в жизни обычных людей была скука, а по нему сразу бросалось в глаза, что он просто-таки не знает, что это такое.

Теперь-то она знала, что не жалость к несчастным торчкам им движет, а гордость, что он лучший: он мог говорить с подопечным как задушевнейший друг, а через минуту в кабинете за чашкой растворимого кофе со смехом выставить собеседника дураком, — и зауважала его лишь еще сильнее: какое же надо иметь терпение, чтоб такой взрывной характер и насмешливый язык годами держать под замком! Прямо Штирлиц какой-то...

После этого ее стало даже меньше огорчать, что она для него по-прежнему всего лишь «товарищ по работе» — еще неизвестно, что он про нее говорит своей златовласой, надо радоваться, что хоть улыбается, пошучивает, изредка треплет по плечу. Только она при этом уже не таяла, а замирала.

И начальство — особенно, правда, женское — на него поглядывало любовно, но все оборвалось стремительно и ужасно.

Какой-то контролирующей начальнице из горздрава неизвестные умельцы присобачили к домашнему косяку взрывное устройство. Начальнице оторвало ноги, и она скончалась от потери крови до прибытия скорой помощи. Точно такое же устройство было прилажено и к косяку Благосветлова. Но оно почему-то не сработало. Заподозрили, что первое устройство установили по заказу Благосветлова братки, якобы и продвинувшие его на эту должность, а второе прилепили только для отвода глаз. Она в этом ничего не понимала, только верила своему Спасителю, а он не сомневался, что Благосветлова подставили. К самому Львовичу, лучшему из людей во вселенной, придаться, разумеется, было невозможно, но даже и его посмели вызывать на допросы. Он, как всегда пошучивал, но, видно было, как его все это достало. И когда от него наконец отвязались, он решил себя побаловать любимыми Хибинами и новыми горными лыжами. Она в первый раз за два или три месяца не почувствовала в его планах

ни единой капельки натужного бодрячества или воспитательства, он говорил с нею как с родной, признавался, что ужасно устал, что ждет не дождется забраться под облака и лететь вниз так, чтоб ни одна забота не могла в голове удержаться...

А ранним утром в подъезде, — знали, стало быть, когда он выходит на работу, — какие-то опять-таки неизвестные забили его насмерть стальной арматурой, которую там же и бросили, — эту арматуру Капа видела как будто собственными глазами — вороненая, с грубым сварным швом поперек неизвестно для чего выдуманной винтовой нарезки, на стройках такие штыри постоянно торчат щетиной из сырого бетона. Она старалась думать, что его убили сразу же, хотя в газете писали, что он с раздробленным черепом еще успел доползти до своей квартиры. И ни один гад из-за двери носа не высунул... И эта его златовласая капризница, наверно, только ручки свои тонкопалые заламывала...

С того дня мир, в котором ей пришлось жить, внушал Капе не скуку, а ледяную сосредоточенную ненависть. Убийцы — они были не люди, они убили самого прекрасного в мире человека просто на всякий случай, он наверняка ни в чем не участвовал, но мог кого-то случайно видеть, слышать какой-то обрывок разговора — на хрена париться, видел-не видел, слышал-не слышал, спокойнее завалить и не заморачиваться. Но ей было совершенно не жалко и Благодетель, которому дали двенадцать лет: подставили его или не подставили, но он позволил себе прикоснуться к чему-то такому, к чему не имел права прикасаться, что было смертельно опасно для всех, с кем соприкасался он сам. Он один раз заходил к ним в центр — в очках, интеллигентно косоротенький, как будто улыбающийся рассеянно... Вот пусть там и поулыбается.

Она и в милицескую школу пошла только для того, чтобы получить оружие, а потом мочить этих гадов — двух, трех, сколько получится, пока не убьют ее саму. Не для того чтобы очистить мир, его не очистишь, он кишит этой мразью, просто ради наслаждения видеть, как они обмирают от ужаса, ссут в штаны, корчатся в мучениях, издыхают... Хорошо бы их было еще и давить каблуком, но это уж, жалко, не получится, придется действовать в рамках возможного. В милицеской школе про это все время талдычили: в рамках закона, в рамках закона, — как будто нарочно старались разозлить.

Единственное подобие радости у нее осталось — его могила принадлежала ей одной. Златовласая законная кривляка на кладбище почти не появлялась, не могла, видите ли, это видеть, а потом вообще слиняла в Швецию по какому-то там гранту — что-то, наверно, она в своей все-таки германистике соображала, хотя где германистика и где Швеция?

Летом Капа всегда мыла низенькую черную стелу голой рукой с такой нежностью, с какой моя Ирка когда-то намыливала спинку нашего первенца (она и следующих наших детей купала ничуть не менее нежно, но я уже меньше обращал на это внимание). А в морозы Капа только соскабливала ногтями барашковый иней с золотой надписи: ГРИГОРИЙ ЛЬВОВИЧ РЕВИЧ.

Однако и после этого ее губы, стиснутые в непримиримую белую полоску, обретали девическую мягкость, и понемножку она начала все реже заговаривать о том, что она живет только ради этой могилы, — без нее ведь та быстро зарастет грязью, сорняками, ведь жена у Львовича что есть, что нет...

Фотографии Львовича, так же, как и моей Ирки, на стеле не было, но я и без того знал, что никакой такой нечеловеческой красоты в природе не существует, ее создают обожающие глаза. Я знал и то, что реальные люди не бывают ни такими орлами, как Бережков, ни такими шестикрылыми серафимами, как Львович, но Орфей оставил мне частицу своего дара воспевать любимых такими, какими их видят любящие. Потому-то все мои могильные соседки и

тянутся ко мне — я служу их эхолотом, улавливаю, что они таят в глубине, не смея произнести вслух даже самим себе. И они тоже чувствуют, что я в самой сокровенной глубине считаю правдой то, что слышит только их любовь и более никто. То, во что верят женщины, и есть истина, ибо на их вере стоит наш мир. Я бы, может быть, и Виктора Игнатьевича расслышал каким-нибудь мыслителем-бессребреником, но с Лидии Игнатьевны, похоже, было довольно ее обычного припева: со школьной скамьи, держась за руки...

* * *

Зато гимн моему соседу Лубешкину Ивану Трофимовичу мы с Капой прослушали вместе. Я уже знал, что Лубешкин видный уголовный авторитет, но не подозревал, до какой степени он авторитетен, пока не увидел собственными глазами в годовщину его смерти траурную церемонию вокруг его триумфального памятника в полтора человеческих роста: Ивана Трофимовича вместе с супругой Полиной Михайловной взорвали в его собственном лимузине. Братки с бритыми складчатыми загривками и со значительными скорбными мурлами, не чокаясь хрустальными резными стаканами, произносили высокопарные тосты под первыми зелеными звездочками ранней весны. Мне хотелось подойти поближе, но я опасался нечаянно нарушить какой-нибудь роковой закон из их священного кодекса чести и потому мне удавалось разобрать только обрывки типа «да, это был человек», «это был мужик» и «он для меня все равно что отец, он меня человеком сделал». Капа же вглядывалась в их лица не отрываясь, и в глазах ее не было ненависти, одно лишь бессильное стремление понять что-то очень важное. Мне хотелось сказать ей, что туда смотреть не нужно, что это опасно, но я не решался выказать себя более робким, чем эта исхудавшая маленькая женщина, выглядевшая лет на десять старше своего возраста.

К счастью, никто из них не обратил внимания на такую шелупонь, как мы с Капой, но когда братки отбыли по своим преступным делам, а вытянувшиеся тени полунагих деревьев начали сгущаться в потягивающую ледком вечернюю мглу, к памятнику, шатаясь, притащилась затянута в надраенную офицерскую кожу деваха, истекающая размытой косметикой. В одной руке она держала ополовиненную бутылку виски «ред лейбл», хорошо знакомую мне по Иркиным увлечениям, другой, будто собачонку, волокла по непросохшей земле на поводке изящную дамскую сумочку.

Эта поминальщица, напротив, явно нуждалась в нашем внимании:

— Ввы ввиделли, сы нним ппыполльку ппыллыжжили? — указала она на припавшую к Лубешкину статую Скорби, и я на удивление быстро догадался, что полька это Полина Михайловна Лубешкина. — Смырритте, она ему и ззыддесъ отсыссывает! — гостья с полураскрута, подобно метателю молота, попыталась хватить статую Скорби сумочкой по голове, но угодила лишь по ширинке самому Лубешкину и зарыдала, покрывая ушибленное место поцелуями: — Ввыннечка, пррыссти, я из-за эттый ссучки! Я жже зныйю, что ты ммнниа лиуббил! Этто ййя ддылжна была здесь лижжать, ты ж ны нней жжыннился ттылько для ббизнеса! Пысть зземыля ттиббе быддет пыххом, Ввыннечка!!!

Я слушал ее с невыносимой нежностью, ибо она напомнила мне Ирку эпохи заката.

Наконец она отпала от ширинки и, удерживаясь на хромоных ногах при помощи вращательных движений хромоным корпусом, надолго присосалась к

граненой бутылке. Из-за ворот слышались несколько настойчивых автомобильных гудков, на которые она отмахнулась еще раз ополовиненной бутылкой:

— Пыддыждишь, ххылдый.

И обратилась к нам как к провереннейшим своим друзьям:

— Ммы в пыслидний ррыз пыллыскались ввы тррыйем в дыжикуззи, ттыкк у Ппыльки ссисиськи ббылтыххались нннижжы кылленык. А ынна ышше ллеззылла кы емму ссыссатть. А Вванничка высе выреммя минния гыладдилл, выввот!

Она припала к бронзовому животу и завывала: Вываннечика, ррыдный, кыкк жы ты ммминния ззыдесъ ысстыввил!

В этом вое было столько подлинного отчаяния, что я опустил глаза, но искоса продолжал видеть, что Капа смотрит на нее все так же неотрывно, только будто бы что-то уже начинала понимать. И когда изнемогшая страдалница, икая и всхлипывая, повлеклась к воротам, волоча сумочку по земле, Капа вдруг поделилась со мной словно в продолжение разговора:

— Меня обратно в центр зовут на работу. Пойти что ли? Кто-то этими уродами должен же заниматься?

Слова «этими уродами» прозвучали почти нежно.

* * *

Она держалась дольше всех, прежде чем растрогаться моей верностью покинувшей меня Ирке, другие впадали в умиление уже через две-три встречи: какая счастливая была ваша жена, вы заметили, сюда одни женщины ходят, мужчины только по торжественным датам, а вы, как ни придешь... Неужели вы каждый день сюда приезжаете?

И я отвечал, не боясь высоких слов, ибо они точнее всего и выражали мои чувства, и отражали робкие надежды моих собеседниц, что в мире, может быть, и впрямь существует любовь за гробом. Я без уверток резал правду-матку: люди всегда стремились увековечить память о своих любимых каким-нибудь бессмертным подвигом; но я время для подвига уже упустил, вот и решил делать то единственное, что мне по силам — ходить на ее могилу каждый день, и в зной, и в мороз, и в ливень, и в метель, именно *каждый день*, чтобы зарок был исполнен *в совершенстве*. Да, бывает, плохо себя чувствую, так тем лучше, иначе чего бы это стоило, да, и при температуре заказываю машину, и если случится сердечный приступ, аппендицит, грипп, у меня такое уже бывало, я все равно приезжал, и буду приезжать, пока в силах двигаться, а если буду не в силах, заплачу санитарам, чтоб они меня сюда принесли на носилках, когда-нибудь все равно надо умирать, а если мне выпадет счастье покинуть этот мир на ее могиле, то, можно надеяться, такой случай надолго запомнят, а значит запомнят и мою возлюбленную, эта надежда и дает мне силу жить.

После моих чистосердечных признаний несчастные женщины проникаются ко мне нежностью, граничащей с благоговением, ибо, благодаря мне, их собственное служение тоже возвышается в их глазах: да, любовь-таки и в самом деле серьезная штука, если такой умный, серьезный и немолодой человек вот уже столько месяцев предается столь бессмысленному вроде бы занятию.

Которое именно благодаря моему нестигаемому упорству начинает обогатываться высшей мудростью. Вот уж именно — выстраданной. Добытой пытками. *Подноготной*.

* * *

Я шел на отпевание как на бой. Я знал, что стоит мне хоть чуточку расслабиться, и я позорно разрыдаюсь, поэтому всякого, кто начинал приближаться ко мне с прочувствованным, а тем более заплаканным видом, я встречал таким свирепым взглядом, что они бочком, бочком отходили в сторонку, а кто подойти все-таки решался, то осмеливался лишь робко представиться: Федоров, Щербань, Пупкин, и о каждом отзывался Иркин голос через десять, двадцать, тридцать лет: «Упрямый как осел!», «Хитрованчик», «Закатывает речи — люди в обморок падают». Слова не всегда были любовными, а голос всегда — и они это каким-то чудом слышали, даже переругиваясь с нею. А теперь каким-то чудом расслышали, что ее больше нет, и пришли, не поленились — старые, седые, облезлые...

Сгорбившийся Пеночкин горестно покивал издали, и я вспомнил, что Ирка отзывалась о нем с особой нежностью: «Я поняла — он трус!»

В церкви ко мне решила подойти только Алла Ивановна Лопата, от проповедей которой Ирка однажды — как всегда без злости, со смехом — спряталась по ошибке аж в мужской туалет. Узкий нос, татарские скулы, выпренная вальяжность. «Вы должны понять, где обретается покой. Он в пространстве между словами, между мыслями, между делами. Вслушайтесь и вы расслышите голос совести, голос Бога, голоса ушедших... Приходите к нам, и Диди Шаратачондра научит вас, как сделать эти голоса своим навигатором». Она не торопилась завершить свой монолог, ощущая себя единственным умным в детской толкотне. Куда несомненно относилась и храм, в котором нам предстояло отпевать Ирку.

Золото, золото, давно хотел узнать, что такое дутое золото, недурная академическая живопись, женские лики, не имеющие ни малейшего отношения к моей Ирке... Но все-таки несравненно большее, чем раскрашенная кукла в полированном тяжелом гробу. Безумная мысль: а если это не она? Она спряталась, а потом вдруг откуда-то вынырнет с обычным своим радостным смехом: «А вы и поверили, дураки?» Хотя бы лет через двадцать. Да хоть бы и никогда, лишь бы я знал, что она где-то есть. А если бы она еще хоть изредка подавала какой-то знак, я был бы вообще на седьмом небе, я бы больше у Господа никогда ничего не попросил!

Многоопытная Алка Волохонская: «Ей наверняка делали трепанацию. От этого очень меняются черты лица». Какая-то бумажная лента на лбу.

Маленький беленький внук у гроба дует на свечку и вообще всячески развлекается. Я был против того, чтобы ему открывать весь этот ужас, но мои невестки, и затеявшие эту церемонию, чтоб все было как у людей, ему наговорили чего-то такого, что он вдруг посмотрел на раскрашенный купол и спросил звонко на весь храм: «А как бабушка улетит на небо, там же крыша?» Остальные мальчики и девочки, дети моих сыновей, как всегда, ведут себя очень прилично. Хотя родители их еще приличнее.

А я прячусь за спинами, я не могу видеть Ирку в этой полированной коробке. И, благодарение всевышнему, никто меня не трогает.

Тоненькая мертвецки желтая свечка вставлена в бумажную воронку из клетчатой тетради, чтобы воск не капал на пол. Я на мгновение отвлекаюсь и прихожу в себя от ожога — бумага уже горит. Однако бросить ее на пол я не решаюсь, и только перехватываю, чтобы пальцы совсем уж не обуглились.

Но академический час пения и кадения оказал кое-какое целительное воздействие и на душу безнадёжного безбожника — ужас и тоска хоть чуть-чуть

оттеснились досадой: да сколько же можно! И ведь не сказать, что мои невестки дуры, наоборот — всегда знают, в каком шоппе отовариваться.

Внезапно мною овладел совсем уже бредовый страх, что Ирку сейчас начнут провожать еще и колокольным звоном: в самые наши нищие и упоительные дни в Свиной балке мы наполняли нашу съемную халупу колокольными звонами — такая у нас была любимая пластинка. Ирка иногда даже ставила мне ее вместо будильника — голова на целый день наполнялась набатами, благовестами и перезвонами...

Паперть, холодное солнце, золотые клыки в беззубом провалившемся рту: «Ушел лучший человек города Петербурга». И дальше что-то малопонятное, но очень высокое: «Я русский человек. Я так воспитан, что для меня есть только одно. А если что другое, то оно самое тогда не это», — я только кивал, уже не пытаясь ничего понять, пока под конец не выскочило растроганное: «На каждый праздник чего-то подбрасывала».

Видя, что я не так страшен, каким кажусь, потихоньку начали подходить какие-то неизвестные личности, и каждая, выразив сочувствие, благодарила за какую-то матпомощь. Я измученно кивал, невольно уже пытаюсь прикинуть, где она брала эти деньги, — мы жили не так уж и роскошно. Воровала она что ли, чтобы им подбрасывать?.. Что-то же над нею тяготело, так теперь и не узнаю что.

Может, она отчаялась изливать свою любовь к миру в пустоту — никому она так и не передала свой дар щедрости и радости, все, кому она помогала, были какие-то снулые.

Господи, будь у меня веры хоть с то самое горчичное зерно, я бы не только исцеловал все иконы, исползал на коленях все полы, я даже и не знаю, чего бы я не сделал, но — все зернышки давно истолкли в бесплатную горчицу в советских столовках.

На кладбище — в ушах гремит «Кармен»: «Все напрасно — мольбы и слезы...» Земля под кристаллическим снегом и промерзлым слоем ужасно именно что *сырая*, но рыхлая пригоршня отозвалась от полированной крышки очень гулко. Рыдания снова рванулись из груди, и я ринулся сквозь ненавистную толпу, как будто меня вот-вот вырвет. Пробился до соседней черномраморной оградки по колено и, отвернувшись от мира, сумел отдышаться, перечитывая надписи: «Лубешкин Иван Трофимович», «Лубешкина Полина Михайловна», «Лубешкин Иван Трофимович», «Лубешкина Полина Михайловна»... Меня нисколько не удивило, что на могиле Лубешкина с горделивым разворотом головы в расстегнутом пиджаке стоял огромный бронзовый Маяковский, к коленям которого припала бронзовая же статуя Скорби.

Зато когда моим глазам открылся восемнадцатиконечный коричневый крест с фанеркой, на которой небрежно, как в медицинской справке, фломастером было написано Иркино имя-отчество с моей фамилией, у меня невольно вырвалось: «Что за ерунда!»

Сыновья-менеджеры поминки устроили в респектабельном ресторане, в соседнем зале которого бесновалась свадьба, то и дело скандировавшая как на стадионе: «Горь-ко! Горь-ко! Горь-ко!»

Было действительно горше некуда, и все же я подивился, что Пупкин и здесь закатил отчетную речь, от которой слушатели постепенно даже утратили горестный вид, а приобрели унылый. А потом подошел и тоже поблагодарил за матпомощь. За ним с этим же самым подтянулись и Федоров, и Щербань. Пришлось каждому из них признаться, что одному мне это больше не потянуть.

Шкатулочка с «драгоценностями» — серебряными колечками, малахитовы-

ми бусами, пластмассовыми жемчугами, — начинаю содрогаться в рыданиях именно оттого, что она не шкатулка, а *шкатулочка, чка...* Начатая банка маринованных грибочков в холодильнике (белых, штучных, с коричневыми резиновыми шляпками!) — новый приступ на полчаса (носовой платок, в который я впиваюсь зубами, выходит из моих уст изгрызенным, как будто его жевал теленок). Недоеденный бутерброд, приготовленный, но даже не начатый, с сыром «Виола», считавшимся редкостным лакомством в пору нашей юности. Тут уже целый эпилептический припадок.

Ирка была бы довольна. В последние месяцы она часто спрашивала с горечью: «Ты будешь плакать, когда я умру?», — и так меня этим доставала, что я иногда отвечал: «Ты сначала умри». И вот добилась своего — умерла. И успех превзошел самые смелые ожидания. Я плачу, плачу, плачу, и конца этому не видеть, — сплю — плачу, ем — плачу. Что-то пожую — потрясусь, почищу зубы — посодогаюсь. Рутин.

Как-то среди беззвучных рыданий с изгрызенным носовым платком в зубах увидел наросшие лохмотья пыли на ножках стула. Собрал их, не переставая содрогаться, отнес и стряхнул в помойное ведро, не прекращая судорог.

В кого же я превратился?! Хуже бабы — для Ирки это было самое оскорбительное ругательство. Еще у нее была презрительная кличка для чрезмерно заботливых папаш: «кормящий отец». Хватит соплей! Я постарался обругать себя как можно более некрасиво, и помогло, как помогала ненависть на похоронах. Пошел бриться, в ванной наткнулся на завешенное зеркало — сорвал простыню и без малейшего проблеска каких бы то ни было эмоций увидел, что я подернулся сединой за эти дни, будто осенняя трава под первым инеем.

Погасли сразу две лампочки. А что, если это знак? Как по команде я начал лихорадочно набирать номер ее мобильного. Длинные гудки, гудки, гудки, и ласковый женский голос: «Абонент недоступен. Оставьте ваше сообщение после гудка». Обещанный гудок, и — тишина. Тишина, тишина, тишина, сначала зовущая, потом требовательная, и, когда она уже была готова вот-вот оборваться, я лихорадочно затараторил: «Ирочка, милая, я так тебя люблю, мне так плохо без тебя, подай хоть какой-нибудь знак, я пойму», — и тишина ответила нежным женским голоском: «Ваше сообщение записано. Спасибо за ваш звонок».

Я закрыл лицо руками и долго трясся почти без слез. А потом пошел сморкаться и умываться. «Хватит соплей. Хватит соплей», — твердил я себе на мотив Пятой симфонии Бетховена.

Что-то вдруг толкнуло меня заглянуть в морозилку, где Ирка хранила стратегические запасы баранины, телятины и полюбившейся ей рыбы дорадо на случай внезапного явления гостей (она с большим аппетитом выговаривала вкусное слово «припасы»), — и меня чуть не опрокинула трупная вонь: какая-то таинственная сила отключила морозильную камеру, потому что она оказалась полностью исправной, когда я ее снова включил. Пришлось, умывшись холодной водой, в черном страшном мешке выносить всю эту гадость на помойку, а потом еще и отмывать в ванне прозрачные пластмассовые ящики.

Ничего уже не прошу, только сказать ей, как я ее люблю, как я мучаюсь без нее, только сказать, чтобы она услышала! Я же уже не прошу вернуть ее мне — только сказать, только сказать!.. Но даже такого пустяка...

Я не изводил себя покайнным раздиранiem ран, что я-де убил ее своей трусостью, перепугался, что, воскреснув, она снова начнет убивать меня своими пьянками. Но кто бы не струхнул на моем месте? Из дня в день, из месяца в месяц, из года в год меня убивали самым невыносимым для меня орудием пытки — безобразием в собственном доме. Как же я мог предугадать, что через

три дня после ее смерти я со слезами благодарности отдам правую руку, чтобы только ко мне вернулась возможность хоть раз в неделю увидеть ее в привычном кресле, встречающую меня после запоя робким искательным взглядом, высматривая, буду я ее клеймить презрением или прикинусь, будто ничего не произошло, как все чаще случалось в последние месяцы. Проболтавшись всю ночь по каким-то бессонным шалманам, я, бывало, с улыбкой трепал ее за щечку и говорил: ну, ничего, сорвалась так сорвалась, будем бороться дальше.

А как-то вдруг подумал, что если она так же мучилась, как я сейчас, то за нее стоит только порадоваться — и впрямь на минуту стало полегче. И когда мне попались на глаза ее чистенькие вязаные носочки, я всего лишь зарычал от боли.

Решил сделать омлет и вместо сковородки вылил яйцо в раковину — и сделал движение ухватить за хвост ускользящий в канализацию желток, даже еще не понимая, откуда он там взялся.

И вдруг понял, почему мне так невыносимо больно. Она была и моей матерью, и моим ребенком. И без матери я обойтись все-таки могу, а без ребенка — хоть волком вой. После этого я перестал бояться входить в ее комнату. Наоборот начал по несколько раз в день, а уж вечером непременно становиться перед ее кроватью на колени, утыкаться лицом в ее халат или полотенце и рыдать как женщина. Именно как мать по ребенку.

Ирка невольно выучила меня относиться без пафоса к такому понятию, как Дело Жизни — для нее жизнь и была делом. Она всегда жила с тем чувством, которое мне помнилось только по детству: спешить некуда, можно два дня отмачивать в керосине, а потом еще два дня разбирать ржавую конструкцию неизвестного назначения, а можно брякнуться на бок и в стотысячный раз читать с любого места любимый «Остров сокровищ». А Ирка до последних дней могла спокойно посвятить целый день варке варенья или маринованию грибов, следя лишь за тем, чтобы не пропустить любимый сериал «про собачку», над глупостью которого сама же и смеялась. Но ей там очень нравился время от времени показывавшийся сверхмудрый пес — ради пса ей было и двух часов не жалко.

А то она могла в двадцатый раз наслаждаться полюбившимся в детстве фильмом «Над Тиссой», над советским идиотизмом которого тоже охотно потешалась. Зато там две минуты по бурной реке мчатся целые эшелоны плотов! Она не понимала, что означают слова «потерять время»: если ты в это время живешь, значит оно и не потеряно, жизнь и есть дело.

Зато теперь я остался и без жизни, и без дела.

Я хотел оставить на стене какую-нибудь самую лучшую ее фотографию, но оказалось, что не годится ни единая. На одной она смотрела очень уж мудро, прямо в душу, и становилось страшновато, что она разглядит во мне какую-то фальшь. На другой она была слишком уж доброй и благодной, какой в годы ее веры и силы я ее никогда не видел — так в ней проступила сломленность. Доброта в ней просыпалась лишь в ответ на чужое страдание, а постоянно в ней жил озорной интерес ко всему вокруг, постоянная готовность чему-то посмеяться, чем-то восхититься или возмутиться. Ну, а молодая и светящаяся — это была тем более совсем не она, тому, что брезжило в моей душе, не откликался ни один зримый облик. Я и убрал со стен все фотографии до единой. И настоял, чтобы их не было и на надгробии.

Глазу почти ничего не открывается в человеке. Смотри хоть тысячу лет на миниатюру, с какой угодно тонкостью линий и красок изображающую заурядную восточную красавицу Мамтаз-Махал, и никогда не разглядишь, что в ней

могло породить грандиозность Тадж-Махала, возведенного в ее память безутешным супругом.

Но я не Великий Могол, мне нечем поразить мир. В моем распоряжении нет двадцати тысяч искусных ремесленников, нет неиссякаемых запасов агата и малахита, нет разрезов прозрачного мрамора, днем белоснежного, а ночью серебристого, у меня нет ничего, кроме моей любви и боли. Этого мало для возведения храма, но этого довольно с избытком, чтобы совершить в ее память бессмертный подвиг.

Теперь спешить мне снова было некуда, я два часа отмывал губкой след диванной спинки на обоях и думал, думал...

Нет, и для подвига упущены годы, но что-то же я могу?.. Хотя для самого себя. Пусть для себя одного, но могу же я возвести хоть какой-нибудь маленький Тадж-Махал! Чтобы я мог каждый день класть хоть один камень, чтобы я мог каждый день вырезать хоть один узор!

Рядом со мной раздался шорох, но у меня не было сил вздрагивать. Я лишь покосился и увидел, что это завозился витой телефонный шнур, устраиваясь поудобнее.

Ночью стуки наверху, а кажется, что в Иркиной комнате. Не страх — ненависть к этим сволочам, каждую ночь пробуждающим во мне тщетную надежду: пусть она явится страшным призраком, скелетом — лишь бы только это была она!

И однажды во время очередной ночной пытки ожиданием я прозрел: нужно делать то, что уменьшает боль, а увидит это кто-то или не увидит... Всякое упорство рано или поздно замечается. Вот чем я могу воспеть мою любовь и мою муку — бесцельной преданностью и упорством! Их у меня никому не по силам отнять.

И я впервые за много дней вдруг сумел вдохнуть полной грудью, впервые за много дней невыносимая ломота в груди отмякла и отступила к плечам.

Покуда Ирка меня убивала, я громоздил целые торосы льда на свою любовь, но все они вмиг растаяли при первом же дыхании смерти.

Тяжелое сиплое дыхание огромного животного во дворе. Я так долго прислушивался к нему ночами, что когда в первый раз, пошатываясь, спустился во двор, то невольно несколько минут обшаривал его глазами — куда мог спрятаться такой бегемотище? Но понял совсем другое: смотреть мне здесь совершенно не на что, мир как будто существует зря, если она его не видит. Для Ирки ведь не было в мире ни единой мелочи, которую бы она пропустила мимо глаз и мимо души — без любопытства, без радости, без восторга, без сострадания, — весь мир к ней хоть чем-нибудь да взывал. А теперь он умолк навеки. Единственное, что звучит и звучит в моем портфеле — СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ...

Его для меня добыли мои заботливые сыновья, — от каких-то издевательских хлопот меня опять-таки избавили. Но вычеркнуть ее из списка живых должен я сам в неведомой конторе, носящей индейское имя Овирок.

Еще недавно гордая, уверенно расставившая стройные ноги буква *М* над входом в метро осела и по-лягушечьи раскорячилась на выгнувшихся наружу рахитичных ножках. Зато в недрах земли все было по-прежнему, все почему-то остались живы.

Овирок. Зачуханная контора, окошечко советской кассы, в очереди на вычеркивание одни только многодетные затрапезные мамочки с изнемогающими детишками да обносившиеся старухи — богатые не умирают. А бедные

протягивают в окошечко те единственные ценные бумаги, которые здесь в ходу — свидетельства о смерти. По ним получают право на забвение: умерший стерт, можете заменить следующим.

Сыновья обо мне по-прежнему помнят, по очереди навещают с воспитанными детьми и разумными женами, разговаривают соболезнающим тоном с наставительным оттенком: горе горем, но пора-де и брать себя в руки. Да если бы я не держал себя в руках...

Только маленький беленький внук, оставшись со мною наедине, ничего не изображает. Глазенки горят вниманием.

— Ты старый?

— Старый.

— Значит ты скоро умрешь?

— Скоро, скоро, недолго тебе мучиться.

Сарказм пропускается мимо беленьких мягких ушек.

— А я умру?

— Тебя за твои подвиги, возможно, возьмут живым на небо.

— Я не хочу на небо, там тучи.

— Ну, тогда отпросишься на землю.

— А мама умрет? Я не хочу, чтобы мама умерла.

— Вот мама не умрет, это точно.

— А папа не умрет?

— И папа не умрет. Он человек солидный. Только я один умру.

Это протеста уже не вызвало.

Я пытаюсь его развлечь игрой в мячик, но руки не слушаются, мяч ударяет меня по глазу. Боль я перетерпываю, чтобы никому не портить настроения, но когда все уходит, я обнаруживаю слева от себя ускользающую, но так и не исчезающую серую тень. Раньше я бы заволновался, начал названивать окулисту, а сейчас не обращаю ни малейшего внимания, так и живу с тенью.

Я по-прежнему время от времени зарываюсь лицом в ее постель, покрываю поцелуями ее очки, прижимаю к лицу и дышу ее полотенцем, но уже не рыдаю, а просто прижимаю к губам и долго-долго держу — особенно вещицы бессмысленные, открывающие неиссякаемое детство ее души, какой-нибудь сувенирный колокольчик с надписью «Дар Валдая», какого-нибудь китайского верблюжонка. А вот целый резной ларец маленьких иконок меня прямо ошарашил — никогда ни словечком она не открывала интереса к этой стороне жизни. Не к этой, к *той* — мне казалось, ей слишком интересно здесь, чтобы думать еще о каком-то *там*.

Когда я придумал свой маленький Тадж-Махал, мне совсем расхотелось видеть сыновей, чтобы не обнаруживать бессмысленность того, что я делаю — очень уж они умные. Они всячески давали мне понять: надо жить дальше. Так и я был не против: вам надо — вы и живите.

Что бы они, интересно, сказали, если бы узнали, что мы с Ирккой уже в предпенсионном возрасте играли в жмурки? Ирка была удивительная мастерица так подавать голос, что он звучал, казалось, совсем из другого места...

Кто-то из жен забыл на столе рекламную листовку — они серьезно озабочены будущим своих детей. Детское будущее строил *Артек-кемп*. «Вас ожидает увлекательное путешествие по миру бизнеса, джунглям экономических законов и налоговой политики, первые шаги в самостоятельном заработке, получении процентов по вкладам и дивидендов, получение патентов и оформление авторских прав. Каждого, осмелившегося открыть свое дело, ждут закон спроса и предложения, PR, реклама и маркетинговые исследования, походы в

патентные бюро и многое другое. В конце выезда можно оказаться самым богатым и получить отдельный приз!!! В этом выезде мы узнаем, что такое деньги и как они работают, познакомимся с основными экономическими законами, узнаем, кто самый удачливый бизнесмен. *Деловая бизнес-игра* "Свое дело мирового масштаба". *Образовательная программа*: разговорный английский».

Потихоньку я начал блуждать по интернету, не слышно ли чего новенького в моей родной акустике — я давно подумывал о чем-то вроде стетоскопа для матушки-земли, случалось, даже прикидывал то одну, то другую схемку, но никак не мог найти достаточно чувствительного пьезокристалла, чтобы человеческое ухо могло расслышать: недра звучат по-разному. У каменных газоносных губок и будто бы безмолвных нефтяных залежей одни голоса, у медных и урановых руд другие, у золотоносных и угольных жил третьи, четвертые, пятые...

Но превращать манящую грезу о голосах земли в реальное дело жизни меня как-то не тянуло, жизнь и была моим делом, и только когда счастье сгнуло, я принялся ловить этот огонек и нашей, и англоязычной сетью. А когда в сети запутывалось что-нибудь особенно пикантное, уже начал задерживаться на сплетнях — возвращаться к жизни. Правда, от порнухи взгляд отдергивал как ужаленный.

В задумчивости почесал пальцем бок и прорвал майку. Все поползло.

Но Тадж-Махал свой я доведу до конца. До моего конца.

* * *

На мокром весеннем кладбище меня встретил бронзовый Христос, благословляющий тот прах, в который мы все отыдем.

Купольный склеп из осыпающегося римского кирпича. Полированные кресты черного мрамора. Потерявшие голову статуи Скорби. Гранитные урны, полуприкрытые ниспадающими каменными покрывалами. Имитирующие естественность замшелые ограненные валуны. Безымянные обелиски. Постаменты неизвестно чего. Замурованные мрамором ворота неизвестно куда. Гранитные столбики, разорванными изоржавленными цепями ограждающие пустоту. И вот наконец замаячил бронзовый Лубешкин, куда более мощный и горделивый, чем страдалец Иисус.

Вдруг вспомнилось, что в Каире мы с Ирккой когда-то видели целый город, разместившийся в склепах, — и заныла душа от пронзительной зависти: вот бы и мне поселиться в Иркином склепе!.. Но ведь не разрешат.

Да и склепа не было — черная полированная плита без фотографии, как я и просил. И падать на колени, прижиматься лицом было не к чему — камень не имел никакого отношения к моей Ирке. Это была всего лишь строительная площадка, которую судьба отвела мне для моего маленького Тадж-Махала.

И я вновь ощутил, как за спиной оживают заживевшие за десятилетия счастья крылья.

* * *

Особенно заметно они наливались силой в те вечера, когда мне приходилось пробиваться к черной плите сквозь ливень, обращающий кладбище в болото, сквозь град, разлетающийся на камне искрами электросварки, сквозь метель, превращающую меня в живой снеговик, с трудом пробивающий путь по колену в снегу сквозь черно-белую мглу к бронзовому снеговiku Лубешкина.

Мне незачем было на три минуты раскапывать плиту из-под снега, мне достаточно было хотя бы в глубине нащупать Иркино имя и перечитывать его пальцами, покуда кисть не заломит от холода, — мой замысел заключался в другом — перечитывать пальцами мою *Ирину каждый день, не зная исключений*, — и я всякий раз чувствовал, что мой незримый Тадж-Махал вырос еще на волосок. А когда мне удавалось пробиться к нему сквозь дожди, снега, болезни, он подрастал особенно заметно.

Жаль только, болею я очень редко. Зато, когда на морозе задыхаясь от жара, с колотящимся сердцем и ломотой во всех восьмидесяти суставах я добрал в тьме до мерцающей инеем плиты в тяжелейшей испанке (слово грипп мне особенно противно с тех пор, как этими проклятыми грибами отравилась моя Ирка, унесшая с собой красоту и радость мира), моей души коснулось что-то вроде удовлетворения. А уж когда мне на миг показалось, что я вот-вот упаду, меркнувшее сознание успело представить, как меня окоченевшим находят на могиле любимой, и неизвестно откуда вдруг выпрыгнуло тинейджерское словечко: «Супер!»

Но, вновь ваяясь на измятое ложе мучений, я сообразил, что быть обнаруженным на могиле возлюбленной в рваной майке — это не стильно. И начал одеваться как никогда чисто и строго — от выглаженного исподнего до корректного английского пальто, то-то Ирка бы подивилась: в ее эпоху я любил куртки — чтоб хоть на работу, хоть в экспедицию. Правда, Ирка заставила — какое заставила, я всегда делал то, о чем она просила более или менее серьезно, да только серьезно она почти ни о чем не просила, — словом, мы вместе выбрали серый костюм для торжественных случаев, но первым таким случаем оказались ее похороны.

Теперь же я начал носить этот костюм по будням, ибо у тех, кто возводит Тадж-Махал, будни торжественнее праздников, не говоря уже о том, что с праздниками для меня было покончено до конца моих дней. Разумеется, к костюму потребовались и чистые рубашки. Я купил сразу полтора десятка, неброских, но и не тусклых, строгих, но и не траурных, и каждую неделю стирал их в машине, к которой прежде не притрагивался. А что поделаешь, строитель Тадж-Махала не должен являться на службу — на служение — в замызганной спецовке.

К чистым отглаженным рубашкам потребовалась и чистота в доме. Я и при Ирке был не прочь изредка пройтись по квартире мокрой тряпкой, не слишком, правда, углубляясь — Ирка обожала обращаться со мною как любящая мама с десятилетним мальчишкой: «Тщательно! — грозила мне пальцем, прекрасно зная, что никто ее не боится, и тут же нежно вздыхала: — Ну кого ты хочешь обмануть?...» «Себя», — покорно соглашался я — эта игра нам доставляла неизъяснимое наслаждение. Сейчас же мне впадать в детство было не перед кем, я мало того что и впрямь очень тщательно протираю все щели и уголки, но если даже на идеально чистом паркете я замечал тусклое пятнышко, то не ленился сходить за тряпкой и стереть его ногой. Правда, мне было неохота ради такой мелочи мочить целую тряпку, поэтому я наловчился попадать плевком в мишени не больше полтинника.

Со шваброй, с пылесосом я уже начал заходить в Иркину комнату более или менее запросто — я ж по делу! — только с нежностью гладил ее кровать по покрывалу, а на прощание ласково целовал ее в подушку, набитую каким-то целительным сеном, — она и меня пыталась уложить на сено, ей всегда хотелось во что-то играть. И когда в кармане куртки мне вдруг попала потертая Иркина записка-инструкция — старательно выведенные: «морковь — 1 кг, перец — 1 кг

или 4 шт., батон городской — 1», — я только прижал ее к губам и минуты две просидел с закрытыми глазами, беззвучно повторяя подергивающимися губами: морковь один кэгэ, перец один кэгэ, морковь один кэгэ, перец один кэгэ...

— Вы сделались таким интересным мужчиной, — однажды подивилась самая светская из наших институтских дам. — Смотрите, к вам скоро очередь выстроится.

И я почувствовал себя не то чтобы польщенным, мне было не до подобной суеты, но удовлетворенным. Усилия мои привели к тому, что Двадцать третьего февраля я обнаружил на своем рабочем столе конверт со стихотворным посланием:

Мужчине трудно в женском коллективе:
Приходится опорой и стеной
Служить коллегам на научной ниве,
Не забывая нивы неземной...

Быть другом — строгим, мудрым и надёжным,
На дни рожденья денег не жалеть.
Дарить цветы, конфеты и пирожные
И вовремя помочь пальто надеть.

Мы от души желаем Вам удачи,
Во всех делах, проектах и задачах.
Вы самый элегантный наш завлаб,
Среди берёзок мощный баобаб.

Я уже давно не считал себя завлабом, ибо не считал себя вправе руководить последней святой троицей пенсионеров, соглашавшихся трудиться за такую зарплату. Я начал приглядываться, но так и не понял, кому из них я обязан этим, без дураков, растрогавшим меня сочинением, однако подавать пальто и покупать пирожные стал почаше; на цветы, правда, после Иркиных похорон по-прежнему смотреть не мог, отворачивался, если случалось проходить мимо цветочных киосков. В остальном же продолжал держать себя как прежде, от приглашений в гости вежливо, но уклонялся — строитель Тадж-Махала не может себе позволить выглядеть жалким: заметив как-то на рубашке пятнышко растворимого кофе, я больше никогда не заходил в лабораторию, с пристрастием не осмотрев себя в зеркале. И не расправив плечи: чуть только я про них забывал, как тут же какая-то неведомая сила меня скрючивала по-стариковски. И начал еще более тщательно избегать общения с умными людьми, которые невольно могли бы заронить в мою душу сомнение, не чепухой ли я занимаюсь, когда после ночной метели еще затемно отправляюсь к Ирке по сугробам, не дождавшись, пока маленький, желтый как цыпленок, верткий бульдозер расчистит хотя бы основные *аллеи*: мне хотелось добраться до Иркиного имени по первопутку, а не по протоптанной другими тропе. Уступить право первых шагов я готов был лишь безутешным родителям, судя по лицам, примерно моим ровесникам, но по согбенным покорным спинам, по шаркающей походке — глубоким старикам.

Остальные постоянные посетительницы рано или поздно подходили выразить восхищение моим постоянством, а потом начинали остороженько воспевать историю и своей любви, своей утраты, и отголоски орфеевского дара неизменно откликались во мне каким-нибудь таким отзвуком, что все они уходили от меня просветленными. И только несчастная мать и несчастный отец, потерявшие единственного сына, не нуждались в моих песнях. Потому что любовь мужчины к женщине и любовь женщины к мужчине питаются

сказками, а в любви к детям такая бездна правды, что красивые выдумки ее только оскорбляют. Недаром же песен о потерянных возлюбленных больше, чем слез на городских стогах, а вот песни об умершем ребенке показались бы нам кошунством.

Мне представлялось кошунственным и мое нарастающее желание хоть одним глазком взглянуть, что же это был за парень, ради которого его отец и мать вот уже столько лет тоже возводят свой невидимый Тадж-Махал. Я прекрасно знал, что секреты любви и отчаяния сокрыты от посторонних глаз, но глупое любопытство однажды все-таки взяло верх. Опасаясь, что чужие отпечатки у дорогой могилы покажутся оскорбительными, я прошел к ней, стараясь ступать точно в мужские следы. И то, что я там разобрал на подернутом изморозью портрете из то редющих, то сгущающихся точечных туманностей, заставило меня поспешно попятиться.

* * *

Это была еще самая заря свободы: ментам только-только разрешили открывать рабочие места для лохотронщиков, а я как раз задружился с акустиками из могучего Политехника. И начал регулярно опаздывать на семинары, не в силах оторваться от работавшего в сотне шагов от его величественного белокаменного фасада виртуоза, который выписывал стремительные фигуры Лиссажу перевернутыми пластмассовыми стаканчиками для бритвы: под одним из них метался невидимый стеклянный шарик.

— Пистолет не наставляем, никого не заставляем, — дружелюбно покрикивал коленопреклоненный крепыш-виртуоз, внимательно оглядывая притормаживающую по пути от метро публику черными дерзкими глазами. — Моя ловкость рук — ваша цепкость глаз.

Я и не отрывал глаз от нужного стаканчика и временами готов был отдать голову на отсечение, что ни на мгновение не терял его из виду, но вместе с тем прекрасно понимал, что если бы моего усердия было достаточно, этот кучерявый крепыш быстро вылетел бы в трубу, как ни раздувал бы ноздри своего короткого, словно к чему-то жадно принюхивающегося носа. Однако в чем заключалась его хитрость, я так углядеть и не сумел, зато крепыш меня явно углядел и сначала принюхивался, не из легавых ли я, а потом забил на меня с прибором, определив как ученого придурка, воображающего, будто через какие-нибудь приборы можно и тут чего-нибудь нарыть.

Я, правда, немножко и нарыл — его кордебалет: миловидного юного простачка с удивленно приподнятыми круглыми бровями, который за всех болел и время от времени правильно угадывал, а потом сокрушался, что денег не нашлось поставить; затем немолодого азартного грибника в камуфляже, который на бегу швырял пачку мятых соток, выигрывал вдвое больше, но от призывов простачка играть еще только отмахивался и бежал дальше — некогда человеку, он и впрямь в следующий раз пробежал со своей корзиной только часа через три, когда мы уже успевали объесться мембранами и рядами Фурье.

Иногда кто-нибудь, чаще женщины, начинал виртуоза стыдить, но он до препирательств не опускался. Зато на попытки угрожать немедленно поднимался с колен: ну, давай, давай, попробуй, чего ты тут руками разводишь как проститутка. Да приводи кого хочешь!..

И самые вроде бы напористые отступали. Зато однажды сквозь жидкую толпишку прорвался тощий кислотилицый субъект, похожий на обносившегося провинциального учителя, и съездил едва успевшего выпрямиться виртуоза

вскользь по скуле. И тут обнаружилось, что мне был известен еще не весь кордебалет: кто-то совсем неприметный тут же боевым зажимом захватил потрепанного мстителя сзади за горло и опрокинул на спину. А когда тот перевернулся, пытаясь встать, кучерявый виртуоз со всего размаха нанес ему снизу в лицо точнейший удар белой кроссовкой и скрылся навсегда, а обносившийся учитель остался лежать лицом в медленно разрастающейся луже крови, особенно яркой и чистой среди серой пыли.

Все ошеломленно молчали, и только юный простачок растерянно бормотал, обращаясь неизвестно к кому: выскочил откуда-то...

Его я, впрочем, тоже больше никогда не видел.

А вот крепыш-виртуоз наконец-то проступил на подернутой серебряной изморозью сургучной полировке млечно-туманным, но вполне узнаваемым и по дерзкому взгляду, и по жадно принимающим ноздрям.

Вот почему его раздавленные горем родители никогда ко мне не подходили за утешением, — у них было постыдное горе, его было невозможно воспеть и самому Орфею.

* * *

И вот кто еще не выказывал ни малейшего интереса к моим песням — Старенькая Девочка. Хотя не знаю, насколько она была стара, при ее хрупкости могла бы бегать козочкой, но она ничего не замечала ни под ногами, ни на столе — она вечно забывала поесть, как мне рассказывала веселая Пампушка, пытавшаяся взять над нею шефство. «Вы сегодня кушали?» — спрашивала она требовательно по праву заботы. «Кушала, кушала», — отвечала та, смущенно похихатывая: в ней еще держалось воспоминание, что светские разговоры должны сопровождаться улыбками, но она явно не вдумывалась в то, что говорила. «А что вы кушали?» — «Как что?..» — вспомнить она не могла, а врать была не приучена, и потому лишь смущенно посмеивалась, машинально пытаясь придать допросу видимость приятной беседы, но поблекшие ее карие глаза бегали робко и растерянно. Младенческое личико ее было таким исхудавшим, что веки ввалились, обнажая глазные яблоки, столь широко по-детски расставленные, что становилось удивительно, как им удается так синхронно двигаться.

Кожа ее тоже была младенчески прозрачная, виднелись все голубенькие жилки, и лишь при ярком солнце становилось заметно, что она какая-то неживая, сплошь покрытая мелкими морщинками, словно засохшая желатиновая пленка. Она и в мороз не покрывалась румянцем, а наливалась голубизной. На которой синяки различались хуже, чем летом, — она, как и моя Ирка, постоянно прикладывалась то к косяку, то к углу стола — с той, правда, существенной разницей, что к спиртному она не прикладывалась, просто не соображала, где находится и что делает, подметает или вытирает пыль с карниза.

Мне казалось, по этой же причине она и одевалась как будто в детском отделе — летом лагерная панамка, зимой яркая шапочка с помпончиком, вполне бы затерялась на прогулке детского садика, — но проницательная Пампушка разъяснила мне, что Старенькая Девочка и впрямь не нашла времени повзрослеть, шагнув из детсада напрямик замуж. Муж был намного ее старше, относился к ней как к любимому ребенку, но она все равно сделалась очень старательной женой и матерью, детей воспитывала еще старательнее, чем кукол, и все вышли очень удачными, ни один не остался в России, и после смерти отца готовы были взять ее в Канаду, в Австралию, в Гренландию, но куда она могла двинуться от родной могилки, от родного дома, за стенами которого у нее никогда не было никакой собственной жизни, если не считать трех тягостных

лет в радиотехническом техникуме. Она и сейчас с утра до вечера старается забыть, что кормить ей уже некого, варит, парит, обваривается, сжигает, потом чистит кастрюли, обдирается, нарывы смазывает вместо крема зубной пастой, потом едет на могилку что-то подравнивать или высаживать, перешибает себе лопатой палец на ноге, а потом еще пытается светски посмеяться, если кто заметит и бросится на помощь...

В последнее время она припадала на бронзированную металлическую палочку — забыла, где находится, и пошла на красный свет, но, к счастью, отделалась ушибом колена.

— Что-то с ней нужно делать, — очень серьезно сказал я Пампушке. — Не хочу каркать, но если человек не замечает, где живет, он рано или поздно обречен...

— А что мы можем сделать, мужа мы ей не вернем, — легко вздохнула Пампушка, нормальная женщина: помогать надо, пока есть надежда, а когда надежды нет, нужно поскорее выбросить из головы.

— Другие же как-то примиряются, начинают воспевать свою прекрасную любовь... А она ни на какую красоту совсем не...

Не ловится, хотел сказать я, но сказал: не реагирует.

— А у нее и не было никакой красоты: сразу из дочек в матери.

Пампушка была явно не глупа, несмотря на упитанные щечки-яблочки и неизменно прекрасное настроение. Над нами высился прикладбищенский торговый центр — многоярусный блистающий мир с непременным Макдональдсом и выкриками со всех витрин: дисконт! Discount!! ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА!!! А под ними в уголке наш кофейный уголок, где я осилил только молочную пенку со своего капучино, — дальше шел отвар из горелых семечек, который жизнеприемлющая Пампушка с удовольствием прихлебывала. Со своими припухшими веками под капюшоном с лисьей опушкой она походила на мудрую скво.

— На что ей красота — вот если б вы ей сказали, что ученые нашли связь с загробным миром...

— Мне б самому кто сказал.

— Вот я вам говорю. Вы же ходите к вашей жене, значит верите, что она это как-то видит?

— Я не для нее это делаю, ей теперь все равно, я для себя.

— Ну и зря. А я вот верю, что моя мама смотрит на меня откуда-то оттуда и радуется. Я всегда, когда что-нибудь хорошее сделаю — хоть посуду помою, — я ей обязательно отчитываюсь: видишь, мамочка? Я все делаю, как ты учила.

Она молола это без всякой торжественности, что меня с подобной белибердой только и могло примирить, — и все-таки я видел, что она меня не разыгрывает.

— Ну, раз вы во все это верите, так вы ей и скажите.

— Да кто я для нее! Я в поликлинике, в регистратуре работаю, а она радиотехникум кончила, знает, что доверять можно только науке. А вы, сразу видно, вы человек ученый, вам бы она поверила.

— Но как я могу это сказать, если я знаю, что это чепуха?

— А откуда вы знаете, что это чепуха? Вы кто по профессии? А что это такое — акустик? Как это слушаете, прямо все подряд? И все понимаете?

— Не все, много бывает и помех.

— А это что такое — помехи?

— Ну, бывает полезный сигнал, а бывает вредный, его надо отфильтровывать.

— То есть что вам нравится, вы называете полезным сигналом, а что не нравится, вредным? А вдруг вредный и есть самый главный? Может, через него кто-то хочет к вам пробиться, а вы его отфутболиваете. Отфильтровываете.

— Смелая мысль. Помехи признать полезным сигналом, а полезный сигнал помехами. Это будет научная революция.

— И давно пора сделать революцию.

— Но тогда придется отказаться от всех завоеваний. Полезные сигналы помогают находить подводные лодки, полезные ископаемые, слышать всякие тонкости в нашем организме...

— Ну, понятно, слышали: практика критерий истины. И ради этой практики надо отобрать у людей надежду.

— Какая вы тонкая соблазнительница!

Я впервые внимательно посмотрел ей в глаза под запухшими веками — они смотрели скорее снисходительно, чем насмешливо, — будто на ребенка, вообразившего себя большим и умным. Но она поняла мой взгляд неправильно:

— Смотрите, какого цвета у меня глаза? Серо-буро-малинового. А если отфильтровать, можно сделать карие, а можно зеленые. Я бы на вашем месте не важничала: мы! Ученые! Нам это можно, а это нельзя! — я бы прямо сказала: Маргарита Кузьминична, мы открыли связь с потусторонним миром. Вам жалко ее или не жалко? Скажите ей, что открыли прибор, который слышит голоса мертвых.

— Так она же попросит послушать?..

— А вы скажите, что прибор еще только разрабатывается, что нужно еще много... как это? — отфильтровывать, пока только изредка их сигналы к нам прорываются, надо очень долго — как это? — регистрировать, это только особые датчики улавливают, а сам ничего не услышишь — да вы лучше меня все это знаете!

Пампушка-то оказалась совсем не проста, и мне впервые показалось неловко расстаться, не обменявшись телефонами.

Но и я был не так-то прост. Меня с юности преследовала греза исследовать звук на квантовом уровне. Обычно воздух, воду считают сплошной средой, в лучшем случае спускаются до молекул, а у меня много лет чесались руки поработать с фонами. Я даже время от времени делал какие-то прикидки, но на что-то натыкался и бросал, чтобы не превращаться в чокнутого изобретателя — уж очень мизерные брезжили шансы на успех, а серьезных дел всегда хватало выше крыши. А главное — с Иркой мне и так жилось лучше некуда, зачем еще куда-то карабкаться.

Теперь же для меня не имело никакого значения, успех, неуспех — лишь бы найти, на что отвлечься. В исхудавшем институте положение у меня было прочное, как у всех, кто не создавал новое, а помогал делить старое. Мои прежние стетоскопы использовались при разведке нефти, газа, но даже и не это было главное — чего там разведывать, надо хватать, что есть, вот как только узнать, чего оно стоит — миллиард или триллион? Когда знаменитому геологу Лутугину предлагали безумные взятки, чтобы он зависил ценность месторождения, он отвечал: я уже немолод, много не нахапаю, а некролог испорчу. Но мне и взятки не предлагали, просто находили другого.

Зато директор мои заявки подписывал не глядя. Он-таки любил науку. И мои фононы он сразу заценил. Да и расходы на них были копеечные, а паял я все сам: это тоже ужасно отвлекает от жизни, когда под увеличительным стеклом

булавочными головками олова фиксируешь в нужных точках тонюсенькие лапки программируемых матриц размером с ноготь большого пальца. Раньше понадобилось бы целое нагромождение всяких диодов и триодов на рабочем столе с уходящей под потолок пирамидой амперметров и осциллографов, а теперь на моем столике помигивал один компьютер да дымился канифолью сиротливый паяльник. Ну, еще пара генераторов. Я временами погружался в заумные формулы, без всякой надежды, просто чтобы скоротать сутки, временами что-то программировал, выжигая в матрицах всякие хитроумные схемы, но когда дело внезапно пошло на лад, я испытал не радость, а скорее тревогу: чем же я буду себя глушить, когда мой квантовый стетоскоп и впрямь заработает?..

У него и так чувствительность зашкаливала, а когда я наконец нашел нужный пьезокристалл, я внял «и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Помехи, правда, тоже явились какие-то неслыханные, изгалявшиеся на разные голоса, но если их объявить полезными сигналами...

Это обещало совсем уже оригинальные развлечения.

Прежде бы я лишился сна, все пересказывал бы Ирке, тщетно стараясь не захлебываться, глядишь, еще и о Нобелевке зашевелились бы тщеславные фантазии, а теперь я твердо знал, что никакие почести мне ни к чему, если ими нельзя поразить и осчастливить Ирку. И звуки, каких еще не слышало человеческое ухо, — что от них толку, если их не может слышать Ирка. Даже и пьезокристалл, доставшийся мне самым мистическим образом, ничего во мне не расшевелил. Ну, набрал в поисковике «пьезокристалл Бережкова» — он и выскочил вместе с адресом института прикладной кристаллографии. Перевели деньги — кристалл доставили с курьером, и за вполне посильную сумму. Я этот кристалл установил — стетоскоп зазвучал. Мистика? Пусть будет мистика, мне все равно.

Но раз уж земля зазвучала на разные еще неслыханные голоса, с ними надо было что-то делать. Эхо Орфея, еще не отлетевшее из моей души, позволило мне пленить директора новой песнью во славу фононного стетоскопа: мы должны услышать *естественные* голоса медных, железных, молибденовых и урановых руд, *естественные* голоса нефтяных и метановых подземных губок. Акустическая разведка всегда была чистым варварством: бабахнуть бабой или динамитом и слушать земной отклик все равно что трахнуть Карузо молотком по голове и по вскрику судить о его голосе. Подлинный голос и у человека, и у земных недр прорезывается тогда, когда мы снимаем тяжесть с их души. Только для подземных залежей естественно вовсе не лабораторное освобождение осколков, вырванных из родной стихии, а напротив тысячетонный гнет, — вот там, под этим гнетом и нужно подслушивать голоса земли. Как — не знаю, надо думать, но уж точно не в шахтах, где земная плоть зверски изранена.

Видно, Орфей крепко подзарядил меня поэзией — хрящеватое директорское лицо старалось выразить скептическую иронию, но против воли выражало растроганность.

— Попробуем зато, — подумав, предложил он.

— Зато что? — не понял я.

— Закрытое административно-территориальное образование. С «Росатомом» у нас договор, а они как раз свернули производство оружейного плутония, в связи с разрядкой. А все подземные сооружения остались. Триста метров заглубления в граните семнадцатой категории.

* * *

Теперь задержки авиарейсов меня не раздражали — возникала иллюзия, будто и мне есть чего ждать. Так что подъехал я к опечатанному царству плутония в морозной темноте, совершенно не представляя, где нахожусь. А когда под прожекторами предъявлял паспорт на КПП меж тройными рядами колючей проволоки, вообще стало казаться, будто выезжаю за границу. Только тумбочки в гостинице были советские, да в буфете красовались классические три шишкинских медвежонка. Слышал в детстве: когда художнику сказали, что трех медвежат у медведицы не бывает, он застрелился. Время тяготело к крупным страстям.

И на завтрак котлеты с макаронами мне давно нигде не предлагали, а про компот из сухофруктов я уже успел и подзабыть, что это такое. А на улице — на площади — я оказался в уменьшенном подобии сталинской ВДНХ: павильоны с пышными портиками, башенками и шахтероклхозницами, вооруженными серпами и отбойными молотками, только вместо фонтана «Дружба народов» чернел кряжистый амбал в комбинезоне, пытающийся раздавить полуметровый атом, оплетенный обручами резерфордовских орбит. Амбал напоминал циркового медведя, обученного гнуть дуги.

В книжном магазине бросился в глаза стеллаж «Для женщин»: полки с табличками «красота», «беременность», «кулинария», «ведение дома», «дачное хозяйство», «ритуальные услуги», — вот и вся долюшка женская.

Зато снег был белоснежен и сдержанно гулок, словно где-нибудь в лесу на накатанной лыжне. Хотя тайга виднелась лишь между зданий, на сопках — остроконечные бесснежные ели наводили на память не очень веселые строки: лес обнажился, поля опустели...

Остроконечных елей ресницы, певали мы когда-то с Ирккой в лирические минуты, коих у нас, если собрать, набрались бы целые годы.

Солнечный свет из-за непролившихся слез искрился радугой, равнина за великой сибирской рекой сияла «опрятней модного паркета», а здесь, у входа в плутониево царство заковать себя льдом не позволяло течение, стиснутое и ускоренное парой скалистых сопкок, на сибирский лад именуемых Прижим. А туннель, куда я въехал на обычной электричке, смотрелся обыкновенным метро, но внутри матушке-земле обижаться было не на что — и ордена, и мраморы, а уж что до грандиозности цехов вышиной в двадцатипятиэтажный дом и замерших технологических «ниток», вдоль которых когда-то ездили на велосипеде...

Про велосипед рассказал мне мой Вергилий, припадающий на трость из какого-то удивительного дерева, похожего на темный полированный янтарь. По возрасту Вергилий с натяжкой годился мне в отцы, и я прикидывал, не взять ли мне как строителю Тадж-Махала именно его за образец, если заживусь на этом свете. Костюм не с иголочки, но отглаженный и без единого пятнышка, щеки ввалившиеся, но как у путешественника, а не как у дистрофика, и хромота не подагрическая, а героическая. Дюралевой стрижкой и правильными чертами он напоминал Жореса, но без его желчной надменности, наоборот, он то и дело вспыхивал совершенно юношеской улыбкой, радуясь, что мне посчастливилось наконец-то освободиться от постыдных заблуждений.

— Вы, наверно, так и верите, что Берия английский шпион? — сочувственно спрашивал он и тут же поверх изможденности вспыхивал счастливой улыбкой: — Когда от Курчатова потребовали, чтобы он дал на Берию показания, он их всех послал, сказал: не было бы Берии — не было бы атомной бомбы.

Я, естественно, Берию никаким шпионом не считал, но все равно не мог не

напрягаться при его имени — уж очень дружно на него взвалили все совместные злодеяния. А у Вергилия и в кабинетике висела фотография молодого Лаврентия — довольно худого и мечтательного в народническом пенсне. Рядом с ним красовался гораздо более помпезный грузинский генерал в белоснежном сталинском кителе со звездой Героя соцтруда — начальник горного управления по фамилии что-то вроде Саския. Обе фотографии были черно-белые, открыточного размера, напоминавшие на листе пожелтевшего ватмана аскетичную Доску почета.

— ...Шестьдесят шпуров на сорок четыре квадратных метра, каждый два метра глубиной, в каждом заряд и обязательно глиняный пыж, — разносило эхо устаревшие тайны опустевшего подземного царства. — А посты не выставили, забили досками крест-накрест, а я не понял, доски и доски. Вдруг смотрю — по камню разбегаются трещины, потом взрыв, пламя, и все это в меня. Очнулся — на мне гора камней, но голова снаружи. Дым, пыль — сзади свет еще пробивался. Я в шоке выкарабкался — смотрю, нога в другую сторону гнется, разрыв суставной сумки. Как-то дополз до света, а потом уже без сознания где-то час пролежал, не могли до врача дозвониться. Говорят, это и спасло: в шоковом состоянии могли и не довести. Потом долго в больнице валялся, друзья навещали, пионеры, а потом вдруг смотрю — сам Саския идет в белом халате внакидку поверх генеральского мундира. Попросил всех выйти, кто не мог — выкатили вместе с койкой: слушай, говорит, слючились двэ ашибки. Нэ выставили прэдупрэждэные, и маркшейдэр нэточна апрэдэлыл талшчину цэлика да мэста сбойкы. Так ты пракурору пра эта нэ гавары, ат этава тваей нагэ лютче нэ станэт. Скажы, сам нэ замэтыл прэдупрэждэные, дагаварылыс? Я все сделал, как он сказал, а потом прихожу на костылях за деньгами по белютню — а там на стене приказ: за нарушение техники безопасности всем по выговорешнику — главному инженеру, начальнику точки и мне. Я к Саскии, секретарша не пускает, я шумлю: как так, несправедливость! Выглянул Саския: што за шум, а дракы нэт? А, эта ты, захады. Я зашел: как же так, говорю, я же сказал, как вы просили, а вы мне выговорешник! А он меня обнял и говорит: слюшай, ти раман «Вайна и мир» читал? Читал, говорю, в школе. Ну и как, толстый раман? Толстый, говорю. Ну так вот, еслы все май вигавары сабрат, будэт ишо в два раза толще. А я всо равно гэнэрал и Гэрой сациалыстыческава труда. И ти будэш гэнэрал. Будэт празднык — я с тэбя вигавар сныму. И буду знат, что ти хароший парэн. А ранше я тэбя нэ знал. И потом к ноябрьским снял выговор и лично вручил эту палку, специально с Кавказа заказывал. Он и с зэками умел работать, каждый день сам отсчитывал тысячу шагов и ставил ведро водки: успеете за смену рельсы проложить — ведро ваше. Выполните план на сто двадцать один процент — засчитаем день за три. И нормировщикам намекал, чтоб смотрели сквозь пальцы.

Я хотел было поинтересоваться, сделался ли мой Вергилий генералом или героем, но понял, что этим вопросом лишь обнажу свою мелкую душонку.

Мы замолчали, и я услышал такую тишину, которую не подарит никакое утро в сосновом лесу. Ее страшно было поранить, и мы оба молчали, покуда не послышалось мерное побрякивание лифта. Лишь тогда я рискнул спросить своего спутника:

— Вам не обидно, что столько сил, столько жизней потрачено зря?

— Как зря? — он не фыркнул сардонически, он искренне засмеялся моей глупости. — Мы же атомную войну остановили.

— Вы что, серьезно думаете, что без вас?..

— А вы что, серьезно думаете, что американцы не покончили бы с красной заразой, будь у них такая возможность? Я бы на их месте обязательно покончил.

Его старое изможденное лицо вспыхнуло азартной молодой усмешкой.

— А когда-нибудь сюда экскурсии будут водить, как к египетским пирамидам. Это ж тоже мировой рекорд. Только они пробивались в высоту, а мы в глубину.

Он и контрольные скальные выходы, у которых останавливалась бесконечно ползущая все глубже и глубже капсула лифта, поглаживал ласково, будто хозяин любимую корову. А я ее прослушивал. Сначала в фононных наушниках что-то возилось, шуршало, шелестело, чирикало. Потом стали отзываться далеким эхом словно бы какие-то команды, лязг стали, собачий лай, а уже в самой-самой глубине остался один только ровный гул — не то надвигающееся цунами, не то отдаленная армада бомбардировщиков, не то стальная палуба идущего полным ходом исполинского дредноута.

— А мне можно послушать? — наконец не выдержал Вергилий.

— Конечно, конечно, что за вопрос.

Он замер и долго-долго вслушивался с такой серьезностью, что я опустил глаза, словно присутствовал при чем-то интимном.

— Как будто ледоход все начинается и никак не начнется. Льдины трескаются, скрежещут, налезает друг на друга, а что-то их не пускает.

А потом он вдруг повеселел:

— Когда мы горячую воду из системы охлаждения начали в реку сбрасывать, она перестала замерзать, это нас ужасно демаскировало. А потом стали этой водой город отапливать. И все обошлось, никто ничего не заметил.

* * *

В Петербурге лед на обочинах был черен, как застывшая смола, кое-где даже со следами бывшего кипения. Примерзший кое-где снежок казался засохшей мыльной пеной. Морозный ветер противоестественным образом сек лицо вместо снега пылью, так что вопрос встретившейся мне на выходе из метро Пампушки был вполне естественен:

— Это зачем у вас пылесос?

— Это не пылесос, это стетоскоп. Если хотите — фонендоскоп. Прослушивать, как бьется сердце земли.

Я был немного раздосадован, что меня застали за таким дурацким занятием, — я хотел послушать без свидетелей, как звучит Иркино имя. А на кладбище нам навстречу ринулась еще и стая бродячих собак. Однако меня после Иркиной смерти настолько ничего не страшило, что я своими прищуренными от пыли глазами сумел даже заметить, что вожаком у них сука с болтающимися бледными сиськами. Но сука в последнюю минуту притормозила, оставив на черном льду глубокие белые царапины когтей, и все же на излете ткнулась нечистой бородатой мордой в мое английское пальто. Понюхала и потрусила дальше со своей шелудивой шайкой.

— Я вами любовалась, — Пампушка сияла своими наливными щечками из индейской опушки. — Как вы шагнули им навстречу!..

А я и не заметил.

Наш престижный уголок был пуст, только в своей вязаной шапочке с прыгающими детскими помпончиками, ничего по обыкновению не замечающая кругом, на своей грядке возилась Старенькая Девочка. Иркина плита была впаяна в черный окаменевший снег, с той стороны, откуда изредка показывалось

солнце, изъеденный, будто Большой каньон на реке Колорадо. Весна несмотря ни на что приближалась, еще недавно в это время было уже темно. Понимая, что от Пампушки теперь не отвяжаться, я проскребся к имени ИРИНА сквозь кристаллический снег, вытер заломившие от холода руки платком, затем этим же платком протер мокрый мрамор и приложил к нему фононное ухо.

И замер, прикрыв глаза и ожидая неизвестно чего.

И услышал *мертвую* тишину. Даже свист ветра в черных розгах кладбищенских деревьев отсеки плоские серые наушники.

Но я еще долго-долго не открывал глаз...

И очень оценил, что посерьезневшая Пампушка не задала мне ни одного вопроса. И лишь после приличествующей паузы робко попросила тоже послушать свою мамочку.

Я не пошел за нею, отчасти давая понять, что и ей не следовало находиться рядом со мной. Но все-таки искоса следил за ее манипуляциями и — было все еще достаточно светло, весна надвигалась с присущей ей неукоснительностью — явственно разглядел, как ее лицо под передавленной наушниками растрепанной светлой стрижкой (капюшон она откинула) озарилось неземным счастьем.

Возвращала она мой пылесосик с выражением не просто бесконечной благодарности — благоговения. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, самозабвенно повторяла она, и у меня невольно вырвался бестактнейший вопрос: «Вы что, и вправду маму услышали?» «Нет-нет, совсем другое!..» — она не то чтобы отмахнулась, ее жест означал сладостно-безнадежное: «Словами этого не передашь». Но тут же взмолилась:

— Давайте дадим послушать Маргарите Кузьминичне!

И, не дожидаясь ответа, нежно, но неотвратимо повлекла меня к Старенькой Девочке. Ее навеки ушедший отец и муж тоже проступал белой туманностью на черной стеле. Можно было разглядеть, что он лысый и добродушный, и даже вроде бы немножко косоглазый, — но что открывается зрению! Ничего. Старенькая Девочка и на Пампушку смотрела своими ввалившимися глазами очень испуганно, не понимая, зачем на нее напяливают какие-то наушники, хотя ей все было повторено трижды и четырежды. На одной ее скуле желтел сходящий ушиб, на другой наливался синевой новый. И когда фононное ухо было приложено к камню, она лишь продолжала испуганно мигать.

— Ну? Что вы слышите? — допытывалась Пампушка, и бедная Старенькая Девочка умоляюще воззрилась на меня, тщетно ожидая подсказки.

Это меня и добило.

— Видите ли, — осторожно сказал я, — мы ищем связь с потусторонним миром. И некоторым людям удастся расслышать голоса своих умерших родственников. Это еще в стадии разработки, у некоторых получается, а у некоторых не получается. Мы пока ставим опыты на добровольцах, вот у Виолы, кажется, получилось...

Я вопросительно взглянул на Пампушку, и она радостно и благодарно закивала: да, да, я точно слышала мамин голос. На детском морщинистом личике начали проступать какие-то признаки жизни, то есть надежды. И тут же внимания. А затем сосредоточенности. А потом поглощенности — она вслушивалась с таким напряжением, словно от этого зависела ее жизнь.

Да она от этого и зависела.

И, как писали в старых романах, через несколько минут, показавшихся вечностью, на ее личике проступило такое детское счастье, что я понял: обратного хода нет.

— Да, немножко слышу... Только мешает какой-то лязг...

— Это, может быть, метро. Но вообще-то если у вас с супругом сильная духовная связь, он как-то должен вам давать о себе знать. У вас не бывает такого: слышишь чей-то голос, а оглянешься, никого нет?

— Бывает, — она не смела поверить своему счастью.

— Так это оно и есть. Мы разрабатываем прибор, который бы фиксировал эти проблески. Туннельные эффекты. У вас не бывает, что ищешь какую-нибудь вещь несколько дней, а потом вдруг обнаружишь ее на самом видном месте?

— Ой, со мной все время такое!

Ее надежда крепла на глазах.

— Вот это он вам так дает о себе знать, он хочет присутствовать в вашей жизни. Значит с вами у нас дело пойдет. Ну-ка, еще раз вслушайтесь как следует.

Я уже самолично и сурово, как медицинский работник, нахлобучил на нее наушники и сделал Виоле пристраивающий жест: тихо, мол, идет эксперимент. Припухшие глаза Виолы смотрели на меня со смесью недоверия и восторга — да я ли это?..

Помолодевшая Маргарита Кузьминична вся обратилась в слух. Я позволил ей оставаться в этом состоянии недолго и голосом гипнотизера спросил: ну, что вы слышите? С подтекстом: надеюсь, вы меня не разочаруете. И она не разочаровала.

— Слышу. Он мне что-то говорит. Только не могу понять, что.

— Ничего удивительного. Это опытный образец. Мы будем и дальше работать над его чувствительностью.

Выражение ее лица описывать не буду — там было и счастье, и робость, и признательность, но мне, ученому-экспериментатору, не подобало рассусоливать: я собрал свой пылесосик и корректно откланялся. Виола догнала меня у метро, но дар речи к ней вернулся лишь в нашем кофейном уголке под глобальной распродажей:

— Я не представляла, что вы на такое способны!.. — в ее голосе обожание смешивалось с опаской.

— На такое бесстыдство?

— Почему бесстыдство? По-вашему же, по-ученому считается как? Практика критерий истины? Но вот вы и помогли человеку на практике — чего еще надо? Она же за пять минут другим человеком стала! Она даже хромать перестала!

* * *

Я все-таки испытывал некоторое смущение из-за своего бессовестного шарлатанства, но помолодевшая Маргарита Кузьминична приветствовала меня с таким счастливым и благодарным видом, что мое смущение сменилось гордостью. Но уже через неделю меня подкараулила у ворот Антохина «укладчица» и заюлила: вы, говорят, прибор придумали — с мертвыми разговаривать, не дадите послушать, если что, я заплачу, тысячу хватит?.. Трагические обрамления бегающих глаз, тщетно пытающихся изобразить преданность, в сочетании с каким-то нелепым нэпманским шиком (чуть ли не крашенные сапожной ваксой страусиные перья вокруг шеи) были невыносимы; я, стараясь смотреть мимо, бормотал, что это только опытный образец, что его еще дорабатывать и дорабатывать, что я и так нарушил режим секретности, но она, зная, что все подобные отмазки городятся исключительно ради набивания цены, ничего не слушала, лишь еще более раболепно заглядывая в глаза и пытаясь всунуть мне

в карман английского пальто какие-то деньги: «Две тысячи, ладно? Ну, хорошо, три, три?..»

Пришлось на следующий день явиться с моим «пылесосиком» пораньше, чтобы проверить новую аферу хотя бы без свидетелей. Кладбище было пустынно, только несчастная пожилая пара убито горбилась над могилой своего любимого лохотронщика. Солнце и за белесой мутью продолжало разъедать весенним кариесом слежавшийся снег, но «укладчица» не стала с ним бороться, а приложила мембрану прямо к надменным губам своего Бонапарта, так и не вышедшего в Наполеоны. Я хотел сказать, что мой фонендоскоп предназначен для прослушивания земли, но воздержался — быстрее отделаюсь.

Быстрее, однако, не получилось. «Укладчица» знала, что если до чего дорвешься, надо набивать карманы, пока не отташат. Она вслушивалась жадно и упорно, и глаза ее в траурном обрамлении горели алчным упоением. Наконец она стащила наушники, расплавшись, как горгона, и произнесла со злобным торжеством:

— Я так и знала. Сволочи.

И ушла не попрощавшись. Так мог ли я после этого отказать другим?

Лидия Игнатьевна вслушивалась строго, не желая выдавать авансы экспериментальному образцу, но в конце концов сменила суровость на милость:

— Я давно говорю, что позитивистская парадигма себя исчерпала.

Леночке в свое оправдание я сказал лишь, что в приборе использован пьезокристалл Бережкова, грустной улыбкой стараясь показать, что я всего только уступаю настояниям безутешных вдов, но мы-то, люди науки, прекрасно понимаем... Однако Леночка, надвинув пониже козырек своей бейсболки, поверх которой наушники надевались с полным удобством, вслушивалась с такой надеждой и страданием, что я не смог на это смотреть, и даже, когда она потрогала меня за локоть, протянул руку за наушниками не оборачиваясь.

— Спасибо, — сказала она, и голос ее сорвался.

— Пожалуйста, — ответил я, стараясь выразить: что поделаешь, я не бог.

Но она повторила еще раз: «Спасибо, спасибо!», — уже не стесняясь прорвавшихся рыданий, и я решился оглянуться лишь тогда, когда ее девчоночья фигурка превратилась в темный силуэтик: дело было вечером.

А Капе пришлось устроить сеанс при ярком солнечном свете, и она слушала без слез, и лишь следы былой остервенелости, и без того почти незаметные после рыданий пьяной потаскушки на могиле бандита, окончательно сходили с ее увядшего личика. Зато помолодевшая Старенькая Девочка, козочкой пробегающая мимо, порадовала меня новостью, что ей теперь и прибор не нужен, что она и так каждый вечер общается с мужем. А на днях еще и видела его в метро.

— И... И что же он делал?..

— Ничего, просто висел над всеми.

И я понял, что пора с этим делом завязывать. Если завтра на меня еще навалятся поклонницы Любимчика, это вызовет уже эпидемию безумств. Ба, да ведь есть же еще братки Лубешкина... Братки внушали мне не столько страх, сколько гадливость: красивой смерти дождешься скорее от стаи шакалов. Но это еще что! Я заметил, что, оставаясь наедине, я начинаю невольно прислушиваться, не прозвучит ли Иркин голос, а за серой тенью, сопровождающей меня на периферии зрения, я вообще слежу неотступно: а что, может, и правда позитивистская парадигма исчерпана? Больше того, Ирка много лет пошучивала над моей любовью к Марии Каллас, будто бы я обожаю не только ее голос, но и вообще в нее влюблен, как солдатики влюбляются в какую-нибудь Софи Лорен. Поэтому в качестве строителя Тадж-Махала я запретил себе слушать

записи великой певицы и даже засунул ее диск в нижний ящик стола. Но когда я однажды вспомнил про него и, к изумлению своему, не обнаружил на месте, я вполне серьезно задумался на тему, могут ли мертвые ревновать.

Похоже, и я двинулся в ту же сторону. В разум — в добросовестность — меня вернула вдова Жореса, без его немецкого пригляда обратившаяся в перевалистую деревенскую бабку:

— Удивляюсь я на их: вроде образованные, а с мертвыми разговаривают. Не могут мертвые разговаривать. Я по опыту говорю. Со мной было, муж год как умер, а я все реву. Пошла на рынок чернику брать для пирога, и обратно реву, он пирог с черникой только и любил. Спекла пирог и поехала метром на могилку. Жоресик, зову, Жоресик, приходи домой, я тебя пирогом с черникой угощу! Звала-звала, а приехала домой — его нет. Ни сам не пришел, ни привидением, никак. И ни словечка даже не сказал. Не могут мертвые разговаривать.

После этого я объявил, что мой фонендоскоп разобрали на запчасти для новой модели, а когда она появится, я скажу, надо подождать. Однако тревога не отступала: когда-то же надо будет либо предъявить эту новую модель, либо признаться в своем шарлатанстве. Но, может быть, это вовсе и не шарлатанство, может, они и вправду что-то слышат, сокрытое от мудрых и разумных и открытое младенцам?

* * *

В то утро я впервые сумел опередить родителей лохотронщика. И уже сам обмирал от ожидания, что Ирка как-нибудь даст о себе знать. Но тишина в наушниках по-прежнему стояла *мертвая*.

А у ворот ко мне, опять-таки впервые, обратились несчастные родители: нельзя ли им тоже?... Разумеется, можно. Только, пожалуйста, больше никому не говорите, я без разрешения вынес аппарат за территорию, если на работе узнают, мне конец, тюрьма... Они поклялись с такой горячностью, которой при их окаменелой скорби было невозможно и ждать. И слушали по очереди, передавая друг другу наушники и дважды, и трижды, и лица их светлели и светлели.

— Он же был хороший мальчик, — как бы извиняясь, сказала мне мать. — Только все время искал приключений.

— Я понимаю, — поспешил согласиться я. — Есть люди, созданные для подвигов, обыденной жизни они не выдерживают.

Они ошеломленно воззрились на меня: видимо, этой песни им и не хватало. А назавтра я вновь оказался на кладбище раньше, чем они, хоть я уже и не старался — это они запоздали. Мы столкнулись в воротах, и они так просияли, будто после долгой разлуки встретили любимого родственника.

Но как же мне все-таки выпутаться из своих авансов? А что, если выбить рядом с ИРИНОЙ и мое имя, год рождения — год смерти, — все, конечно, поудивляются, когда это меня успели «подхоронить», но постепенно свыкнутся. А встретят случайно в метро — так им теперь к этому не привыкать. Я отправился в сарай *к словорубам*, отделившимся от мира траншеей, над которой пружинила затоптанная палаческая плаха. «Просим извинения за предоставленные неудобства». Одна буква на граните от ста пятидесяти рублей в зависимости от размера и от шрифта. «Если делать сусальным золотом, то будет два листика по сто пятьдесят — вместе триста. Вот и считайте — примерно по пятьсот». Что ж, мне вполне по карману известить мир о своей кончине. Только как же мой Тадж-Махал?... Не беда, Тадж-Махал строится в памяти: когда вместо моего тела на могиле найдут мое имя, это будет еще загадочнее, — идея меня прямо пленила.

Но ведь нашу общую могилу хотя бы изредка должны будут навещать сыновья, невестки, надо, чтобы и они согласились участвовать в этом обмане... Нет, их на такую операцию будет не подбить, они люди серьезные. А жаль, красивая комбинация намечалась.

* * *

Какая-то комбинация наметилась и с Пампушкой, которую мне уже было неловко так называть. Но и Виолой даже внутренний язык не поворачивался ее назвать. Обожаемая мамочка оказала ей неважную услугу, наградив именем любимого Иркиного сыра. Однако между Пампушкой и Виолой пришлось выбрать Виолу. Правда, произносить это имя вслух мне удавалось лишь с легким юморком, который она принимала за игривость. И ее простодушие меня понемногу растрогало, превратив юморок в снисходительную ласку, вполне мою новую приятельницу устраивающую.

Первую приятельницу с тех пор, как я лишился Ирки, — до этого моих сил обращаться с женщинами доставало лишь на корректность. Но в Виоле было столько чистосердечнейшего, лишенного даже намека на амурность дружелюбия, что как-то само собой устроилось: отправляясь навестить мамочку, она звонила мне, и я к ней присоединялся. А после мы непременно засиживались в нашем кофейном уголке под сверкающей тотальной распродажей. Не хотелось расходиться не только ей, мне тоже. Я лишь с ней почувствовал, до чего я устал от своей неумолимой корректности. И от своего безжалостного ума. А Виола умела болтать какие-то милые и даже неглупые глупости, — за которые, однако, любого мужчину я счел бы кокетливым и приглуповатым. Но к женщинам мы ведь относимся как к детям. Как, впрочем, и они к нам: если за нами не проследить, мы что-то непременно разольем, сожжем, забудем поесть или съедем что-нибудь не то...

Удивительно, как это мы без них обходимся в экспедициях? А плохо обходимся. Когда два месяца сидишь на макаронах с тушенкой, чувствуешь себя вполне здоровым если уж не как бык, то как борзой пес, и все-таки когда повеет нормальной домашней едой — не желудок, душа устремляется ей навстречу: у желудка тоже есть душа, жаждущая не просто питательного, но еще и вкусного. А когда тебя с женской и притом совершенно лишеной амурности заботой приглашают поужинать, а тебе так не хочется после затянувшегося теплого разговора возвращаться в пустой холодный дом, то легко приходит в голову, что Тадж-Махалу этот ужин не повредит — я же все равно завтра буду там как штык...

Похрустывая ледком, мы шли мимо бывшего ДК Цюрупы — не то аскетичный модерн, не то пышный конструктивизм, — куда мы когда-то приезжали с Ирккой на «Июльский дождь». В зале было рассеяно избранное общество человек в восемнадцать, а по экрану мчались и мчались машины, точно такие же, как за стеною на Обводном, только никому бы не пришло в голову в них вглядываться, зато когда кому-то пришло в голову их воспеть — выделить из мира и поместить в почтительное окружение, — уже глаз было не оторвать...

И впервые за много месяцев возвращение туда, где мы с Ирккой когда-то были счастливы — а мы были счастливы везде, — отозвалось не подступившими слезами, но лишь усилением привычной и уже почти не замечаемой ломоты душевной боли за грудной костью.

На углу Курляндской скромный дом чухонского модерна прибыл прямоком из непарадного уголка города Хельсинки. Собирались насладиться Хельсинками вместе с Ирккой, а она так напилась, что я не сумел ее растолкать. Я до

того разозлился, что твердо решил: буду жить без нее. И совсем неплохо провел время. Но оказалось, это было еще не без нее.

На размазанном бульваре Циолковского вкусно потянуло квасом имени Степана Разина. Этим квасом Ирка отпаивалась с похмелья, и не знаю, чего бы я не отдал, чтобы вернуть ее в ту комнатенку, мимо которой я теперь прохожу, сжимаясь. Я бы даже поклялся никогда туда не заглядывать, только бы знать, что она там есть.

Старо-Петергофский, Республика ШКИД. В витринных окнах элегантные безголовые манекены, и в каждом окне «новая коллекция», «новая коллекция», «новая коллекция», «новая коллекция»... А выше стеклопакеты, жалюзи, стеклопакеты, жалюзи — бизнес-центр. Люди дела.

Справа через проспект строгий конструктивизм бывшего кинотеатра «Москва», огромный фриз всех муз и граций: живописец, скульптор, балерина, скрипач, но в центре все равно люди труда — рабочий и крестьянка, только рабочий опирается на пышный изогнутый сноп, а крестьянка на огромную шестеренку. Перекрестное опыление. Уж как ни доставали сталеварами и свиарками, но даже и тогда, спроси нас, мы бы ответили, что сталевар лучше бармена, а свиарка лучше проститутки. Теперь зато свиарок не показывают, показывают свиней.

Из-под арки в неверных отсветах открылся двухэтажный кирпичный короб с чернеющими оконными проемами, но нам не туда, в блокадный Ленинград, нам направо. Надвратный фонарь и обострившееся зрение позволили мне прочесть накрашенную по трафарету надпись: «Копейка, отданная чуркам = будущее, отнятое у русских детей». Слово «чуркам» кем-то замазано, но разглядеть можно.

— У вас тут национальная борьба, — указываю я Виоле, и она насмешливо отмахивается:

— Дружки моего сынули написали, а я замазала.

— Так он у тебя... — мы уже на ты, но я ишу слова помягче, однако моя спутница не заморачивается на политике — эти-де мальчишки вечно озорничают!

— Он уже давно от них ушел, теперь по крышам бегают, все ищет себя.

Мы вошли в пыльный, но не замусоренный подъезд и вместо того, чтобы двинуться вверх по выщербленной лестнице, по двум ступенькам спустились вниз к каморке под лестницей.

— А сын сейчас не дома? В смысле, я ему не помешаю?

— Нет, он живет у подружки. Вместе водят экскурсии по крышам. Есть и на это охотники, — она явно любит многообразие человеческих пристрастий. — Волнуюсь за него, но линия жизни у него длинная. И мама не допустит.

Всю эту муру она проговаривала как нельзя более естественно.

И дома, переодевшаяся в летний цветастый халатик — по синему алые маки-не маки, — среди тесного советского ретро она была такой естественной и заботливой, что мне показалось, будто я снова приехал на побывку к маме. А ее мама, чем-то напоминавшая набравшуюся городской строгости жену Знатного рабочего, сияла с размытой черно-белой фотографии, вывешенной среди более мелкой фотороссыпи строго над стареньким кинескопным телевизором. Но неизмеримо большее внутреннее размягчение ощущал я оттого, что за мной ухаживают, мне подадут, беспокоятся, чтобы я не обжегся...

Я и забыл, что стол можно не накрывать клеенкой, а подкладывать под тарелку салфетку, что еда — не просто белки, жиры и углеводы, но еще и богатство каких-то забытых приправ, которых по именам я, впрочем, никогда и не знал, я забыл, что пищу можно не просто наваливать в одну и ту же миску

(которой я все-таки не позволял кинуть в раковине, но сразу мыл вытертой зеленой губкой), а красиво раскладывать по тарелкам и блюдецкам с золотой каемочкой, меняя их после каждого блюда... И у глаз тоже есть душа, любующаяся розовым обрамлением из прозрачных помидорных кружочков.

И все это — чего уж притворяться — светилося женщиной. И нежный голос, и полные гладкие руки, и летний халат, под которым я не мог не замечать живущих самостоятельной жизнью пышных форм. Моему истерзанному окаменевшему сердцу они ничего не посылали, ему нужна была одна только Ирка. Но оказалось, у моих рук, у моей кожи тоже есть свое сердце, и кожа томится по теплой шелковой коже, а руки по горячим нежным округлостям...

Я это заметил лишь в своей холодной постели. А за столом мы прикоснулись друг к другу единственный раз — когда она изучала мою ладонь, справляясь по книжке «Коррекционная хиромантия для начинающих», и показывала мне свою крошечную пухленькую ладошку:

— Видишь, у меня линия разума и линия языка сливаются: что на уме, то и на языке. Но это можно подправить.

— Это как — изменишь линии, и характер изменится?

— Да. А что тут такого?

— Ничего. Человечество прожило без веры в чудеса только три минуты, да и то его загнали туда террором. Нынешний разгул мракобесия всего лишь возвращение к норме.

— Почему мракобесия — вот у моего сынули линия жизни вся из прыжков, он и живет прыжками. Это ничего, главное длинная. А у тебя линия сердца и разума сливаются — ты и живешь как железный.

Хиромантия. Но когда ладошка пухленькая и теплая, когда голосок нежный и не пытается важничать, а мелет себе и мелет утешительные глупости...

— Да, у львов всегда так. Или ты и в астрологию не веришь? Это же тоже наука — чертежи, вычисления...

— Меня удивляет, что из-за открытия новых звезд астрология не меняется. В любой науке бывают революции, борьба школ, гора нерешенных вопросов, а в астрологии две тыщи лет никаких ни революций, ни проблем.

— Да, тяжело тебе живется! Я же говорю: ты железный.

Она смотрела на меня с неподдельным состраданием, забыв мою ладонь в своей ручке. И, тем не менее, за весь вечер не случилось ничего, что можно было бы назвать предательством, и Рижского проспекта по дороге к «Техноложке» я по обыкновению вовсе не заметил. Но когда на Троицком за уютно горящими окнами помещичьего желтого дома скорби замаячила громада Измайловского собора, я поднял глаза и обнаружил, что купола его небесно-голубые, а разбросанные по ним шестиконечные звезды и кресты на куполах светятся золотом. Я даже не знаю, память мне это открыла или глаза — что могут видеть глаза! — но я оглянулся и, увидев, что темный проспект пуст, пал на колени на хрустнувший ледок и прошептал: «Любимая, прости, что я снова живу».

* * *

И впоследствии, пускаясь в путь от «Техноложки» до Старо-Петергофского, я всегда заглядывался на этот купол, который все светлел и светлел с продвижением весны. И наш дружеский поцелуй при встрече тоже все удлинялся и удлинялся, и я уже придерживал ее за талию, хотя и упитанную, но ошутимо расширяющуюся к бедрам.

Однако я тут же переходил к хозяйственным делам, выкладывал какие-то

продукты, в том числе увесистые, чтобы как-нибудь по рассеянности не сесть ей на шею. Она и к этому относилась с полной непринужденностью — за что-то хвалила, за что-то журила: ты проверяй, когда берешь мороженую рыбу, тут же половина льда, зачем брал такой дорогой сорт, можно было в полтора раза дешевле и тому подобное, а морковку надо обязательно не только щупать, но и сгибать, видишь, какая она вялая, но только когда я принес замороженных кальмаров, приняв их за морского окуня, она вскинула на меня свои припухшие глаза с такой смесью восхищения и сострадания, что мы как по команде заключили друг друга в объятия и принялись целоваться уже по-настоящему, и руки мои наконец-то обрели то, о чем они давно мечтали, только коже пришлось обойтись без кожи, потому что стрелка интегрального индикатора стояла на нуле, если здесь вообще уместно слово «стояла».

Она ожила лишь опять-таки в холодной постели, когда моя пампушка — теперь это слово сделалось ласковым, и я его уже не избегал — была вновь явлена мне не губами и руками, но самым моим эрогенным органом — памятью. Однако я не был уверен, что показатели останутся на высоте, когда желанный образ обретет плоть, перейдя из возвышающей памяти в туповатые руки. Поэтому я почел за лучшее заглянуть в аптеку — нынче все стимуляторы в упор глядели на нас, прильнув к стеклу. Еще в студенческие годы бывалые люди учили меня, как нужно покупать презерватив: «Просто скажи: за четыре копейки». Я дождался пустоты у прилавка и, не поднимая глаз, пробурчал: «За четыре копейки». «Чего за четыре копейки?» — заорала на всю аптеку толстая дура в белом халате, и мне пришлось с ненавистью выдать из себя: «Презерватив». «Нет!», — торжествующе завопила мегера, и я, навеки опозоренный, не поднимая глаз, выскользнул прочь.

Хотя теперь я покупал бы эти штучки, может, и не без гордости. А вот до того, чтобы публично, да и даже наедине попросить виагры, я еще не созрел. Конечно, я мог бы взять себя в руки и спросить напрямую, но зачем мне загаживать свою память мелкими унижениями? Я подумал и решил прикинуться глухонемым. Я привлек внимание молодой продавщицы осторожным мычанием, показал пальцем на губы, отрицательно покачав при этом головой, и положил перед нею записку: «ВИАГРА». Сколько, спросила она, и я, забыв, что я еще и глухой, показал два пальца.

И все наконец получили то, к чему стремились, — и руки, и кожа, только сама стрелка словно одеревенела и почти ничего не чувствовала, но она меня и волновала меньше всего, ибо собственной души у нее не было.

Понемногу, правда, и она ожила. Моя хлебосольная хозяйюшка, не столько сладострастно, сколько радостно вышептывая какие-то простодушные нежности («заинька! миленький! дружок!..»), умела ласкать не хуже, чем готовить, — вторая таблетка уже не понадобилась. И физиономия без дополнительных стимуляторов тоже больше не раздувалась. И я даже научился уворачиваться от немедленно наваливающейся тоски. Не замирать, как это бывало у нас с Ирккой, а поскорее вставать — будто бы гигиены ради, затем одеваться — будто бы простуды ради — и садиться за стол, — будто бы голода ради. Лучше испытывать стыд за свою неблагодарность, чем раздражение за то, что моя подруга сразу же начинает говорить с обычной комнатной громкостью: я же понимаю, что единственная ее вина заключается в том, что она не Ирка. Если бы она замирала, прильнув ко мне, было бы еще хуже. В первый раз она меня смягчила лишь простодушным признанием: «Больновато, у меня все там ссохлось».

Зато за столом я с удвоенным вниманием расспрашиваю о ее делах — мне они и правда интересны, я ведь и впрямь очень хорошо к ней отношусь. Я

действительно одобряю, что она быстро решила расстаться с мужем-пьяницей, не стала повторять ошибку мамы, отдавшей половину жизни алкашу и эгоисту (теперь-то я знаю: алкашу и следовательно эгоисту), я верю, что ее мама и впрямь должна была быть незаурядным человеком, если сумела выбиться из глухой деревни в учительницы начальных классов, да еще и добиться того, чтобы бывшие первоклассники сбросились на ее престижное погребение. Я действительно испытываю нежность и сочувствие, когда заботливая и нежная хозяйка моего убежища сетует, как ей влетело за то, что, в очередной раз заглянув в чью-то карточку, она посоветовала пациенту пойти к другому врачу. Уж сколько зарекалась, но когда она видит, что человек идет не туда, не подсказать выше ее сил.

Ну а тревоге ее за путешествующего по крышам сынулю я не просто сочувствовал — я прямо-таки дивился, как редко она позволяет ей выбиться наружу, — только поплюет через левое плечо, только постучит по дереву, только побормочет: «У него длинная линия жизни, у него длинная линия жизни, мамочка не допустит, мамочка не допустит...»

Я и к самому сынуле отнесся с искренней теплотой, когда — предварительно позвонив, что я особенно оценил — он забежал на минутку, что-то забрать. Обтягивающая вязаная шапка, которую он почему-то не снял и дома, делала его голову похожей на шар, он был и весь кругленький и очень живой, словно капелька ртути. Он выдвигал один за другим все ящики, что-то напевая под нос, но кратковременное общение с Орфеем временами обостряло мой слух до такой степени, что я иногда разбирал и то, что люди напевают про себя. Песня оказалась очень современной — вместо мелодии напористый бубнеж — и политически актуальной (отдельные слова бубнились мрачнее и октавой ниже, как бы в скобках): «Зачем ты под черного легла (легла, легла), испортила чистую белую кровь? Зачем ты под черного легла? (Тупая ты манда!) Ведь в Купчине много нормальных пацанов».

И тут же начинал еле слышно голосить тоненько: «Эй зачим? Ти жь нормальный таджжикский подруг, зачим ти под белый полежьжил? Испортил чистий таджжикский кров, зачим ти под белый полежьжил? Ведь в Купчин так много таджжикский герой, зачим ти под белый полежьжил?»

Я уже готов был и ему подыскивать оправдание, — ну, мало ли, что человек не работает — хочет быть поближе к небесам. А как-то я позвонил Виоле после сравнительно долгого перерыва — я по-прежнему старался работать как можно больше, — и она обрадовалась совершенно по-деревенски: «Ой, а мне как раз приснилась собачка — так ластится, ластится!.. Я проснулась и думаю: наверно, ты придешь! Это примета такая: увидишь собаку — придет дружок».

Дитя... Заметив свое отражение в зеркале, она тут же начинает натягивать щеки назад, грустно размышляя вслух: «Приклеить их что ли? Или намазаться яичным белком, напудриться и больше не улыбаться?..» Так что, когда она при не успевшем закатиться весеннем солнце пришла на раскисшее кладбище в коричневом фетровом горшке, я почувствовал лишь спазм нежности и сострадания за ее нелепый вид. Чучело, сам собой ласково проговорил без звука мой язык. После этого я перестал и отводить глаза, когда она поднималась не сразу же вслед за мной, а продолжала нежиться на разбросанной постели, напоминая мне какое-то трогательное морское животное, вроде тюленя, перетекающего при повороте с боку на бок. И когда она меня напутствовала в дверях: «Ходи осторожно!», — я видел, она замечает, что я прощаюсь более растроганно, чем прежде.

* * *

Зато на кладбище эхо моей лжи во спасение продолжало разноситься громче прежнего. Бывшая Старенькая Девочка Маргарита Кузьминична стала появляться гораздо реже, бодрая, пополнившая и порозовевшая, и каждый раз увлеченно рассказывала о каком-то новом розыгрыше ее разрезвившегося супруга, при жизни все-таки гораздо более серьезного. Леночка тоже посветлела и натягивала свою бейсболку уже не так низко, но со мной здороваться стала смущенно, будто провинилась в чем-то не очень важном. Зато Лидия Игнатьевна кивать мне начала очень царственно, но милостиво. Капа высохла еще больше, но сквозь ее исхудалость как-то проступило, что она совсем девчонка. Антохина жена напиталась сарказмом ко всему человечеству и обращалась со мною будто с сообщником. Вдова Жореса, похоже, начала презирать меня за некультурность, поскольку я был вынужден почтительно кивать всем чокнутым дамочкам, поджидавшим меня у моего незримого Тадж-Махала, чтобы сбивчиво или наоборот на пять с плюсом пересказать мне содержание их бесед с покойными мужьями, и мне оставалось лишь с тоской поджидать того цунами безумия, которое обрушится на меня, когда эхо разговоров с мертвыми докатится до и без того двинутых поклонниц Любимчика.

Однако корреспондентка желтой газетенки «Эзотерический Петербург» добралась до меня раньше. По мобильному, между прочим. Достала у кого-то. Я умолял ничего не публиковать, я твердил, что проделаны лишь первые опыты, что мы пока еще не можем отделить реальные сигналы от самовнушения, и все-таки сияющая Старенькая Девочка, радостно размахивая треклятой газетенкой, уже через два дня поджидала меня на последнем кладбищенском снегу, исклеванном каплей с деревьев, словно отслужившая деревянная мишень.

УЧЕНЫЕ ОТКРЫЛИ СВЯЗЬ С ПОТУСТОРОННИМ МИРОМ!

Эта радостная весть занимала четверть небольшой полосы. Половину же оставшейся площади занял мой портрет. Мерзкая девка скачала из интернета фотографию, где я был заснят на трибуне, — выходило, что я проповедую с трибуны эту дурь и городу, и миру. У меня прямо сердце оборвалось: что скажут коллеги, мне же на людях нельзя будет показаться!.. Господи, да ведь наш директор еще и зампреда по борьбе с лженаукой!

Моя добрая пампушка, понимавшая, что именно она меня во все это втравила, расстроено уверяла, что этот листок никто не читает, однако борцы с лженаукой, оказалось, хорошо следили за вражеским лагерем. Через каких-нибудь пару-тройку дней директор, встретив меня в коридоре, вместо обычного любезного рукопожатия бросил коротко: «От кого-от кого, а от вас не ожидал», — и его хрящеватое лицо сделалось совершенно инквизиторским. Повздыхав с полчаса за рабочим столом, я отправился к нему объясняться. Он непримиримо смотрел в даренного коня из уральского малахита — чистый инквизитор, только остроконечного балахона не хватало. Но когда я начал сбивчиво рассказывать о кладбище, о вдовах, о психозах, вызываемых непосильным горем, он вдруг бросил на меня тревожный взгляд и сделался необыкновенно предупредителен.

— Ничего, ничего, вы главное больше отдыхайте, — ласково повторял он, бережно, за локоток провожая меня к дверям, и я понял, что он считает меня тронувшимся.

Хороший все-таки у нас народ — необыкновенно приветливыми сделались все. Хотя контактов со мною стали избегать.

Я расслаблялся только у Виолы, проникаясь к ней все большей и большей теплотой и благодарностью. Однако из-за ее простодушия моим чувствам был нанесен удар прямо под дых. В какой-то момент мне стало неловко, что я не приглашаю ее к себе, и мы договорились после работы встретиться под колоннадой Александринки. К тому времени снег уже сошел, но когда я вышел из метро «Гостиный Двор», он повалил громадными хлопьями, мохнатыми, как морды эрдельтерьеров. Взаимные отряхивания помогли нам переступить порог без натужных слов и жестов, а ее простодушный возглас «Это все твое?..» окончательно растопил лед вслед за снегом.

— Нет, это такая коммуналка... — начал я и осекся, ибо хотел завершить словами: «населенная призраками».

Квартиру эту в эпоху расцвета мне дали на большую семью как крупному деятелю науки — директор не поспешил на эпитеты, и за этим, теперь нелепо длинным столом вершились когда-то счастливые обеды. Ирка всего лишь любила застолья с интересной выпивкой, а дети всего лишь присматривались, кому живется весело, вольготно на Руси. Не знаю, как так они не разглядели, что веселее всего живется нам с Ирккой.

Я пошел ставить чай, чтоб хоть минуту побыть одному, но Виола последовала за мною и снова ахнула: сколько посуды! Да какая интересная!

Правильно углядела: Ирке обязательно требовалось, чтоб было интересно, отовсюду она привозила какую-нибудь умилявшую меня кухонную белиберду. А Виола уже углядела Иркин любимый тонкий поднос, вырезанный из одного куска мореного дуба, и — и меня передернуло: она начала составлять на поднос Иркину сахарницу, Иркины блюдца, чашки, как будто нарочно выбирая именно те, вокруг которых мы с нею засиживались за вечерним чаем в годы нашего счастья. Хотя и в годы горя любая трезвая ее минута тоже становилась счастьем, которое мы старались растянуть далеко за полночь в неостановимых разговорах смертельно соскучившихся друг по другу влюбленных — не наговорились за сорок лет...

А теперь чужие руки как ни в чем не бывало...

Мне как свело губы судорогой, так я их и не мог разжать, — только что-то мычал в нос на сначала недоумевающие, а потом и встревоженные вопросы. Я и глаз на нее не мог поднять. И наконец она что-то поняла и сникла.

Собрала и снесла на кухню недопитые чашки, пошумела водой — я не мог оторвать глаз от Иркиной клеенки, тоже голубой в цветах, только желто-белых, может быть, даже в ромашках.

— Так я пойду?..

— Ммм, угумм, — я не мог ее видеть, я разглядывал ромашки.

Моих сил хватило приложиться губами к ее теплой и, кажется, немного увлажненной щеке, но поднять на нее глаза от ромашек (любит-не любит, любит-не любит...) я так и не смог. Поднял я их только перед зеркалом в ванной, собираясь почистить зубы. Поднял и тут же опустил. Ведь не виновата же она, что она не Ирка... И не в музей же ее привели... Когда мне хотелось прильнуть к ней, как к теплой печке, я готов был отодвинуть память о той, кого не забуду до смертного часа, а когда понадобилось самому оказать снисходительность...

Какая же я свинья!

Вроде бы я отстал от нее всего минут на двадцать, не больше, но она уже успела распухнуть от слез. Хотя и переодеться в свои маки тоже успела.

Раскаianie — стимулятор покруче виагры. Собирая губами соленую влагу с ее горячих щек, я с забытой страстью стремился поскорее добраться под

укрывшееся под маками теплое, шелковое, мягкое, женское — и внезапно наткнулся на что-то морщинистое и царапучее.

— Мне у нас в поликлинике поставили пиявок для разжижения крови, пришлось пластырем заклеить, — она пыталась осторожненько отвести мои руки. — Тебе противно?

— Нет, что ты! — я был даже рад доказать ей свою преданность, смыть вину кровью.

Что и случилось. На простыне осталось такое кровавое пятно, будто я лишил ее невинности: своим неистовством мне удалось сдвинуть пластырь с ее изъязвленного крестца. И я почувствовал, что моя вина действительно смыта нахлынувшей нежностью. Ее я тоже еще не видел такой счастливой и заботливой, и мне впервые захотелось не просто приласкать ее, но как-то воспарить.

— Интересно, — элегически начал я, — почему женщины оказываются такими важными для нас? Даже важнее, чем дети.

— Заинька, ты будешь огурцы?

— За детей хочется быть спокойным, и только, а женщины просто-таки возвращают нас к жизни. Как это у них получается?

— Огурцы тебе сделать с подсолнечным маслом или со сметаной?

— Со сметаной, — пришлось спуститься за стол.

— Я все думаю — сказать, не сказать...

— Конечно, сказать.

— Я три дня назад была на осмотре у нашего гинеколога, и она меня спросила: вы живете половой жизнью? Я застеснялась и сказала «нет», все же знают, что я не замужем... И сегодня она с такой улыбочкой мне сообщает, что под микроскопом у меня нашли живого сперматозоида.

Она была и смущена, и горда одновременно. А когда я сказал, что останусь ночевать, от счастья зарделась как девочка, и, мне показалось, бросила на маму признательный взгляд. Хотя ее серо-буро-малиновые глаза так и оставались красными и еще более припухшими, чем обычно, и я избегал на них смотреть, опасаясь, что это меня снова может оттолкнуть.

Я совсем забыл, как удобно засыпать, положив ногу на теплое бедро, высоковатое, правда, но совершенно *свое*. И все равно Ирка впервые мне приснилась именно в ту ночь. Приснилась очень обыденно: что-то говорит, почему-то отворачивается... И только когда я увидел на ее кровати россыпь черненьких шестиугольников, мне вдруг пришло в голову, как мне будет больно их видеть, если она умрет. И сердце так стиснуло, что я наконец догадался: ей самой слишком больно на меня смотреть из-за того, что я вынужден жить с чужой тетенькой — она женщин после сорока всех называла тетеньками. Так ты не уходи, не оставляй меня, всхлипывая как ребенок молил я, пытаюсь заглянуть ей в глаза, но она все отворачивалась и отворачивалась, и наконец я заметил, что у нее перерезано горло, и даже не только горло, а очень аккуратно обведено узкое алое кольцо вокруг шеи.

Проснувшись, я долго грыз руки, где днем под одеждой будет не видно, изо всех сил стараясь не трястись, чтоб не разбудить Виолу, и в конце концов почувствовал, какая она горячая. И так меня пронзило жалостью к ней...

Такая пышная, горячая — и такая беспомощная! Вот спит и даже не знает, что и во сне согревает постель. Именно оттого, что согревает, сама о том не ведая, было особенно невыносимо.

* * *

А лавина, запущенная «Эзотерическим Петербургом», пришла-таки в движение. Уж не знаю, как они раздобывали мой телефон, но мне звонил и «Московский комсомолец», и «Комсомольская правда» (комсомолыцы, беспокойные сердца), а уж всяким «Читинским вестникам» и «Колымским буревестникам» я и счет потерял. Отвечал я всем одно: первые опыты, еще ничего не ясно, а уж что они дальше плели, я старался не узнавать, репутация все равно уже погибла, и меня теперь страшили только физические контакты: прознают поклонницы Любимчика и разорвут, как вакханки Орфея. Чтоб не портил песню, дурак. Так что когда глубокой ночью меня подбросило курлыкание домофона, я ужасно напрягся.

— Кто там? — зарычал я в трубку, стараясь, чтоб вышло страшно и злобно, и обмяк, когда услышал жалобный акцент типа «зачим ти под белий полежь-жиль»: я из двасить симой квартиру, лямалься, пустить... Я про себя, разумеется, выругался, но, тем более разумеется, его впустил. Думал, до утра не засну, но вспомнил горячую Виолу и тут же отключился — она умела примирять с действительностью. С нею было невозможно поговорить о чем-нибудь волнующем — она не столько слушала, сколько умильно меня разглядывала, приговаривая: какой ты красавчик! А какая у тебя шейка! У, а какие ручки! И я сначала досадовал, а потом начинал снисходительно улыбаться. Так с улыбкой заснул и на этот раз.

Правда, когда на завтра поздним вечером нежно, будто бокал, тренькнул звонок и я через глазок распознал на площадке человека восточной внешности, я чуть не заорал через дверь: какого хрена?! Но воспитание позволило мне заорать лишь классическое «Кто там?!» И мне ответили со всей возможной в разговоре через дверь вежливостью... на английском языке.

— Good night, Mr... — и я расслышал свое имя. — Can I talk to you?

В некотором обалдении я открыл дверь.

— Плииз, кам ин, — с трудом выговорил я на своем конференшн-инглиш.

Это был английский джентльмен, если я что-то понимаю в английских джентльменах.

— We offer you a contract for research in Turkey.

— Уот шуд ай ду?

— You have performed an acoustic exploration of underground tunnels for Rosatom, we want you to do the same for us. Well pay you good money. Advance payment including travel expenses I can make right now¹.

Да, это был истинный джентльмен, невзирая на черные персидские глаза и нос, изогнутый крючком настолько, что у кончика он немножко загибался уже обратно к лицу и над губой нависал именно крючком, можно зацепить и подвесить, тем более что гость мой сложения был очень изящного, словно тринадцатилетний подросток. Это было особенно заметно из-за того, что дело двигалось к лету, и он был без пальто.

— Сит даун, плииз. Уот ду ю уонт? Кофе, тии?²

¹ — Мы предлагаем вам контракт на исследования в Турции.

— Что я должен сделать?

— Вы провели акустическое исследование подземных туннелей для «Росатома», мы хотим, чтобы вы сделали то же самое для нас. Мы вам хорошо заплатим. Аванс, включающий дорожные расходы, я готов выдать вам прямо сейчас.

² — Садитесь, пожалуйста. Что я могу вам предложить? Кофе, чай?

Но он желал лишь выдать мне аванс. Узнав сумму, я окончательно утратил чувство реальности. И в этом мороке меня уже несколько не удивил его рассказ...

Мой гость принадлежал к Братству Подземных Дервишей, считавшему, что истина сокрыта не в высоте, но в глубине, а потому не возводивших минареты, а пробивавших колодцы в самых безводных местах, где можно было углубляться бесконечно. Официальный ислам преследовал Братство, и оно укрывалось от него в своих веками разрастающихся катакомбах, пределы которых теперь никому неизвестны, и обетах молчания перед всеми, кроме собратьев (нарушение обета каралось смертью предателя и всех членов его семьи). Братству удалось так глубоко законспирироваться, что даже Кемаль Ататюрк во время борьбы с дервишскими орденами его не преследовал, считая слухи о Братстве чистыми легендами. Однако Братство живет, и, завоеывая все более и более могущественных покровителей на земле, все глубже и глубже зарывается в землю. И в последние десятилетия духовные вожди Братства все более и более уверенно заговаривают о том, что наша планета — живое существо и лишь наша тугоухость мешает нам расслышать удары ее сердца. Мой фононный фонендоскоп и должен нащупать пульс Земли. Простенько и со вкусом.

Но Братство Подземных Дервишей все-таки не «Росатом», я тоже должен соблюдать правила конспирации. Гость считает, что за ним хвоста не было, однако береженого Аллах бережет, я должен добираться до Турции хитроумным маршрутом, стараясь следить, не мелькает ли поблизости какая-нибудь повторяющаяся фигура, не интересуется ли кто моим багажом, — в общем, если хоть что-то покажется мне странным, я должен немедленно возвращаться в Петербург и ждать новых указаний. Если же переезд пройдет благополучно, мне следует поселиться в Анкаре в отеле «Барселона», по-турецки «Барсело», и ждать.

— Простите, а как мне вас называть? — спросил я его на своем уродском английском.

— Зовите меня просто: Пасынок Аллаха.

Ведь Stepson означает Пасынок? По-турецки же я запомнить не сумел. Может быть, этому помешал внезапно проглянувший сквозь его джентльменство неподвижный взгляд коршуна.

Конспирация и опасность пленили меня более всего: гибель в столь диковинном обрамлении идеально завершила бы путь строителя Тадж-Махала. Другое дело, вся эта история начинала казаться мне бредом, чуть только я пытался улечься в постель, однако плоская пачечка новеньких купюр по пятьсот евро каждая всякий раз оказывалась на месте, упорно не превращаясь в пригоршню золы. Вдобавок на самом видном месте мне предстал скромно переливающийся диск Марии Каллас. Я и без нее избегал музыки бог знает сколько времени, она размывала мою решимость, а уж от красивых женских голосов отшатывался почти как от порнухи. Но в ту ночь наушники словно приросли к моей голове, и я до первых мусорных баков не мог оторваться — признаюсь: не просто от божественных звуков, заполнивших весь мир, — от того божественного создания, которому этот голос принадлежал. Я в четвертый раз упивался арией «Каста дива» и приходил в бешенство, что какой-то греческий барыга посмел отказаться от моей богини — да он должен был почитать за величайшее счастье простаивать ночи под ее окном!

Уже и в постели эта неземная красота продолжала звучать во мне, но что-то меня все же толкнуло, пробудившись, поспешить не к рабочему столу, а к надгробной плите. Под раскисшими листьями еще доживал свой век слежавшийся снег, ноздреватый, словно облизанные коралловые глыбы. ИРИНА...

Желобки в мраморе — теперь это было все, что осталось от Ирки для моих пальцев. И когда их томление было вновь убито каменным кладбищенским холодом, я вдруг почувствовал стыд за ту ночь, которую провел с великой певицей. Да, я почувствовал мучительный стыд, какого совершенно не испытывал из-за тех часов, что проводил в постели с моей милой пампушкой, — не стыдился же я того, что ем, пью, дышу! Я и сам не думал, что секс может быть чисто дружеским занятием — как рукопожатие, как приятная болтовня, как совместный просмотр хорошего, но не великого фильма...

* * *

— Заинька, а можно я с тобой поеду? — Виола смотрела на меня так робко, словно я был строгим папашей, а она провинившейся школьницей. — Я четыре года никуда не ездила, поднакопила кой-чего...

Я протрещал пружинящей пачечкой евриков:

— Я угощаю. Русский офицер с женщин денег не берет.

Она совершенно по-детски захлопала своими крошечными ладошками, припухшие глаза вспыхнули радостью — и тут же приняли строгое выражение заботливой мамыши:

— Спрячь, заинька, потеряешь! Скажи — ведь то, что мы встретились, — это же чудо? Почему вы, ученые, не верите в чудеса?

— Потому что мы перестаем считать их чудесами, как только они случаются.

В нашем гнездышке, невзирая на теплые дни, продолжали топить, и моя раскрасневшаяся пампушечка вся была в испарине, но это лишь усиливало мою нежность: ведь испарина это жизнь. А жизнь такая хрупкая!..

* * *

Чтобы оторваться от «хвоста», если таковой за нами увяжется, а еще больше забавы ради мы двинули в Турцию через Балканы, намереваясь там сделать несколько заячьих скидок — внезапных прыжков в сторону. Будапешт, как и прежде, был красив до чрезмерности, но все-все-все отзывалось болью — и на этот дворец мы смотрели вместе с Иркой, и на этот собор тоже, одно было внове — деньги. А Белград — не знаю, кто придал слову «Белград» больше звона, — фарцовщики и проститутки, превратившие гостиницу «Белград» в гнездо роскошного порока, или власть, приравнявшая Югославию к недостижимым капстранам.

Улица Гаврилы Принципа — славен тот, кто позволил прогреметь. В бешеной суматохе прострелить живот беременной жене завтрашнего императора, продырявить горло ему самому, чтобы он захлебывался кровью: «Софочка, не умирай ради нашего ребенка!», — потом страшное избиение, ампутация руки, годы в кандалах, смерть от чахотки в будущем лагере смерти, — стильно, черт возьми! И какое эхо — тридцать лет войн, горы трупов, курганы пепла, — нет, даже я не хотел бы такого пиара для своего Тадж-Махала. Но соблазн большой, большой... Ничто не звучит громче крови.

Отель ошарашил роскошью публичного дома эпохи Мопассана. Правда, моя неизбалованная пампуша всплескивает руками: «Я так еще никогда не жила!» Она большой молодец, что не грузит своим беспокойством за рискованного сынулю ни меня, ни его, ни себя — побормочет что-то типа «мамочка, помоги!», позвонит на секунду и опять оживает; в постели она посапывает так уютно, что и я незаметно засыпаю. Завтра нам предстоит отрываться от погони в Хорватии.

Рокоча чемоданными колесиками по пыльному летнему перрону (советское

ретро), перешучиваемся, кто из пассажиров — путников — сошел бы за нашего преследователя. Пытаемся разгадывать надписи и объявления: излаз, полазек, менячница, колосек, железничка...

Поезд — тоже эхо запущенных советских электричек, да и немые окна не позволяют пейзажу расцвести за границей. Зато Загреб оказался солнечным и жарким европейским городом. Но стоило нам миновать конный памятник какому-то бану, как мы очутились в тесном овраге среди старых домишек, от которых наконец-то пахнуло поэзией, не выдохшейся и в двухвагонном поездочке, шустро вилявшем меж кустов, то выныривая над зеленой долиной, то заныривая в ущелье. Дверь в кабину машиниста была открыта, и мы более с недоумением, чем с тревогой наблюдали, как они с нашим проводником оживленно болтают, сидя боком к движению и лакомясь чипсами из общего пакета. На дорогу никто из них ни разу даже не покосился. Я уж было решил, что вместо них работает какая-то автоматика, но сразу же по прибытии в Анкару мне бросилась в глаза новость в интернете: сошел с рельсов поезд «Загреб — Сплит».

В тот раз, однако, мы прибыли в Сплит без происшествий, в непроглядной жаркой темноте — только над крышами сияла светлым камнем квадратная венецианская кампаниле. Пророкотав по камню темных изломанных улочек, мы замерли на площади вполне венецианской, будь она выточена из того же светлого камня резцом, а не высечена топором. И, замерши, разом услышали позади топот чьих-то ног. Тут же тоже стихший. Так и пошло: мы идем — его не слышно из-за нашего рокота и наших шагов; остановимся — преследователь пробежит шага три и тоже затихнет. Я хотел было резко броситься назад, чтобы его застукать, но Виола в меня вцепилась: ты что, он, может, только этого и ждет! «Ну да, с ятаганом», — хмыкнул я, но нервировать верную спутницу не стал. Наконец мы укрылись в крепостной стене, откуда можно было выглядывать на улицу через бойницу, однако никого так и не высмотрели, хотя Виола вглядывалась нельзя прилежней.

За дни наших скитаний я проникся к моей пышной подружке еще более теплыми чувствами: она не только не докучала мне своими тревогами, но и вообще возникала, только когда я в ней нуждался. И на душе становилось немножко даже горячо от нежности и благодарности. Но не мог же я ей рассказать, отчего мне не оторвать глаз от метровой надписи «ЯДРАН» на борту прогулочных суденышек: Ирку когда-то по-детски тешило, что южные славяне называют Адриатическое море Ядран-морем...

На ночлег в Дубровнике нам пришлось снова отрываться от невидимого преследователя лабиринтом крутых каменных лесенок — моя простодушная пампушка, оказывается, прекрасно умела заказывать «апартаменты» по интернету. Там же она выловила до Черногории и водителя вместе с машиной, утратившей в каких-то испытаниях множество мелких деталей, но сохранившей пламенный мотор — если за нами и тянулась слежка, то на бешеных зигзагах каменного карниза над сверкающей морской синью мы наверняка от нее оторвались. Юный джигит за рулем тоже бросал на дорогу лишь редкие равнодушные взгляды, а больше либо трепался по мобильнику, либо через плечо пытался поговорить с нами, что Виола тщетно старалась пресечь, тыча указательным пальчиком: «Вперед, вперед!», — как бы грозя ему, но на самом деле, к чести ее, просто нервно, а не истерически. Я же наоборот чувствовал себя как на крыльях — плечи сами собой расправлялись, когда, прижимаясь к стеклу, я прозревал ту высоту, на которую мы были вознесены над сияющим зеленым

ковром побережья, оскверненного, увы, скукой курортных строений, чью ординарность не могла скрыть даже высота.

А в ночном отеле Подгорицы европейская ординарность уже порадовала. Мы проспали завтрак и сразу же по нарастающей жаре отправились есть младую ягнятину, печену на дровах, и пшенично брашно. «Хвала, што не пушите». Цивилизация и тут себя предъявила тупыми коробками, растоптавшими лишь местами еще проглядывающее трогательное захолустье. Хижину очень даже можно воспеть, но невозможно воспеть комод.

Виола, как всегда, с точностью до минуты почувствовала, что я хочу побыть один, и я остался в культурном центре, — на одной вывеске «Народно позориште» — театр, на другой «Живот и литература». И так захотелось хоть какой-нибудь шири! Я с тоской огляделся окрест себя и над унылыми крышами всемирного спального района углядел вершину холма, наостренную к небу темными веретеньями кипарисов. Сразу стало веселее, когда появилось, куда карабкаться по горячим каменным глыбам, задыхаясь от щекочущего смолистого запаха горящего янтаря.

Овивающая гору спиралью парковая дорожка среди кипарисов, исполинские ягоды шиповника, оказавшиеся гранатами. Мемориал партизану-борцу: «Они су вольели слободу выше од живота». Я побрел в гору по жукам и муравьям поперек дорожной спирали и, уже опять немножко задыхаясь, выбрел на каменное лежбище — выбеленные солнцем и дождями причудливые кости доисторических ящеров. А повыше, среди горечи недавнего пожарища они превратились в обугленную печеную картошку.

И тут до меня дошло, что за мной следят. И довольно давно. Пока я шел по дорожке, меня время от времени то обгоняли, то, наоборот, обдавали горячим ветерком разгоряченные бегуны и бегуны, но лишь с пепельного пожарища я заметил, что одна и та же зеленая футболка пробегает то выше, то ниже уже в четвертый не то пятый раз. Сделалось интересно. И я снова поймал себя на незамечаемой согбенности. Когда она сама собой расправилась.

Виола, однако, встревожилась не на шутку.

— Все, зая, больше я тебя одного никуда не отпущу. Машину в отель не вызываем, может, они этого и ждут, будем ловить сами.

Она и на вокзале отвергла всех, кто набивался сам. Я хотел было сказать, что скромность нашего по-спортивному бритоголового водителя (он назвался Драганом) тоже может быть тактикой слежки, но почел за лучшее промолчать. Виола и без того, когда мы уже отъехали километров на десять, вдруг велела поворачивать обратно: забыла паспорт. Заметив, однако, как пристально она вглядывается в заднее окно, я догадался, что она проверяет, не повернет ли кто вслед за нами. И, убедившись, что никто так и не повернул, немедленно отыскала паспорт, даже не заглянув в сумочку.

Драган, немолодой, но бодрящийся, выполнял эти нелепые распоряжения с подчеркнутой готовностью не рассуждать, но делать что велят. Он говорил по-русски совершенно свободно:

— Мы теперь получили независимость, и теперь у нас в стране ничего от нас не зависит. Раньше нас с югославским паспортом пускали в любую европейскую страну, чтобы только оторвать от Советского Союза, а теперь все от нас отгородились, и Россия тоже. А зря. Это Тито со Сталиным ругались — Тито был гроссмейстер, и Сталин гроссмейстер, а теперь гроссмейстер один — Америка. Теперь мы должны собраться вокруг России, иначе все славяне опять будут шестерки.

Последний из югославов. Панславизм снизу. Его вполне можно было бы

воспеть: человек должен жить с теми, для кого его имя звучит, — но слишком уж меня тянуло сторбиться, сдвинуть плечи, поникнуть...

От безнадежности я запрокинул голову и увидел через стеклянный люк, что над нами висит игрушечный вертолетик. Мир сразу же ожил: на обочине просверкала россыпь маков, как будто нас с вертолета кропили кровью.

* * *

В ночном Скопье нас приветствовал указатель — ЦЕНТАР. Огромные сонные львы при въезде и съезде с моста над черной, играющей огнями рекой.

Для Македонии и мы богачи — нас ждет снятая за копейки двухэтажная квартира на улице Ацо Караманов у подошвы черной ночной горы, увенчанной небольшим светящимся крестиком. В телевизоре, как и у нас, кривляются обезьяны, и все-таки через всю их безголосость и безмозглость пробивается какая-то боль, какая-то мечта, какая-то любовь века назад канувших в небытие народных песнопевцев.

Из сна меня вырвала... Нет, боль все-таки сосредоточивается в одном месте, а у меня вся голова была заполнена ею как колокол звоном. Я не посмел включить свет, но поплыл к лестнице с такой бережностью, будто нес до краев наполненное блюдо царской водки.

— Зуб?.. Глазной?! Это же страшно опасно!!

— Таблетку, — стараясь не раскрывать рта, еле слышно промычал я.

Таблетка действовала быстрее, чем моя растрепанная перепуганная спасательница сумела найти в интернете, по какому телефону здесь вызывают скорую помощь, и мне удалось уговорить ее подождать до утра. Таксист, узнав, что мы из России, пришел в восторг: «О, Россия! Супер! Путин!» И тут же на смеси русских, английских и македонских слов принялся сокрушаться, что албанцы наглеют, недавно убили четырех рыбаков, а власти бояться их трогать, косовский отряд захватил целую деревню, а когда ее окружили, натовцы их вывезли на автобусах да еще заставили подписать перемирие в их пользу...

— Мы везде видели их минареты, — подпевала ему мамаша раскayавшегося скинхеда. — Торчат как ракеты.

Да, да, межконтинентальные, обрадовался панславист, они еще запустят их на Европу! Но меня больше волновало, как бы нечаянно не стиснуть зубы.

Стоматолошка укрывалась в длиннющем супермаркете меж лифчиков и тупфелек. Из медицинского журнала на низеньком стеклянном столике мы успели узнать, что кесарево сечение по-македонски — царский рез. А рядом с кассовым аппаратом стояла табличка «плакајте».

Когда спасительное истязание закончилось, доктор через пень-колоду объяснил мне по-английски (мнимая славянская полупонятность только сбивает с толку), что под зубом образовался гнойный мешок, но он его вычистил, однако, если снова заболит, нужно немедленно спешить к нему, я уже и так был в двух шагах, еще бы сутки...

М-да, недостойно строителя Тадж-Махала загнуться от гнойного мешка. Вот если Подземные Дервиши отсекут мне голову ударом ятагана и закопают в своих таинственных бескрайних подземельях — это будет стильно!

* * *

Когда улицей КАПЕШТЕЦ, переходящей в ПИТУ ГУЛИ, мы добираемся до нашей прохладной двухэтажки, мне уже снова хочется побыть одному. Виола скрывается в душе, а я ускользаю на горячую улицу. Двигаюсь в гору среди маленьких домов, в которых все родное вплоть до надписей на калитках:

«Опасен пес». Двигаюсь еще выше по утоптанной дорожке, которая с каждым десятком шагов становится все уже, уже, то слева, то справа открываются проплетенные колючками бездны, и вот я карабкаюсь по узенькому руслу пересохшего ручья, глубоко прорывшему напичканную булыжниками и каменными пластинами, прошитую корнями землю, и мне в лицо тычутся то пучки зеленых игл, то когти сплетающихся кустов, и я уже опасаюсь остаться без глаз, тем более что русло часто взмывает вверх до того круто, что иной раз приходится переходить на четвереньки, и когда мне наконец приходит на ум, что спуститься будет не так-то просто, я понимаю, что для этого мне пришлось бы половину пути съезжать и оказаться внизу с головы до ног перепачканным и ободраным. И я среди остервенелого птичьего щебета и редких вспышек маковой крови продолжаю карабкаться вверх — авось куда-нибудь да выберусь.

И тут среди ясного неба грянул гром, разом расколовший и небо, и землю. А за ним обрушился ливень. Ледяные струи секли бичами, но я не чувствовал боли, ибо уже скользил вниз по рыжему мылу, в считанные минуты обратившемуся в рыжий шампунь, и я уже лежал на брюхе, вбивши пальцы в ил и песок, а несущаяся с горы жидкая грязь молотила по мне камнями. Последний булыжник бухнул меня по темечку так гулко, что голова переполнилась звоном. Боли я не почувствовал, только звон, но все-таки понял, что вот-вот, сейчас меня оторвет и покатит — какие овраги и обрывы меня ждут внизу, я помнил смутно, но туда мне совершенно не хотелось. Я вырвал пальцы из грязи (меня тут же поволокло вниз), но, прежде чем мое тело успело набрать неуправляемую скорость, я ухватился за деревце на краю арыка и сумел выползти из остервеневшего потока на проросший кустарником склон. Цепляясь за кусты поближе к корню, переводя дух под деревьями, не замечая ни ледяных бичей ливня, ни жгучих скорпионов терновника, я карабкался и карабкался, пока не выбрался на большую поляну, откуда мне открылся исполинский крест, чья вертикаль напоминала железнодорожный мост, поставленный на попа. Но мне было не до крестов: оскользаясь по кипящей траве, я ринулся к скучному одноэтажному дому с выбитыми рамами. Ветхая деревянная дверь оказалась незапертой, и я, задыхаясь, ввалился внутрь.

Дом оказался без крыши и без пола, и у противоположной стены в совершенно сухой зеленой футболке стоял человек с прозрачной пластиковой бутылочкой в руке. Увидев меня, он набрал воды в рот и раздул щеки, чтобы прыснуть мне в лицо, как это делают гладильщицы, желающие увлажнить проглаживаемую скатерть. Да, Бандера был убит именно так...

* * *

Ночевали мы с моей начальницей службы безопасности на границе с Албанией на берегу необозримого горного озера в напоминающем фабрику плоскокирпичном византийском монастыре, под окошками которого всю ночь издавали пронзительные крики бесноватые, чью душу, невзирая на святое место, никак не желала покидать нечистая сила (крик петуха обратил их в царственных павлинов, попрошайничающих у кухни, словно простые куры). Я же попросил рыбу по-далматински: какая разница, с беконом, не с беконом — звучит интересно, это важнее всего. И пускай себе рыба пахнет копченой ветчиной — красивые звуки все перевешивают.

Виола не готова для звуков жизни не щадить, ей надо, чтоб было реально вкусно, но сейчас для нее главное, чтобы исламисты меня не отравили. Лишь когда синие дали и зеленые близи, необъятные просторы и каменные теснины, снежные языки вершин и вскипающие яблоневым цветом долины, сверкающие

солнечные заливы и черные ночные проливы наконец-то остались позади, — только тогда телохранительница согласилась выпустить мой рукав. Но и в Афинах, уже отстиранного, отглаженного и отдезинфицированного, она не отпускала меня буквально ни на шаг, то и дело разнеженно сокрушаясь: паразит, а не ребенок! И поглаживала меня по обнаженному и успевшему загореть предплечью: «Какие у тебя хорошенькие ручки! А шейка! Так бы и скушала!»

Город как город девятнадцатого века — это, конечно, не такое убожество, что век нынешний, и все-таки город как город есть город как город: если бы над нами не парил на скале Парфенон, сказочно прекрасный даже с перешибленным хребтом, я бы туда и вовсе не заглянул, несмотря даже на то, что в туалете здесь просят не бросать хартию в унитаз. Но сердце у меня сжимается при взгляде на храм храмов из-за того, что мы у его подножия когда-то побывали вместе с Ирккой...

Его легкость не была бы столь божественной, если бы в ней не ощущалось преодоление громадной тяжести, легкость без победы над тяжестью — легковесность. И когда поздним вечером — то темным парком, то сверкающей ресторанчиками улочкой — среди праздношатающейся толпы мы с Виолой обходили кругом священный холм, именно парящая стройность тяжести наполняла мою душу томлением восторга.

— Как это христианская вера победила греческую? — размышляла вслух моя пампушка, возбужденная родиной Сократа и Аристотеля. — У христиан же сначала не было таких храмов, правда, зайнка?

— Греция изображала загробный мир слишком страшным. Этого люди не прощают.

Мы уже не можем вспомнить, где мы видели кремацию кожи — умащивание кожи кремом, однако кремация меня тоже не забавляет. Развлекли меня только «мясные блюда» русского меню в увешенном косами перца и чеснока греческом ресторанчике: «соленая свинина со специями поддерживается в воздухе в кишечнике», «телятина проката с цементом», «надутые губы: жарить», «ароматические углеводороды с небольшим количеством муки в кастрюле»...

Свой квантовый пылесосик, чтоб не вводить похитителей во грех, я таскал за плечами в тинейджерском рюкзаке, а в ресторанчике не снимал его с колен: поставил на пол — значит забыл. И, может быть, это его близость позволила мне расслышать в ночном уличном шуме нарастающий рокоток, как будто мы со своими чемоданчиками пробирались к нам же самим сквозь праздничную толпу. А когда мы вышли к ней, рокоток обратился в самоходную инвалидную коляску, на которой подергивался бесноватый с совершенно гладкой головой, бледной и длинной, как надутый гондон — старшие мальчишки у нас на Паровозной не могли найти им лучшего применения, когда эти дефицитные изделия откуда-то попадали к ним в руки. Внезапно коляска вильнула и довольно-таки больно наехала мне на мизинец. Бесноватый был настолько потрясен своей неловкостью, что еще сильнее схватил меня за руку и, вымыкая по-видимому какие-то извинения, долго тряс, вонзив в меня свои когти, пока Виола не вырвала мою руку с такой силой, что мне сделалось совестно — нельзя же обижать инвалида. Он и замычал особенно страстно и, мотая длинной белой головой, словно не в силах примириться со случившимся, резко свернул в темный переулок и со стремительно слабеющим рокотком покатиł вниз от Акрополя.

Я потер намятое им предплечье, и Виола кинулась на него как тигрица:

— Ну-ка, покажи, что у тебя там?..

— Да ничего, ерунда, царапина.

— Как это ерунда?! У тебя же кровь!

Она оттащила меня к кустам и впиалась в мою ранку страстным поцелуем. Потом сплюнула, потом опять припала. Наконец, насосавшись и наплевавшись, она потащила меня в ближайший бар, где прополоскала себе рот порцией шотландского виски, а мне приложила компресс из пропитанного тем же виски носового платка. И после каждые пять минут спрашивала, как я себя чувствую, не поднялась ли температура, — на что я отвечал только одно:

— Умоляю!..

* * *

Моя самоотверженная охранница требует немедленно отправиться в Турцию морем из Пирея, из этого бетонного улья, над которым, однако, все еще носится эхо древнего имени, — самолет слишком легко взорвать. Но Эгейское море с его Спорадами и Кикладами меня страшит — мы когда-то пересекали его с Иркой из Чесмы, где нас позабавил памятник Каплан-гирею. А солнце и на Хиосе встает как у нас в степи — выдувается из моря багровый сплюснутый пузырь и начинает на глазах округляться, раскаляться, начиная с макушки...

И зачем мне на него смотреть, если его никогда не увидит Ирка, как никто больше умевшая петь миру хвалу в своем мудром детском сердечке!

* * *

И вот мы уже плывем над морем, лазурным как небо. И я вглядываюсь в него через иллюминатор до тех пор, пока до меня не доходит, что внизу тоже небо, в котором стынут белоснежные взрывы облаков. Небо вверх, и небо вниз — правы Подземные Дервиши, туда мне и нужно пробираться, в подземную высоту.

А потом открылся измятый лоскутный ковер всех оттенков рыжего — вот она, Анатолия.

* * *

«Barcelo» отель как отель. Роскошный, если вспомнить наши Дома колхозника. Рядом с отелем стекляшка — станция метро «Малтепе», возле стекляшки наклонен исполинский фаянсовый чайник, из которого поливают газон. От чайника одна улица, обсаженная густыми деревьями, ведет к центру, которого в сущности не бывает там, где нет старины, другая — к многоколонному или многопилонному мавзолею Кемаля Ататюрка. Памятники мы видели только ему. У нас был и Ленин, и Пушкин — у них, похоже, только Ленин. А единственные здания, стремящиеся к небу не ради экономии места, это минареты. Правда, и они, похоже, бетонные.

Моя неутомимая пампушка, взявши с меня клятву без нее не преступать порога и для надежности приковав меня двумя ядрами — одно называется «карпуз» (арбуз), другое «кавун» (дыня), — отправляется на автобус, однако напоследок защемляет дверью воздушную черную юбку до пят, которой она обзавелась из страха перед исламистами.

— Никому не открывай! — наставляет она меня напоследок.

И я, наконец-то оставшись один, отдаюсь моей тайной страсти — отсекаю мир наушниками и в трехтысячный раз погружаюсь в золотую реку «Каста дива» Марии Каллас. Но дивной красоты ее голоса мне мало, мне требуется еще и сеанс, как это называют уголовники: я запускаю на экране череду ее лиц, и даже не знаю, что меня околдовывает сильнее — голос или лицо. Глазам все-таки тоже кое-что открывается — другие глаза. К счастью, на этот раз Виола отсутствовала

так долго, что сеанс с Марией Каллас довел меня до изнеможения. И я даже начал скучать по своей толстушке. А потом уже и беспокоиться.

Включил телевизор. И здесь, как и всюду, музыку и пение стремятся вытеснить вспышками света, кривляниями, и все равно гений каких-то забытых Орфеев пробивается сквозь все ужимки и прыжки морозцем по коже. Похоже, только у нас тупицы сумели стереть и самый след веков подлинности...

Не понимаю только, зачем я среди них торчу? Почему не присоединяюсь к тому мраку, в котором растворились все, кого я любил и люблю? Этим я и свой Тадж-Махал сразу же вывел бы под крышу...

Однако вспомнил про исчезнувшую Виолу и перепугался не на шутку. Звонить что ли в полицию? И что сказать? Черная юбка, цветастая блузка, светлая стрижка под фиолетовым платком? Не надо впадать в панику, этим делу не поможешь. Но кончилось тем, что я таки в нее впал. Принялся каждую минуту припадать к темному окну, хотя уже знал, что разглядеть мне удастся лишь сияющее в прожекторных лучах Кале; затем я опустился до вышколенных турчанок на ресепшене — в полиции их обращение записали и обещали позвонить, когда что-нибудь выяснится, и мне стоило неимоверных усилий не теребить их каждые три минуты, — словом, когда Виола появилась в дверях с рукой на фиолетовой перевязи, я испытал такое облегчение, за которое отдал бы любое счастье — гора с плеч...

— Господи, милая, что с тобой?..

— Ничего, зайка, смещение сустава. И перелом лучевой кости, мне на рентгене показали, — она была бледная, осунувшаяся и растрепанная, однако, осторожно опускаясь на стул, старалась улыбаться и не выпускала из здоровой руки обсыпанный кунжутными семечками измятый бублик.

Ей почудилось, что ее преследует какой-то исламист в зеленой футболке, и она решила оторваться от него на светофоре: дождалась, когда все прошли, и уже на желтый свет кинулась бегом через улицу. Но, когда она была в шаге от тротуара, а машины уже ринулись вперед, она наступила на край своей фундаменталистской юбки и полетела лицом прямо в поребрик. Последнее, что она запомнила, — выставленную перед собой левую руку (в правой была сумка). А потом она уже ничего не понимала. Над нею склонялись какие-то усатые исламисты, что-то спрашивали, но она повторяла только одно: «Мне хорошо, не надо меня трогать, куда вы меня несете». Но потом появились еще два усатых молодых исламиста, которые принялись, невзирая на протесты, перекладывать ее на носилки, потом в какой-то машине ее начало подбрасывать, и она уже не могла удержаться от вскрикиваний, потом ее снова поднимали, разворачивали и вертели, пока она в конце концов не оказалась в каком-то зале, наполненном стонущими, раскачивающимися, окровавленными людьми, и тут уж ей стало больно по-настоящему. Сделайте мне укол, умоляла она, но к ней никто не подходил, только старичок со шваброй говорил ей какие-то ласковые слова, а потом принес ей бублик, который она продолжала сжимать, когда ей без наркоза вправляли локоть и эластичным бинтом приматывали к нему желоб, имеющий форму согнутой руки. А после не взяли ни лиры. И бесплатно доставили в отель.

— Почему же ты не позвонила?..

— А что бы ты мог сделать, зайныка? Да я и объяснить бы не могла, куда я попала. А главное — вдруг они бы подслушали? Может, они только и ждали, чтоб тебя выманить?

У нее были добрые губы. Но это что, главное — они были *теплые*. А рука — без нее можно и вовсе обойтись, я вполне готов ей что-то подавать, мне

не жалко. Вернее, именно что жалко. И я с такой нежностью помогал ей установить руку вертикально, зажавши ее меж двумя подушками...

А почему я в подполе, меня нисколько не удивляло, я и оттуда через откинутую крышку очень вразумительно растолковывал Ирке: это же несправедливо, что никто не знает, как я тебя люблю! Но она, неласковая, даже не смотрела в мою сторону, и не открывала глаз, когда я с наслаждением целовал ее в лоб — мягкий-мягкий и теплый-теплый, теплый-теплый, теплый-теплый, теплый-теплый...

И, проснувшись, я заспешил в ванную, чтобы даже и беззвучными содроганиями не разбудить мою горячую страдалицу, а уже там на крышке унитаза исщипал себя до синяков, но сумел-таки не подать голоса.

Однако моя несчастная толстушка все равно что-то почуяла.

— А я так желала тебе хороших снов!..

Держа забинтованную, как мумия, руку вертикально, будто просила слова, она стояла в дверях в мятой ночной рубашке, с запухшими глазами, с помятой розовой щекой и колтуном на виске, как у Ирки после запоев, и я не мог отвести от него благоговейного взора: ведь колтун это жизнь — чего еще можно желать? Вот Ирке не нужно было познать смерть, чтобы узнать цену жизни, она всегда умилялась всему живому. Помню, увидела рядом с детской площадкой длинного розового червяка, выползшего на асфальтовую дорожку после дождя, и прямо растаяла:

— Как хорошо, что есть червяки! Сидел, сидел и вылез просохнуть. Что-то тоже соображал, дай, думает, вылезу, погреюсь... Правда, жалко его — он же умрет...

— Почему — прогреется и уползет к себе обратно.

— Ну, тогда хорошо.

И вдруг до меня дошло, что эти червяки теперь возятся где-то рядом с ней...

Господи, да ведь и в ней самой тоже!!!

А еще и трепанация, у нее теперь какие-то пропилены в головке, прямо среди ее забиячливой стрижки...

Чтобы не завывать в голос, я принялся колотиться головой о черный кафель, но голова только наполнялась звоном — звон был, а боли не было. Моя перепуганная охранительница, что-то испуганно лепечет («заинька, зайнька!..»), пыталась подставлять здоровую руку, потом просунула сложенное вчетверо махровое полотенце — звон стал заметно глуше, а потом затих и спазм отчаяния, невыносимая боль сменилась отупением. Я снова опустился на холодную крышку и обмяк.

* * *

Когда нас разбудили радиофицированные стенания муэдзина, я не мог даже понять, спали мы или вообще не спали.

— Почему они поют в нос? — моя бедная толстушка была недовольна качеством вокала.

— Бельканто неугодно аллаху, молитва не опера, — пробормотал я, а про себя подумал: мы ведь слышим не ушами, а сердцем. Она слышит гнусавость, а я надежду и тоску.

Хорошо быть невыспавшимся, вялым, квелым — радости не чувствуешь, но и боли тоже. Вовремя наложенный Виолой мокрый компресс позволил моим ушибам остаться почти незаметными для глаз, но, что гораздо более удивительно, пальцам они тоже не откликались, голова полностью утратила чувствительность. Не беда, и без головы люди живут. Единственное, что я еще был в силах

ощущать — благодарность Виоле, которой я, казалось, должен был давно осточертеть, а она наоборот становилась лишь нежнее и заботливее со своей единственной действующей рукой. Поэтому за шведско-турецким завтраком у меня сил хватало не только на ее обслуживание, но и на игнорирование ее призывов посидеть спокойно, она-де все возьмет сама, сама намажет, сама облупит...

В номер мы вернулись вялые, но еще более сдружившиеся, и даже не особенно удивились, увидев там присевшего на узенький подоконник Пасынка Аллаха. Мы поздоровались за руку как старые друзья, но тон его был вежливо непреклонен: мы должны отправляться немедленно и притом с вещами, а расплатиться он уже расплатился. Виола тут же объявила, что одного меня никуда непустит, на что Пасынок Аллаха только усмехнулся, а я лишь в прохладном и просторном не то пикапе, не то микроавтобусе с задернутыми шторками, отделявшими нас и от улицы, и от водителя, сообразил, что означала его усмешка: Виоле бы никто и не позволил остаться. Я попросил раздвинуть шторы, и Пасынок Аллаха со снисходительной улыбкой через плечо (это была машина-трехрядка) нажал какую-то кнопку, и мне открылось, что мы едем по гористой, но чрезвычайно ухоженной стране. Каждый косой лоскут, свободный от скал, был возделан, двухэтажные кирпичные дома редких фермеров были возведены без выдумки, зато чисто и добротно. Таким же промелькнул и поселок, сквозь который мы промчались — я успел лишь заметить, что женщины там ходят в лиловых платках и полувоенных наполеоновских сюртуках с блестящими пуговицами.

Внезапно меж невысоких гор открылось огромное озеро, отливающее странным холодным блеском; недалеко от берега в нем плавал кругленький игрушечный вертолетик. Мы затормозили у самой береговой линии, и Пасынок Аллаха, сделав нам любезный, но властный приглашающий знак, пошел к вертолету по воде, аки посуху, и я понял, что перед нами пересохшее соленое озеро. Я взял из машины только тинейджерский рюкзачок с земным фонендоскопом; о прочих вещах мы даже не вспомнили. Места в вертолетике у нас с Виолой были сзади; чтобы заглушить волнение, я хлопотал, ее усаживая и пристегивая, явно сверх необходимости. Я никогда не летал на такой маленькой машинке, и чувство меня охватывало, будто я лечу сам, а выпуклые стекла, меня окружающие, это что-то вроде одежды, и когда мы время от времени ухали в воздушные ямы, сердце екало исключительно от предвкушения. Сквозь мой азарт до меня было не пробиться даже Виоле, в опасные минуты до боли стискивавшей мое предплечье своей единственной рукой: мне казалось, она и тут боится меня потерять.

Сонливость, вялость — казалось, я прошел через них года три назад.

Тень вертолетика, то съеживаясь, то вновь расправляясь, ныряла внизу по горам, по долам, пока перед нами не открылось безжизненное пространство, охваченное окаменевшими языками серого пламени. Некоторые языки были источены, как термитники, другие напоминали не то куклуксклановцев в серых куколях, не то укрывших лица инквизиторов. Видите, сверкая птичьими глазами и грозя ястребиным профилем, прокричал через плечо Пасынок Аллаха, легко перекрывая своим носовым тенором рокоток двигателя, мы называем эти скалы почками Земли, Земля тоже тянется к небу, и когда эти почки расцветут, Земля и Небо соединятся. Но некоторые пророки говорят, что это не почки, а сосцы Земли, ими питается Небо, и эти сосцы давно пересохли, Земля отказывается кормить Небо, которое ее презирает.

А я вдруг увидел внизу острые хребты окаменевших косаток...

И на единственном здесь круглом холме еще и невесть откуда взявшегося верблюда, уронившего в белую пыль длинную, как у бронтозавра, шею. Верблюд даже не шелохнулся, когда от ветра, поднятого нашим винтом, не только взвилась пыль, но и пробежала волна по его свалывшейся шерсти, тут же отрезанной от наших глаз белой пыльной завесой. Мы вывалились в эту жаркую муть, пахнущую известкой, и вертолетик немедленно взлетел, удвоив ее непроглядность. Мы двинулись сквозь белую взвесь, держась за руки и шурясь, стараясь, однако, не терять из виду зеленую футболку проводника. Задыхаясь от жары, мы куда-то карабкались по грубой штукатурке, по ней же семенили вниз (я все время то тянул Виолу за собой, то поддерживал ее за исправную руку), протискивались в горячие каменные щели, потом снова карабкались и семенили, пока не оказались на белой каменной полянке, окруженной исполинскими языками серого каменного пламени. Ослепительное солнце пекло без жалости, и жар стоял как в духовке.

Пасынок Аллаха был таким же пыльным и потным, как мы, но смотрел и говорил торжественно.

— Это лоно Земли, — широким жестом он показал на каменную щель, и оттуда пахнуло прохладой.

Я думал, нам придется куда-то прыгать, но спуститься в каменные губы оказалось не труднее, чем в подпол. Я и руку-то Виоле протянул больше из вежливости, но она впервые не воспользовалась возможностью ко мне притронуться — с этой минуты каждый был погружен в собственный мир.

Я не замечал прохлады, я только перестал чувствовать жару. И после ослепительного солнца почти ничего не видел, пока в руке Пасынка Аллаха не вспыхнул желтый факел, наполнивший подземелье запахом горящего янтаря. Наш подземный путь на каждом шагу ветвился, и каждая ветвь ветвилась снова и снова, временами вновь вливаясь в то же самое русло, от которого только что отделилась, — докуда доставало своим светом мечущееся от дыхания недр пламя, виднелись сплошные грубо вытесанные колонны и перемычки, казавшиеся скелетом Земли.

Наконец перед нами открылась черная бездна, охватить которую своим светом наш факел оказался не в силах, — мы с Виолой, не сговариваясь, прижались к холодной стене: площадка, где мы остановились, не была отделена от тьмы никаким барьером. Но стоило нашему вождю взмахнуть своим факелом, как от него побежало огненное кольцо, замкнувшись в двух шагах от нас. Запах горящего янтаря теперь пронизывал до самого сердца, а свет стянул бездну к размерам цирковой арены — мы оказались под каменным куполом.

Зазвучала музыка, вроде той, какой факиры околдовывают змей, и мы с Виолой, опять-таки не сговариваясь, без всякого страха шагнули к каменному краю. Внизу из черной пещеры на арену потекли Подземные Дервиши в белоснежных рубашках-юбочках и шапках, похожих на перевернутые цветочные горшки; указывая одной рукой на земную глубину, а другой на каменное небо, они закружились по арене с закрытыми глазами, словно погруженные в глубокий сон, но ни один из них ни разу не столкнулся с другими и не натолкнулся на стену. Оцепеневшие, мы не сводили с них глаз, забыв о высоте под ногами и о глубине над головой.

Не могу сказать, как долго это продолжалось, но они кружились и кружились, покуда из нашей памяти не стерлось все, что мы когда-либо видели и слышали, и лишь тогда Подземные Дервиши, так и не пробудившись, снова потекли в свою черную пещеру, и к нам понемногу вновь начало возвращаться понимание того, что мы находимся в каком-то диковинном подземном царстве.

Понимание возвращалось, но удивления уже не было, — факелы, арена, подземный холод, неровный каменный купол — все это казалось окружением самым естественным.

— Слушайте! — Пасынок Аллаха в своем подземном царстве распоряжался по-королевски. — Мы считаем, что здесь бьется сердце Земли! Слушайте!

Колеблющееся пламя факелов придавало его облику нечто сатанинское, но холодный камень он погладил тем же самым нежным движением, что и мой хромой Вергилий из царства плутония. Я приложил мембрану к влажному камню и по памяти запустил настройку. Я скользил вверх и вниз по всему спектру, но на всех частотах стояла мертвая тишина.

Но нет, послышалось что-то вроде лесного шума... И сквозь него далекий-далекий колокольный звон. Я оторвался от стены и встретился с пламенеющим взглядом Пасынка Аллаха и встревоженно мерцающими глазками Виолы.

— Я должен остаться один, мне нужно сосредоточиться, — твердо объявил я и двинулся по той же галерее, по которой мы сюда пришли.

Оставшись один в почти полной темноте, я снова приложил мембрану к камню и напряженно вслушался. Нет, все те же неясные отголоски.

И вдруг... И вдруг я холодея различил еле слышный женский голос. Я окаменел от напряжения и ужаса, лишь слегка тронутый надеждой, — тут же обратившейся в ликующую уверенность: это был голос Ирки! Она звала не на помощь, она просто звала меня к себе. В ее голосе звучал не страх и не страсть, одна лишь бесконечная нежность и беспокойство за меня, как будто это не она, а я где-то заплутал, правда, не в очень опасном месте. Да, точно, мы так перекликались, когда ходили за грибами.

— Ирочка! — изо всех сил закричал я, но голос мой не слушался меня, и тогда я бросился в то ведущее в глубину ответвление, которое еще можно было разглядеть при отсветах факелов.

Там я снова прижался мембраной к камню — кажется, Иркин голос прозвучал чуточку отчетливее, хотя слов по-прежнему было не разобрать, — но что могут передать слова! Я принялся метаться с мембраной от стены к стене, из норы в нору, то и дело ударялся головой о камень, но боли не чувствовал — звон был, а боли не было. Зато вместе со звоном крепнул и крепнул зовущий голос — пока я наконец не почувствовал, что фонендоскоп мне больше не нужен. Я и скинул его с плеч вместе с тинейджерским рюкзаком и в полной темноте прекрасно расслышал сквозь звон, как хрустнул под ногой один из наушников. А заодно я расслышал и отчаянные крики Виолы: «Зая, зая, стой на месте, мы тебя найдем! Миленький, не уходи далеко, ты заблудишься, стой на месте, миленький, родной!»

Но мой слух тоже утратил чувствительность к этому зову земли: любовь сильнее жизни. И тогда земля пустила в ход самое мощное свое оружие — по каменным пустотам разлился божественный голос Марии Каллас. Золотые ручки «Каста дива» текли мимо, разливаясь все глубже и шире, но ничто земное уже не могло тронуть меня. Ирочка, милая, я иду к тебе, беззвучно кричал я, зная, что и она меня слышит. А ее голос сквозь колокольные звоны в моей голове раздавался то ближе, то дальше, то левее, то правее, но каждый раз все глубже и глубже, и я, смеясь от счастья, знал, что эта игра в жмурки рано или поздно ей наскучит, что рано или поздно я ее настигну.

Ветер с Гудзона

*Антология современной русской поэзии Америки**

С публикации антологии современной русской поэзии Америки «Ветер с Гудзона» журнал «Дружба народов» начинает масштабный проект.

Литература русского зарубежья — это живая ветвь генеалогического древа великой русской литературы. Общие корни — культура и язык — делают нас понятными, интересными и близкими друг другу, при том что творчество наших соотечественников, учитывая впитанный опыт и состояние современной русской словесности, не копирует их, но — наоборот, предлагает свои модели, разрабатывает иные варианты в созвучии с даром и судьбой, столь по-разному у каждого складывающейся.

Антология — особый жанр, и составитель призван дать точный литературный срез, наиболее характерный для своего времени и места.

*Галина КЛИМОВА,
зав. отделом поэзии журнала «Дружба народов»*

В представленных специально для «Дружбы народов» поэтических подборках — произведения испытанных мастеров поэтического цеха, стихи более молодых или менее известных авторов. Стихи говорят сами за себя, и здесь не место анализу или дискуссии по извечному вопросу: существует ли отдельная поэзия русской диаспоры или все это — единый русский литературный процесс. Судить об этом читателю.

К сожалению, здесь представлены не все поэты русской Америки. Как в любой антологии, выбор авторов и стихов субъективен. Сюда вошли поэты — в полном смысле этого слова: дарование, судьба, опыт, профессионализм. Среди них авторы, много лет живущие и создающие стихи за рубежом, чья жизнь связана с американской культурой и повседневностью. С моей точки зрения, это обстоятельство не может не откладывать отпечатка на творчество, и необязательно по тематике, географии или по необычному использованию русского языка. Одно важно подчеркнуть: это — талантливо, интересно и своеобразно.

*Андрей ГРИЦМАН,
главный редактор журнала «Интерпоэзия», Нью-Йорк*

* Журнальный вариант.

Продолжение антологии — в «ДН» № 7, куда войдут стихи И. Машинской, Ф. Николаева, Х. Ольшванг, Д. Паташинского, Н. Резник, Г. Стариковского, А. Стесина, Е. Сунцовой, А. Цветкова, В. Эфроимсона.

Рита Бальмина

Родилась в 1958 г. в Одессе. Окончила Харьковский художественно-промышленный институт. Автор нескольких книг стихов. В 1990 г. эмигрировала в Израиль, с 1999 г. живет в Нью-Йорке.

9 мая

Поскольку жизнь не стоит ни гроша,
Вдоль Млечного Пути мычат коровы,
Они идут — обречены, суровы —
Созвездья сокрушённые кроша.

Но надо всем — кровавый знак Тельца,
И вой войны и вонь — на бойне смрадно,
И путается в нитях Ариадна,
И окружённым не прорвать кольца.

Кто гонит их бессмысленно и грубо?
Чей хлыст свистит: скорей, скорей, скорей?
Никто в лицо не знает мясоруба,
Никто не видел звёздных алтарей.

И миной в Лабиринте — Минотавр,
А пьяных победителей ватага
Стреляет вверх сквозь опаленный Тавр
В провалы звёзд над решетом рейхстага.

* * *

Это просто Нью-Йорк и ноябрьская стылость,
Это просто полтинник уже «на носу»,
И небесная твердь прорвалась, опустилась
На плечо, на котором ребёнка несу.

Он устал и уснул, шепотной почемука,
Я от стужи его прикрываю рукой.
И не крест, но крестец и крестцовая мука,
Мой последний шедевр, невербальный такой.

Что писать? и зачем? После Вертера — ветер,
После Бродского вброд сквозь бурлящий Бродвей.
Озаряется вспышками Верхний Манхэттен,
Подколёсной водой обдаёт до бровей.

Это просто Нью-Йорк, ноябрь декорации...
Как бы мокрым зонтом от борея отбиться и
На прокрустову лажу второй эмиграции
Положить отсечённые ею амбиции?

Заря коммунизма

Прости-прощай, угрюмый бог заката —
Империи багряная заря.
Ржавеют безымянные солдаты
Над грудой мёрзлого инвентаря.

Но сказок детства не похоронить.
И больно сердце дёргает за нить
Простая дунаевская запевка.

Вокруг дрова, распилы и откаты,
И братьев брат ограбил втихаря.
Как дверца от манды твои мандаты
И монстры демонстраций Октября.

И снова снов узорчата финифть:
Отряду октябрят не изменить,
Где аленький флажок держу за древко.

Александр Вейцман

Родился в Москве. Закончил Гарвардский и Йельский университеты. Переводит на русский и английский. В США с 1990-х гг. Живет в Нью-Йорке.

Battery Park City

Вода, вода, как страх и прах, — везде.
Душа уходит в пятки, взгляд — к звезде.
И месяц освещает тьму ладони.

По набережной бродит Гумилев,
ход дум добавив к ходу облаков,
а шепот — к тишине потусторонней.

И под, и над, и вне, окрест — вода.
Немного волн. Немного рыб. Немного льда.
Гармония закончится дуэлью.

И Гумилев, отстукивая шаг,
как будто ямб, воображает, как
жмет руку гражданину Коктебеля.

И он ее пожмет, когда вдали
появится рассвет и громко «пли!»
воскликнет молодой красноармеец.

Затем бесшумно вырвется «Аминь!»
Затем исчезнет всё, включая жизнь.
И соскользнет с ладони влажный месяц.

East Village

Вот Пушкин пишет ровным ямбом, что «иных
уж нет, а те далече».
Вот Сталин думает опять на «Турбиных»
сходить в свободный вечер.
Вот Рихтер в Зальцбурге играет «ХТК»,
а Моцарт в птичьей гамме
летит, попутно рассекая облака
и плачет с облаками.

Пойдём на ужин, милый друг, и вспомним всех,
кто упомянут выше.
Ты им писал когда-то письма — что не грех,
а способ выжить в нише.
Возможно, таинство души и ремесла
хранит не речь — бумага,
как часть той силы, что желает вечно зла,
но совершает благо.

Янислав Вольфсон

Родился в 1953 г. в Смоленске. Окончил медицинский институт. Работает врачом. В 2003 г. в издательстве «О.Г.И.» в Москве вышли книги его стихов и прозы. В США с 1990 г.

* * *

Его прижали в тупике,
кинжал приставили к щеке,
и самый главный прошептал:
— Твори молитву!

тогда стоял бы я не здесь,
ночную взбалтывая взвесь,
а может, вправду и всерьёз
творил молитву.

Он усмехнулся в полутьме,
и вот что было на уме:
когда бы в самом деле мог
творить молитву,

А то, что так я и не смог
за долгий век и краткий срок
ни разу в этой тесной мгле
творить молитву,

и заменить прибое шум,
и в полнолуние голос лун,
и тем, кто сеет и поёт,
клочок молитвы,

не солонило, не кляло,
а просто на сердце легло,
как этот окрик, и клинок.
— Творить молитву?

* * *

повисшему в ветвях блуждающего нерва
звоните ноль-один огонь бушует в недрах

просвечивает вся телесная обложка
звоните же ноль-три пусть едет неотложка

пускай накатят все поэтову глазеть
а соловью петь до утренних газет

а белкину стоять и ветры испускать
среди учеников собравшихся внимать

напрасно ты читал писателя М он тень
он просто важный тент над этим и над тем

он в силах размышлять и видимо потеть
как нижнее бельё чтоб виден был подтекст

ты чаще уши мой и свет в окне гаси
и носом землю рой и валидол соси

а то что нас роднит нас скоро поразит
как этот паразит что ноль-один звонит

Река Чарлз

Если б мои родители были живы,
Я бы взял их с собой покатать на лодку
По спокойной реке, простой, не широкой,
Под парусиновым парусом треугольным.

Река бы текла, постепенно теряя жилы,
Тяжелую воду лелея как легкую водку,
И отведенному нам смехотворному сроку
Присуждалась бы тут же отсрочка произвольно.

Ветер угас, а закат разгорелся, запрет нарушив,
Изучивши названия разных веревок в домах повешенных,
Правым бортом я развернулся бы к ложной суше,
Покидая время и место и прочие сложные вещи.

В ножных кандалах безмолвия и безветрия,
Запоминая каждую шестнадцатую нападающей тени,
Мы бы сидели, как двоечники на геометрии,
Не оглядываясь на накапливающееся пени.

И говорили бы о таинствах перемещений,
И о том какие и где расположены дали,
И я бы просил у них за что не успел прощений,
И они бы мне их величественно даровали.

Так бы хотел провести оставшиеся минуты,
Думаю я, сидя под парусом неподвижным
Легкой лодки, которой правит мой сын, как будто
Уже отказавшись от правил книжных.

И закат превращается в тяжелую воду ночи,
И противоположный берег уже не виден,
И страх, которым мой карандаш заточен,
Уступает место вечности, как инвалиду.

* * *

Стой, кто такой?
— Я, постовой...
— Будь понятой!
— Всегда понятой

клич боевой
ключ золотой
будь понятой
всегда понятой

смог над москвой
не смог над невой
будь понятой
всегда понятой

был запятой
стань запятой
будь понятой
всегда понятой

стал на постой
клячей литой
будь понятой
всегда понятой

Бывшей одной
части шестой
будь понятой
— Всегда понятой!

Владимир Гандельсман

Родился в 1948 г. в Ленинграде. Лауреат «Русской премии» (2008). С 1991 г. живет в Нью-Йорке.

* * *

завёрнутая в одеяло
кастрюля варёной
задохшимся жаром пылает
за дверью слегка притворённой

ждёт после работы
ещё носоглотки лечение над паром
ещё с боковой застёжкой боты
сырым тротуаром

ноябрьским и день рождения
и левитановы обращения
картофельный бело-рассыпчатый сон
жизнь я потрясён

внимание твоё скрупулёзно
столь близкую даришь
мне встречу с кем розно
и в памяти шарிшь

и там обещанье
находишь такое
как медленное обнищанье
календаря отрывное

как если бы помнил оттуда
сегодняшний день
задохшимся жаром пылает причуда
и замертво падает тень

Разворачивание завтрака

Я завтрак разверну
между вторым и третьим
в метафору, задев струну,
от парты тянущуюся к соцветьям

на подоконнике, пахнёт
паштетом шпротным,
иль докторской (я вспомню гнёт
учебы с ужасом животным:

куриный почерк и нажим,
перо раздваивается и капля
сбегает в пропись, — недвижим,
сидишь — не так ли

и ты корпел, и ручку грыз,
и в горле комкалась обида,
товарищ капсулей и гильз
и друг карбида?),

я разверну, пока второй урок
не слился с третьим,
свой завтрак, рябь газетных строк
гагаринским дохнёт столетьем,

кубинским кризисом своим
пугнёт, и в раме,
дымком из бойлерной кроим,
зажётся Моцарт в птичьем гаме.

(Куда всё это делось? — вот
развёртыванья всех метафор
моих и памяти испод,
и погреб амфор.

Я вижу маму, как мне жаль
её (хоть болен я), и вдруг, в размерах
уменьшившись, уходит вдаль
и, крошечная, в шевеленьях серых,

сидит в углу, тиха.
Тогда-то, прихватив впервые,
как рвущейся страницы шороха,
шепнуло время мне слова кривые).

Теперь давай доразверни
свой завтрак. Парта.
Дневного света трубчатые дни
в апреле марта.

Болезнь

В той лампа есть ночи,
в той лампа
ночи горящая.
Машинка «Зингер», стрекочи
в столовой слабо.
Тряпье пропащее.

Там и соткется вдруг
из света,
из света желтого,
как бы замедлив скорость, звук
тоски, и это
тоска животного.

Урчанье, шорох, страх,
по трубам
водопроводная
тоска с захлебом, впопыхах,
как мышь по крупам,
мне соприродная.

Там в горле я комком,
там в горле,
в слезливой жалости
к себе, свернусь. Пылает дом,
и жар растерли.
Из этой малости:

любви, и жизни, и
болезни, —
когда закончатся
все три, свой свет себе верни
и в нем воскресни.
Строчи, пророчица.

Под лампой руки, блеск
челночный,
ушко игольное,
тряпье пропащее, и треск
тот полуночный,
тоска продольная.

* * *

Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую несрочную весну...

Е.А. Баратынский

Когда я поворачиваюсь набок
и вижу в полусне тахту и пару тапок
под ней, и на тахте отца,
как он лежит, вдруг всхрапывая, в той же позе,
что я, когда в подушку пол-лица
вмяв, руки на груди скрестив, когда, как в прозе,
я в сумрачную комнату вхожу,
в деепричастном полуобороте
его запоминая, и вожу
пером по белому листу, темнеющему вроде
окна, где снег и небо пополам,
и день кончается и гаснет по углам,
когда, почувствовав мой взгляд
или услышав половицы
скрип, он проснётся, невпопад
почти что крикнув со страницы
«Что?» — «Ничего», ответу, спи, мне это снится.

Дана Голина

Родилась в 1966 г. в Риге. В США с 1980 года. Окончила Нью-Йоркский университет. Работает психотерапевтом. Живет в Нью-Йорке.

Новая Ева

1

Окунаясь в рассвет как в купель
телом, днём примеряющим имя,
покидаю чужую постель
и, как Лазарь, встаю меж живыми;

каждый раз из другого ребра
сотворённая, вечным пробелом
остаюсь, ночью все перебрав
из смертей, уготованных телу,

телом свежеотлитым, ещё
не пригодным для жизни при свете,
(хоть уже его опыт прощён
и распад предстоящий заметен)

лишь примерно совпав впопыхах
со вчерашним своим силуэтом—
новым мастером лепленный прах,
гончаром предыдущим отпетый;

и чтоб преданный прах не взроптал
под ладонью, формующей глину,
жмут на всём протяженьи хребта
скобы, прямо держащие спину.

2

Скоротав свои дни за шитьём—
прошивая пустые страницы,
ни усердьем своим, ни чутьём
не сумев прокормиться,

проживаю наследство—аванс
от немислимых внуков,
дав потомкам томящимся шанс,
стенки клеток простукав,

отыскать потайные ходы
в чрево, с чёрного хода,
чтобы вывести вектор беды
да на чистую воду,

в ностальгии своей золотой
по Эдемским болотцам.
Тут не хватит на миф, но зато
на судьбу наберётся.

Андрей Грицман

Родился в 1947 г. в Москве. Окончил 1-й медицинский институт. Автор 10 книг на русском и на английском. Основатель и главный редактор журнала «Интерпоэзия». В США с 1990-х гг., работает врачом. Живет в Нью-Йорке.

* * *

Хотя и отплывает далеко
Значение последних слов, последних,
Рассветное густое молоко
Застывшим эхом наугад ответит.

Так в полусне, стараясь слышать звук,
Приподнимаешь голову и видишь:
Ты не один, и на подушке знак,
Оставленный тобой, когда ты выйдешь.

И я проснусь, найду ключи, кiset,
Билеты, паспорт, твой блокнот заветный.
Перед дорогой надо бы присесть
И выйти в дверь навстречу неизвестной.

* * *

Пусть голос мой с тобой живёт,
Заходит в магазин, на почту,
Летит по жёстким виражам.
Сквозь звуковую оболочку
Кардиограммой русской речи
К тебе я возвращаюсь сам.

Так голос — дудкой Крысолова —
Ведёт сквозь ворох дел и бед
Туда, где встретимся мы снова.
В пространстве исчезает слово,
Взлетев вначале где-то слева.
Слов тёмное густое олово
Останется в твоей судьбе.

* * *

Остановка в пустыне на семьдесят лет.
Осыпается быт, потускнели
чёрно-белые фото и горстка монет
и стоят безучастные ели.

Заметает позёмка в пургу на восток
и на запад летят самолёты.
На Вест-сайте — и Броды, и Белосток,
по вокзалам прощается кто-то.

И колеблется пламя субботних свечей,
тлеют молча в подвалах мундиры.
Этот город родной — оказался ничей:
проститутки, барыги да воры.

Позовут на посадку — последний полёт,
он всегда до скончанья последний.
«Он, простите, давно уже тут не живёт,
он уехал, ничей не наследник».

В местах тех давно уже ничего.
Только ждёт он себя и поныне
там, где справки дают, — там «переучёт».
Лет на сто — остановка в пустыне.

* * *

Я смотрю в окно рассеянно долго
То солдаты пройдут, то дождик мелкий
То соловей-разбойник по делам проедет
Прошагают к оврагу тихие дети.

Где-то мой брат за кордоном маячит
Единственная, не найдя меня, плачет
На ничейной земле спит безмолвная хвоя
Только теперь я понял что нас было двое

Стою отраженьем в окне полигона
В крайнем доме на улице блудного сына
Я бы так хотел домой к тебе возвратиться
Чтобы снова не знать куда мне там деться
Только из памяти стёрлись все лица
И сон этот канул во время оно.

Владимир Друк

Родился в 1957 г. в Москве. Один из создателей Московского клуба Поэзии (1986). Окончил МГПИ и аспирантуру факультета интерактивных коммуникаций Нью-Йоркского университета, специалист по информационной архитектуре. Дипломант премии «Московский Счёт» (2009). С 1994 г. живет в Нью-Йорке.

* * *

А. Г.

два глотка до сан-диего	и высокими стихами
три затяжки до Эйлата	стюардессе говорим
мы гуляем вдоль гудзона	
нам озона маловато	дорогая стюардесса
	опа-дрица-оп-цаца
маловато нам озона	поверните-ка в Одессу
	принесите-ка винца
но зато такие дали	поверните-ка в одессу
но зато такие цели —	в лондон рим иерусалим
	мы летаем мы взлетаем
словно мы уже поддали	мы летаем мы летим
словно мы уже взлетели	
	а она не понимает
словно мы над облаками	и наверно не поймёт
в самолётике парим	для чего же мы угнали
	этот белый самолёт

Columbus circle (подземный музыкант)

уж если умирать — то только здесь
на фирме звукозаписи нью-йорка
на клавишах сабвея или в парке
на лавочке, на ниточке, но — весь...

уж если умирать — то умирать
взаправду, нелегально, без билета
искусство называть и зазывать —
далёкий звук небесного кларнета

арендовав красивый кадиллак
в последний раз по длинному бродвею
проехать

нынче не играют так
хотели бы да просто не умеют

арендовав мелодию, пиджак,
хоть не богатым, но почти евреем
в последний раз по белому бродвею
а главное — задаром, просто так

уж если умирать — то умирать

потеряны и лодка и весло
наверное, нас ветром отнесло

что с нами стало? то же что и было —
наверное, нас ветром отнесло,
как пыль дорожную к обочине прибило,
какое это место и число?

шипит, шипит железная игла
музыка поднебесная играет
и кажется никто не умирает
хотя конечно всё же умира...

всё включено в счета
букашка на челе
и ты лежишь вот так
как микрофон в чехле

* * *

Человек погибается от пустяка,
как от куклы отламывается рука,
и об этом Толстой с убедительной силой
рассказал, написавши Иван Ильича.
Там столы и комоды стоят вокруг могилы,
сослуживцы не видят, как слёзы текут,
и напрасно на цыпочках ходит верзила,
заложивши за пояс закрученный кнут.
Так откуда тогда этот свет на прощанье?
Что изменит он в мире, где ужас и хлад,
где жена уже смотрит пустыми глазами,
просит морфий испить? Если этим назад
пустяком бесполезным, бей, боль, ниоткуда
говорите ему только правду в глаза,
иль верните Ивану надежду на чудо...
А вот этого — боль отвечает — нельзя.

Катя Капович

Родилась в 1960 г. в Кишиневе. Автор нескольких книг на русском и на английском языках. Лауреат премии Библиотеки Конгресса США за книгу английских стихов 2004. редактор англоязычного поэтического ежегодника Fulcrum. В США с 1992 г. Живет в Кембридже (США).

* * *

Как густы развешенные тени,
как прозрачны золотые лица.
в Лейдене увидел небо гений,
а в Антверпене успел напиться.

В Амстердаме в дом сходил публичный,
а потом пошёл к прекрасной даме,
нежно обнимал её руками,
юный лоб старательно набычив.

Вы, сказала, совесть позабыли,
мы, сказал он, силы тьмы попрали,
даром что в Антверпене кутили
среди голых баб и всякой швали.

И, когда он в городе болотном,
где мосты свисают, как браслеты,
проходил по уличным полотнам,
он не корчил из себя эстета.

И недаром так его любили
лодочники с пьяными глазами,
потому что золото от пыли
отличают в добром Амстердаме.

* * *

Мало мне на свете весить,
бегать мне по часовой,
не иметь других поветрий
кроме музыки одной.

Там, на даче загородной
андрогин, акселерат...
Что за клоунский наряд?
Это я сто лет назад.

Друг, садовая латынь,
хоть убей, мне не давалась,

пока в склянки не сливалась,
ставши спиртом золотым.

А теперь я валерьяны,
корень ласковый пою,
уж не сыплю соль на раны,
расстравляя жизнь свою.

Вижу небо, звёздный тир,
бормочу пустые строчки,
но я втайне знаю: мир —
в концентрации и в точке.

Бахыт Кенжеев

Родился в 1950 г. в Чимкенте. Окончил химфак МГУ. Один из учредителей поэтической группы «Московское время». Лауреат премий «Антибукер» (2000), «Москва-транзит» (2003), «Русская премия» (2008). С 1982 г. — в Канаде. Живет в Нью-Йорке.

* * *

Я почти разучился смеяться по пустякам,
как умел, бывало, сжимая в правой стакан
с горячительным, в левой же нечто типа
бутерброда со шпротой или солёного огурца,
полагая, что мир продолжается без конца,
без элиотовского (так в переводе) всхлипа.

И друзья мои посерьёзтели, даже не пьют вина,
ни зелёного, ни креплёного, ни хрена.
Как пригубят сухого, так и отставят. Морды у них помяты.
И колеблется винноцветная гладь, выгибается вверх мениск
на границе воды и воздуха, как бесполезный иск
в европейский, допустим, суд по правам примата.

На компьютере зимний шуберт. Окрашен закат в цвета
побежалости. Воин невидимый неспроста
по инерции машет бесплотным мечом в валгалле.
Жизнь сворачивается, как вытершийся ковёр
перед переездом. Торопят грузчики. Из-за гор
вылетал нам на помощь ангел, но мы его проморгали.

* * *

Муравейные мы зверьки — что ни увидим, всё в норку тащим,
переполненную добром, как грешниками несуществующий ад.
Переливается жемчуг, слишком крупный, чтоб быть настоящим.
В Венеции наводнение. В Нью-Йорке лесбийский парад. В Буэнос-Айресе взгляд

красотки Эвиты, весёлой вдовы, преследует меня с фасада
министерства порядка. На новгородском снегу индевет заря.
Накатался, нарадовался. Запомнил даже тонкорунное стадо
тучных овнов (тоже ведь люди) в горах Тянь-Шаня. Из этого инвентаря

хорошо бы теперь выбирать, насытившись днями, всё, что душе угодно.
Только ей, голубушке, не до старья. Привередлива и свободна,
хочет — волчицей воет, хочет — хохочет, а то и вообще изменяет мне,
и, разметавшись, порой пророчит, но чаще похрапывает во сне.

* * *

В один чудесный день проснусь
(читай, в гробу перевернусь),
небесный гром, сигнальный выстрел
услышав, песенку спою
о щастии в родном краю,
об извивающейся Истре

среди побитых молью дач
и заливных лугов. Не плачь:
печальна, но не интересна
смерть. Время, древний душегуб,
играет в кости, варит суп,
не возвращается на место

былых злодейств — но в этот день
воскреснут кегли, дребедень
мальчишеская, руки-крюки
расправятся. Отставив грусть,
сердитым соколом взвьюсь
к зениту, по иной науке

существовать (да, не такой,
что бардов старческой тоской...) —
и пронесусь по невесомым
проёмам в тверди (утро, хмель) —
как вербой пахнувший апрель,
что никому не адресован.

Григорий Марк

Родился в 1940 г. в Ленинграде. Автор четырех книг стихов и трех книг прозы. Живет в Бостоне.

* * *

Молитва была, как спасительный шест,
как гибкий луч света в руках акробата.
С глазами закрытыми шёл по канату.
Любое движенье, неправильный жест —
один только жест — и сорвётся куда-то

в опилки, пропахшие потом коней.
Канат под ногами был тоньше, чем волос.
Но он равновесье удерживал. Голос
скользил по молитве, качался на ней.
Он шёл, и вокруг его светлая полость

во тьме расширялась. Светящийся мрак
стекал на притихшую публику в зале.
Осталось недолго. Он чувствовал, как
тяжёлые крылья в спине прорастали.

* * *

Наконец рассвело.
Пузыри моих снов
проплывали опять.
Перед тем, как исчезнуть,
облепляли лицо
всплески мокрых шлепков,
расцветавшие пятнами
сонной болезни.

Отовсюду шёл свет,
заполнял окоём.
И стихи — те, которыми
было кочевье
оживающих листьев
на кронах деревьев, —
обведённые солнцем
стихи за окном
нужно было прочесть.

Я разглаживал взглядом,
перелистывал бережно
каждый листок.
Мой безжизненный голос
звучал где-то рядом.
Повторяя себя,
отдавался в висок
истончавшимся ритмом
деревьев поющих.

Был зелёным по синему
выверен точно
контур веток, прогалин,
торчащих листочков —
весь узорчатый ритм
кверху рвущейся куши,
где за краем стиха
небизна начиналась.

* * *

Рано утром душа в своей влажной берлоге
просыпается, от удовольствия ёжась,
и бормочет, свернувшись калачиком. Строго
мельтешит в темноту переливчатой кожей:
вяжет музыку из мельтешенья, дорогу —
длинный жизненный путь, перевитый тревогой.

Отпечатки настойчивого бормотанья
проступают на ней, возле самого края.
Разрастаются вширь, обретают звучанье
и мерцание смысла: в тебе созревает
то, что станет словами, — прелюбодеяньем
возбуждённого голоса с голой гортанью.

* * *

Сарай-общежитие. Бывший колхозный коровник.
Теперь в нём живут позабытые Богом слова.
Два длинных, худых мужика на растопку дрова,
склонясь над поленицей рифм, выбирают любовно.
И тот, что постарше, витийствует голосом ровным:
«пиши... кого нам стесняться... живём снова».
В прищепках кавычек на чёрных верёвочных строчках
ритмично цитаты качаются — в полной красе
здесь жизни исподнее на обозрение всем:
бельишко, пелёнки... Костлявая баба бормочет
молитвы на фене и мечется между пелёнок,
цветною слюной на губах пузырится мольба.
Пятно набухает на северо-западе лба,
и в каждом глазу по четыре зрачка воспалённых
вращаются в разные стороны, грозно сияя.
За бабою к лесу цепочкой идут тополя.
Копчёный лосось колосится в осенних полях.
И на паровозах коровы летят над сараем...

.....
На этом кончается наш репортаж о стране
забытых метафор. Он был подготовлен Г. Марком
как первая часть сериала «О Том, Чего Нет».
(Надеюсь, в отделе стихов повивальный редактор
его напечатает весь. Это будет подарком
не только друзьям-словофилам, но также и мне.)

Александр Железцов

Дорога

Триптих

1. Рядовой Кузьменок

— На...! — сказал старший сержант Левичев, когда рядовой Кузьменок осторожно спросил его, куда ведет эта дорога.

Потом без интереса посмотрел на рядового и достал зажигалку, какие бывают только в кино.

Каждый раз, когда он доставал ее: благородное стальное сияние, звонкий щелчок крышки, отточенно-небрежный шарк пальца по колесику, неповторимый голубовато-оранжевый огонек, и входящая в него сигарета «Мальборо» — каждый раз, когда это происходило, рядовой Кузьменок ощущал томление внизу живота.

В стальной грани зажигалки он видел зарешеченное окно дежурки, лампочку под потолком, и маленького, бессмысленного себя.

Вообще-то дорога шла на перевал Саланг, но прав был Левичев: в 1988 году от Р. Х. все дороги от всех советских блокпостов вели именно туда, куда он сказал.

Левичев был прав всегда.

Глядя в его ковбойские, стальные — под зажигалку — глаза, любой понимал, что этот человек прав.

Вдобавок он был гений.

Бензин, сояра, дизтопливо, тушенка, новые форменки, и, говорили даже, что патроны — все это непонятым образом отделялось от беспрерывно идущих автоколонн, и, едва коснувшись рук Левичева, без остатка растворялось среди братского афганского народа.

Братский афганский народ был благодарен старшему сержанту, сильно пьющий капитан, начальник блокпоста, тоже был ему благодарен, и начальство капитана было благодарно, и одноклассница из Сходни была благодарна, и бородатые не то крестьяне, не то душманы из ближнего аула, и крестьянско-душманские дети, и весь личный состав блокпоста — все были благодарны Левичеву.

Александр Железцов — драматург, прозаик, сценарист. Пьесы («Пятьдесят один рубль», «Забытая любовь к трем апельсинам», «Родная почва», «Стены древнего Кремля», «Красной ниткой», «Диалоги о животных») шли на сценах Санкт-Петербурга, Москвы, Пензы, Мурманска, Нижнего Новгорода и других российских городов, переводились, ставились на радио. Короткая проза публиковалась в периодике и в сети. Член Союза писателей Москвы, живет в Подмосковье. В «ДН» публикуется впервые.

Но когда автоколонны вдруг резко прекратились (говорили, что теперь пускают в объезд) — в макароны почти перестали класть маргарин.

Когда совсем пропал маргарин, то не стало и сахара в чай.

А когда остались вообще только перловка и кипяток — пропала собака Найда.

Добровольцы, которые ее искали, нашли в ближних скалах только остатки костра и клочки рыжей шкуры.

Зато они пристрелили большую толстую змею, и говорили потом, что мясо у змей — прямо как курятина, правда, попробовать фактически не успели: едва в небо поднялся дымок от костра — раздались выстрелы со стороны аула.

На следующий день сильно пьющий капитан в очередной раз запретил личному составу выходить за внешний периметр, а крестьянско-душманские дети непонятно почему не пришли за товаром.

Следующим утром обнаружили три кучки говна — как раз по внешнему периметру.

Стальные глаза Левичева подернулись патиной раздумья.

А еще через три дня, когда так никто и не пришел, и каждое утро обнаруживались новые кучи по внешнему периметру, Левичев вызвал рядового Кузьменка, вручил ему три банки тушенки и две — сгущенки, сказал, в какой дом отнести и что там говорить. Потом провел рядового Кузьменка до прохода во внешнем периметре, обнял за плечи и шепнул на ухо:

— Не ссы, ты раздолбай, тебя не тронут.

Когда Кузьменок дошел до первого поворота дороги, он остановился, непонятно зачем оглянулся, сел в пыль на обочине, зажмурился от тоски и восторга, а потом вскрыл и съел первую банку тушенки: руками, без хлеба, без мыслей, без ничего.

Мысли какие-то были, но были они очень далекие, а руки уже вскрывали вторую банку — сами собой.

Блевать рядовой Кузьменок начал после третьей банки, успев даже отпить половину первой банки сгущенки.

Уже потом, добледавшись до какой-то зеленой слизи, и отлежавшись в пыли, он придумал душманов из-за скалы, брошенную в них тушенку со сгущенкой, свой отчаянный бег к блокпосту — и так ясно все это видел, когда рассказывал Левичеву, что тот на пару секунд почти поверил, щелкнул крышкой зажигалки, прикурил сигарету «Мальборо», затянулся и только потом сказал:

— Снимай трусы.

Рядовой Кузьменок мгновенно разделся догола, повернулся «кругом», оперся руками о стол, наклонился, и стал воображать революционера Камо, которого пытаются жандармы. Воображать ему мешало слово «пидорас»: непонятно было, как писать: то ли через «а», то ли через «о», и, вообще, как это все бывает? Конечно, больно...

Левичев, глядя на его телодвижения, от удивления опустил зажигалку мимо кармана, и она неслышно упала на гимнастерку рядового Кузьменка. Старший сержант безразлично поднял, пощупал и понюхал трусы рядового:

— Были б там духи — ты б сухой не остался. Без товара не возвращайся, дня не проживешь, ты меня знаешь. Пошел на ...!

Потом дал ему пенделя — изо всей силы, и, матерясь, вышел из караулки.

Кузьменок оделся, безмысленно сжал в кулаке внезапно явившуюся ему зажигалку, и пошел — в надвигающуюся темноту, под каменную шакалью луну.

«On a dark desert highway cool wind in my hair».

Он шел по дороге, не видя ничего, кроме второй банки сгущенки, которую так тогда и оставил в пыли после первого поворота, бросил ее там и убежал, плача от горя.

...Хотя одинокий солдатик, ищущий под луной банку сгущенки, был хорошей мишенью, душманско-крестьянские дети стреляли еще плоховато, поэтому после первого выстрела он успел упасть, сжать изо всех сил зажигалку, нырнуть в ее серовато-голубоватую глубину, сжаться там в точку и вынырнуть к солнцу: прямо в парадную таковую колонну, едущую по знаменитому Мосту Дружбы между двумя проклятыми странами. Он сидел на броне, выпячивая грудь под новой парадкой, влюбленно глядя на генерала Громова и телекамеры Первого канала.

До второго выстрела, раздробившего его руку, он успел пожениться с одноклассницей из Сходни, успел удивиться танковым колоннам в Москве и непонятному лоскутному флагу, который несли непонятные люди, успел открыть два ларька в Химках, и съездить в Египет.

После третьего выстрела — перебившего позвоночник — он первый раз слетал на Лазурный Берег, окрестился, вступил в общественную организацию «Боевое братство», открыл небольшой магазинчик у метро «Петровско-Разумовская», и женился второй раз — на женщине, которая родила ему дочь.

После четвертого выстрела — попавшего в сердце — он стал депутатом районного совета и членом совета церковного, прибавил лишних семнадцать килограммов и только тогда мучительно знакомая-незнакомая девчонка-подросток, стоя в полутемной прихожей, с ненавистью глянула на него серыми глазами и звонко сказала: «Иди на ...»

Он почувствовал, как сердце его разрывается.

...На следующий день, когда на дороге нашли тело, старший сержант Левичев едва-едва сумел разжать мертвые пальцы, сжимающие зажигалку.

Это была его зажигалка.

Это Левичев ехал через год в парадной танковой колонне по знаменитому мосту, это он потом удивлялся лоскутному флагу и непонятным людям, открывал ларьки, женился и разводился, вступал в организацию «Боевое братство», становился депутатом местного совета и членом совета церковного, а девочку-подростка звали Луиза, доченька-ластонька, она пришла с дискотеки в полчетвертого ночи, и он ничего такого не хотел.

Он просто хотел, чтобы она сняла трусы и дала ему посмотреть, потому что по трусам все сразу понятно про любую дискотеку, и ничего тут особенного нет, а она сказала ему «Иди на ...»

И он пошел — длинной извилистой дорогой: через два госпиталя, клинику в Германии, потом еще через один госпиталь, его даже поместили после реанимации в палату для выздоравливающих, и Луиза пришла к нему, правда, пришла с матерью и молчала, ничего совсем не сказала, и уже после этого он вырвался на финишную прямую — в госпитальный морг, а потом к дверце печи новенького областного крематория.

2. Надя

До этого Наде приснился сон — про Витю. Как идет он в темноте по дороге в каком-то плохом месте, вроде пустыни, и что-то ищет. Ищет-ищет... А что дальше — Надя не помнила. Вообще не помнила.

Ей потом все Люда-соседка рассказывала: как Надя пересказала ей этот сон, как они боялись друг другу сказать, к чему такое снится, как потом приехали военные на военной машине — прямо к их подъезду, зашли к Наде в квартиру, потом позвали ее, Люду-соседку, потому что Надя упала на пол в прихожей, и не дышит, а надо, чтоб она расписалась.

Люда пришла, а Надя уже дышит, но не понимает, где расписываться, а военные торопятся, но Люда расписалась ее рукой, договорилась даже, что военные отвезут их с Надей посмотреть на Витю, а Надя вообще ничего не понимает, хорошо, военные сами все организовали, причем на старом кладбище, где все было уже только за деньги, а они все бесплатно: и плиту, и оградку — все бесплатно, потому что в восемьдесят восьмом году все-таки еще был порядок, не то, что в девяносто втором, когда во всем их доме только у одной Нади была работа, за которую платили деньгами, потому что Надя хоть и стала как полудурочка, но работала в кооперативном видеосалоне по своей специальности — уборщицей, а все остальные в их доме, кто работал по своей специальности на фабрике, тоже ходили на работу, но им деньгами не платили, так что еще неизвестно, кто больше полудурок.

Поэтому Люда-соседка иногда занимала у Нади сто рублей, а потом как-то отдавала, потом опять занимала, потом опять как-то отдавала, а потом опять занимала, и так они общались: Люда с Надей разговаривала, а Надя молчала, но зато она водила Люду по знакомству в свой видеосалон, где они смотрели по большому телевизору интересное кино: про одного ученого, который превратился в муху, про маньяков, про голых парней и девок с большими пиписками.

Люда пиписек стеснялась, ей больше нравилось про маньяков. Там, обычно в самом начале, пока еще маньяк не пришел, показывали, как женщина готовит, например, завтрак: на большой кухне с двухэтажным холодильником и разными интересными полочками, как она моет посуду в специальной такой машине, как муж ее уезжает на работу — на иномарке, а дети идут в школу, чего-то себе смеются, и нигде ничего не засрано, даже бумажки в траве не валяются.

Люда умилялась и тихонько подталкивала Надю, чтобы та тоже посмотрела, но Надя смотрела только в зал — высматривала себе солдата. Солдат было много — их пускали бесплатно.

После сеанса она подходила к солдату, улыбалась, брала его за руку, и, молча, вела к себе на квартиру. Остальные солдаты не понимали, почему выбрали этого, набивались идти вместе с ним, но Надя их гнала, а тот, кого она выбрала, тоже ничего не понимал, очень переживал по дороге, что вдруг у него не встанет, поэтому он все время шутил и рассказывал анекдоты, а Надя молчала и улыбалась — загадочно и обещающе.

Когда уже в темной прихожей солдат хватал ее за грудь, и — одновременно — пытался поцеловать, снять свои сапоги, и расстегнуть ее кофточку, Наде приходилось иногда отвечать ему как следует — а рука у нее была тяжелая.

После этого у солдата опускалось все, что до этого встало, Надя вела его на

кухню и там заставляла съесть не меньше трех тарелок супа из костей, которые она брала у знакомого мясника — рано утром, когда никого еще в магазин не пускали, а ее пускали и давали бесплатные кости — как матери погибшего воина-интернационалиста.

После трех тарелок супа у солдата снова все вставало, но она уже вела его в прихожую и выпихивала за дверь. Некоторых — это Люда-соседка сама видела — она целовала, но потом все равно выпихивала.

Пьяные от супа солдаты испытывали сильнейший когнитивный диссонанс, но добирались, в итоге, до казармы и рассказывали там, как и в каких позах она им давала: на полу, на столе и на кровати, какая у нее грудь и жопа, сколько раз они кончали, как она кричала и так далее — со всеми интересными солдатскими подробностями.

Подробности эти постепенно расходились не только по казарме, но и до городка доходили, поэтому Надю иначе как «Надька-блядь» с какого-то времени — года с девяносто четвертого — уже и не звали, хотя Люда-соседка и рассказывала всем, как оно есть на самом деле, ей верили и не верили, тем более, что она честно всем рассказывала, что некоторых солдат Надя все-таки целовала, так что когда году в девяносто шестом, в рамках государственной военно-патриотической программы «Родина помнит» решили переименовать их улицу Привокзальную в улицу рядового Кузьменка — с установкой на доме соответствующей мемориальной доски, то разговоров и всяких пересудов было много.

А Надя, как всегда, молчала, хотя ей все объяснили, и надеялись даже, что она, как мать, все-таки выступит, так что Люде-соседке пришлось специально все объяснять интересному мужчине с седыми висками, из организации «Боевое братство», который, оказывается, был Витин сержант на войне, а сейчас стал, видно, что большой человек, но ничего из себя не выставляет, даже дочку свою привез, чтоб видела девка, чтоб знала, чего нам всем мирная жизнь стоит, короче, пожалели все, что Надя не выступит, а потом уже — после того, как приезжий священник в полном обмундировании освятил мемориальную доску, после того, как выступили ветераны войны и труда, после того, как станцевал детский коллектив клуба «Родничок», этот Витин сержант выступил сам.

И покался перед всеми, что время было такое, что не смогли мы уберечь наших мальчишек, что чувствует он даже и свою личную вину в гибели Вити Кузьменка, тут слезы у него на глазах появились — соседка Люда потом разглядела, когда это все по телевизору показывали — настоящие слезы! И перед домом местный народ заплакал, даже священник заплакал, а в это время ссыкуха какая-то малолетняя из областного управления культуры, которая должна была все вести, а сама опоздала и не знала, что выступление матери отменяется, сунулась с микрофоном к Наде, мало того — объявила на всю улицу, что сейчас будет слово матери и сунула Наде микрофон прямо под нос.

Ну, Надя и сказала. Сначала-то она молчала, а все на нее смотрели и плакали, а потом что-то вроде просипела — тихо-тихо, а потом вдруг прямо заорала — на всю улицу, чуть не на весь город, да так все время и орала, пока ее уводили домой, вызывали сантранспорт, выводили, сажали, везли — всю дорогу до самой психушки Надя орала только одно:

На ...! На ...! На ...!!!

3. Лена

Утром, уже идя из гостиницы на автобусную станцию, Лена вспомнила, как ехала сюда по этой жаре без condition, и решила вернуться в Москву на электричке.

Прокляла все на свете.

Во-первых, электричка тоже без condition, во-вторых — давка. В итоге просто ушла в тамбур и встала у дверей: подышать.

Она так и не поняла, почему вдруг вышла.

Не думала она ни о чем, ничего не вспоминала, и не собиралась ничего: дышала себе в щелочку, фиксировала однообразные матюги щекастых старшеклассниц, кутивших рядом, соображала, не очень ли это опасно — повезти группу на электричке, пыталась зацепиться взглядом хоть за что-нибудь в пыльном пейзажике: кусты — край платформы — замедление — двери раскрылись — посмотрела...

Наверное, все-таки, название увидела — боковым зрением.

И шагнула — как во сне.

Электричка тут же ушла, а она, медленно — точно во сне! — повернула голову, и прочла, теперь уже окончательно, название станции.

Ага. Ну, да...

Мгновенно заложило уши.

Как сквозь мутное стекло она узнавала платформу, ограду, остатки тополей, какие-то склады, ангары — не было, а водокачка еще стоит, и сход тот же: бетонные ступеньки с торчащей страшной арматурой, господи, как они тут ходят до сих пор...

Медленно спустилась, повернула и шагнула в душную темноту — подземный переход.

Тот самый.

Мгновенно узнала запах — не гнили даже, а именно темноты — лампочку чуть не каждый день разбивали — когда ночью возвращаешься из Москвы — из музыкалки, гостей, театра, откуда угодно, но почему-то всегда на последней электричке 23-35 — очень важно было идти по переходу за кем-то впереди, угадывать в темноте спину, лучше пожилую, не опасную; просто спина, а она — за ней, а за ней — кто-то, неизвестно кто... Гулкие шаги, кашель, скрип: скрилы-скрилы — ближе, ближе, почти вплотную к ее спине — несчастной, слепой, беззащитной — не оглядываться — скрилы-скрилы — оглядываться нельзя, главное как-нибудь до лужи перед ступеньками, а после — ступеньки — махом вверх — фонарь, луна, люди, тут можно оглянуться, вообще — жить...

Так, лужа все там же — перед ступеньками. Лужа на месте. Миргород.

Ступеньки — медленно, фонарь, солнце.

Людей нет.

Постояла и пошла: полувспоминая — полуугадывая...

Площадь. Асфальт, остановка, закрытые ларьки. Солнце давит на голову. Много пустых машин, есть дорогие.

Пусто. Жарко.

Ларек «Овощи». Наглухо закрытое стекло, темно.

Видна капуста. Яблоки. Картошка, лук...

Морковка и бумажка на ней: «Моркова. 250 рублей».

Моркова, а?! Моркова!

Решительно постучала, стекло отодвинулось. Появилась молоденькая пуэрториканка, нет, как это... таджичка. Наверное.

— Что желаешь?

— Да, собственно... Скажите, почему у вас тут написано «моркова»? Так нельзя писать. Либо «морковка», либо «морковь», понимаете?

— Вкусно. Бери, женщина.

— Я понимаю, что вкусно. Просто нет такого слова «моркова». В русском языке нет такого слова. Вот Вы откуда?

— Все документы хозяин. Хозяин нет.

— Понятно. Когда придет, скажите ему, что нет такого слова «моркова». Морковь, или морковка. Надо обязательно поменять price label.

— Как?

Земля вдруг качнулась под ногами, как водяной матрас... Ценник!

— Ценник надо поменять!

— Тебе плохо, женщина?

— Нет, просто надо...

— На.

Девушка быстро и ловко просунула в маленькое окошко двухлитровую бутылку с водой — открытую. Второй рукой сделала быстрое движение по лицу — как кошка умывается.

— На.

Лена сообразила, наконец, взяла бутылку, налила теплой воды на ладонь, сполоснула лицо. Виски, шею... Потом наклонилась и вылила немного на затылок. Стало легче, в голове прояснело. Просунула бутылку обратно в окошечко:

— Спасибо!

Девушка кивнула и внимательно посмотрела на нее. Лена, сообразив, быстро достала кошелек, вытащила какую-то бумажку — сторублевка — и протянула в окошко.

— Вот, возьми.

Рука повисла перед окошком.

— Огурси бери, яблок бери.

Ну да. Слово «яблоки» они тоже не знают.

Просунула руку в окошко.

— Возьми — это тебе. За воду!

Девушка вдруг помрачнела.

— Нельзя. Вода без денег.

Быстро закрыла окошко и пропала за темным стеклом. Лена потянулась постучать еще раз, но опустила руку.

Оглянулась.

Солнце, дома, жара... Ни одного человека — Бергман.

Надо на станцию, в Москву надо, что я тут вообще делаю, идиотство, моркова, на станцию надо, ребята в гостинице ждут!

А ноги пошли совсем в другую сторону: полувспоминая — полуугадывая.

По пути выискивая хоть какую-нибудь скамейку и тень.

Нигде ничего. Пустыня — с домами и машинами.

«On a dark desert highway cool wind in my hair».

И вдруг — толкнуло в грудь — узнала свою пятиэтажку.

Три березы, железяки для белья, железяки для ковров, железяки для детей, скамейки у подъездов — все как было, только берез осталось две — размером с сосну, железяки для ковров убрали и скамейки поменяли — теперь без спинки. А шиповник разросся...

Не веря себе, подошла к своему подъезду, и села.

Расслабилась, вздохнула, откинулась на спинку скамейки (которой не было), чуть не грохнулась, и, вдруг, увидела...

Потрясла головой, потеряла лоб — не может быть, нет!

Встала, подошла, потрогала — да.

Витька: серьезный, надутый, золотой — на доске из искусственного мрамора

«...ГЕРОЙСКИ ПОГИБ, ИСПОЛНЯЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ...»

И гвоздички тряпичные — на специальной проволочной полочке.

Господи!

С фотографии наверное, из военного билета — лысый...

Господи!

Он был длинноволосый. Мальчишкам вообще не разрешали длинные волосы — просто в школу не пускали, а у него как-то получалось, внимания не обращали — настолько был незаметный, одет вечно чуть ли не в школьную форму, какие-то рубашечки задрипанные, никто от него ничего не ждал, никто даже не думал, что он поет, до этого их концерта — в девятом, нет, в десятом уже, Сашка с Якушевым как-то подобрали для двух гитар «Отель Калифорния» — обалдеть, вообще-то, тема сложная, нисходящая аккордовая прогрессия, это Якушев, наверное, ну да — он тоже в музыкалку ездил, мы на сольфеджио в одной группе были, а Витька — да, играл, но средненько: так чего-то на бас-гитаре ковырялся — очень условно, а когда вдруг запел...

Причем на чудовищном колхозном английском.

«On a dark desert highway cool wind in my hair». Пел так, как будто узнал вдруг, что должен он кому-то этот сраный интернациональный долг, увидел все, что будет — и взвыл... И мороз по коже — у всех.

И вдруг на сцене стало видно, что он красивый — юродивой, припадочной красотой: бледное тонкое лицо, большие глаза, трагическая улыбка, волосы мотаются...

«My head grew heavy and my sight grew dim, I had to stop for the night»...

После концерта пришлось протискиваться сквозь целую толпу девчонок — просто чтобы подойти к нему. И сказать, что могу заняться с ним произношением.

Типа, добрый ангел: «Then she lit up a candle and she showed me the way».

А как он удивился, обалдел просто. Да и сама удивилась, ничего такого не собиралась, не думала даже...

Вытерла слезы, высморкалась, отвернулась от невыносимо-золотого лысого Витьки, и увидела вдруг во дворе живого человека.

Бабка какая-то. С палочкой, темная кофта и юбка, белая блузка — пингвин с клюкой. С ноги на ногу переступает, ковыляет, торопится... Сюда вроде...

— Лена?

— Да, я... Лена, да. Здравствуйте. Как вы меня узнали?

— А говорили вы чуть не в Америке живете...

— Ну, правильно говорили: в Америке. Вот, прилетела.

— Случилось чего?

— Вообще-то, по делам. Ну, как бы... Студентов привезла, из университета американского. Культурный обмен.

— Так ты у них профессор что ли?

— Ну да. Кислых щей.

— А родители как — живы?

— Они в Бостоне, я к ним приезжаю.

— А детки есть?

— Нет. Муж, правда, был, разошлись.

— Во как. А у нас тут...

Длинно махнула рукой и присела рядом.

— Витюша-то наш — видела? А Надя-то, мамка его, ну, знаешь ты ее, Надя, она знаешь чего?

— Чего?

— Того! С ума сошла.

— Как?!

— А кто же знает? Так, вроде, молчала-молчала, а потом...

Снова махнула рукой.

— Рассказывать, так никаких нервов не хватит. В сумасшедшем доме сейчас.

Быстрая старушечья слеза — пробежала и застряла в волосках на подбородке. Вторая...

— Может, зайдешь, Леночка?

«Леночка»... Это она — первая во всем подъезде — стала звать меня «еврейкина дочка».

— Спасибо, мне уже идти надо, на электричку.

...А маму, соответственно, «еврейка».

— Да успеешь, чего ты! Чайку хоть попьем, жаренца-то какая...

Хорошо бы!

— Нет, спасибо.

Обойдусь.

— Ты ж даже не знаешь, как мы тут без тебя...

«Россия, Лета, Лорелея»...

— Знаю, более-менее знаю. Я слежу по газетам. Так что в курсе.

Встала.

— Все, пошла.

Она вся потянулась вверх со скамейки, кажется, хочет поцеловать, хочет. Ужас.

До свидания.

До свиданья, Леночка.

И я даже знаю, где — в аду.

Главное — не оглядываться. Иду себе, и иду. Оглядываться нельзя.

Быстрее, налево — так короче. Туда вроде бы...

«Ты вернулся сюда — так глотай же скорей...»

Господи, какая дичь!

Мало что Витьку убили, еще и Надя...

Что называется «светлый человек». Ничего особенного не делала, да и говорила мало, но как-то все останавливались около нее: постоять, погреться. Непонятно почему. Из-за улыбки. Здесь таких не бывает, врожденная улыбка:

уголки губ подняты вверх — от рождения — и, кажется, что человек все время улыбается, даже когда плачет. У индусов такие улыбки... У Будды — точно такая. Другое дело, что Будда не работал уборщицей и сына у него не убивали.

Станция в какую сторону? Туда?

И всего-то навсего: не поступил в институт. И загремел в армию. Поскольку плохо учился. Якушев тоже плохо учился — и не загремел.

Последний раз виделись случайно, мы уже в Москву перебрались, родители уже на выезд подали, я не помню зачем приперлась, что-то с документами, а он увидел, догнал, подбежал, улыбается — а сказать нечего...

Привет — привет.

А я его, кажется, не узнала, ну, правильно, он как раз тогда налысо постригся.

Понял, что с концами идет в армию — и постригся — в допризывники, как в монахи. И все пропало. Просто лысый тощий мальчишка, от которого пахнет, как-то это называлось... бормотуха.

Даже не сказала ему, что мы уезжаем, ничего вообще не сказала.

Привет — привет.

Тогда, значит, мы последний раз виделись. А Надю вообще помню только у них дома: как она удивилась, когда мы с ним пришли к ним, и он сказал, что мы будем заниматься английским. Просто остолбенела, а потом улыбнулась буддийской улыбкой и почти сразу же куда-то пропала... Но перед этим провела нас в его комнату и принесла яблок.

Большая голубая тарелка, а в ней — горкой — абсолютно спелые красные яблоки. Лежат — и сияют.

«Welcome to the Hotel California!» А как с ним заниматься, когда он с пятого класса ни в зуб ногой?! В конце концов, просто учили наизусть — как с попугаем. Сидели и повторяли.

И все равно плохо. Притащила папин «Грюндик» с записью — с «Радио Швеции», что ли — вот, слушай и повторяй!

«Грюндик» Надя на этажерку поставила и салфеточкой прикрывала — чтоб не портился. И каждый раз приносила яблоки и куда-то пропадала.

А мои напряглись, но промолчали. Папочка только как-то заикнулся жалобно, что ему, вообще-то, может понадобится магнитофон, но мама его пресекла: магнитофон нужен Лене!

Как пионерка к октябренку: приходила и проверяла. И в какой-то момент — когда у него получилось вдруг нормальное человеческое «г» — просто чмокнула в щеку. В смысле — молодец! А он воспринял так, что...

Ладно, не ври, собака, все он правильно воспринял.

«Her mind is Tiffany-twisted

She got the Mercedes bends...»

Хорошо, при социализме такие лифчики делали, что девичья честь сама собой сберегалась — без всяких усилий со стороны девицы. Поскольку девица вдруг выпала, отключилась, сомлела, присела в истоме на чудовищный Витькин диванчик и просто ждала — что будет? А ничего. Битва человека с пуговицами. Смешно! Фыркнула от смеха, он отскочил, посмотрел испуганно — и никакой тебе истомы, и дальше уже строгая дисциплина, дистанция и сплошной английский.

«Some dance to remember,

Some dance to forget».

Даже целоваться не умел. Правда, и Якушев не умел. Да и Дэвид... Судьба такая.

Самое смешное, что с Дэвидом оказались в отеле «Калифорния».

Его свадебнопутешественный сюрприз: запомнил, как я рассказывала про Рим, как мы сидели там с родителями и не понимали: куда? Понятно, что не в Израиль с маминым сердцем, в Европе тогда никому не давали статуса, а время все тянулось, и я Рима этого вообще уже видеть не могла, лежала в номере — мордой к стене, и слушала все по тому же «Грюндику» все тот же «Отель», так что, когда они, наконец, удосужились спросить, я долго не раздумывала... И все вдруг успокоились, и все пошло-поехало: в Калифорнию — значит в Калифорнию!

Так что если бы не Витька — еще неизвестно где бы мы оказались...

«What a nice surprise

(What a nice surprise)

Bring your alibis».

Соответственно, Дэвид, преисполненный чувств, все это помнил, и по дороге в Лас-Вегас, где-то под Санта-Барбарой — вот тебе, пожалуйста, отель «Калифорния», ну, «один из», они все между собой собачатся — какой самый настоящий, номер для новобрачных, все как положено:

«Mirrors on the ceiling,

The pink champagne on ice».

Другое дело, что новобрачная еще в Лос-Анджелесе отравилась кофе с булочкой, на что новобрачный сказал, что этого не может быть, кофе с булочкой отравиться невозможно, а новобрачная — Дэвид считал, что из упрямства — с унитаза практически не слезала, так что когда довелось, наконец, полюбоваться в зеркальном потолке на розовую попку новобрачного на фоне своих бледных тощих конечностей, а живот снова прихватило — это было так смешно, что не удержалась и фыркнула, живот прихватило еще сильнее, но новобрачный все так же равномерно пыхтел и трудился, ничего не замечая по пути к победному финишу.

Что и предопределило характер предстоящего брака.

«We are all just prisoners here of our own device».

Это что?!

Не может асфальтовая дорожка кончаться бетонной оградой! Даже в России!

Может. Спокойненько себе может...

В обе стороны. Колючая проволока по верху, фонари, трубы какие-то, корпуса... Завод что ли?

Господи, куда черти занесли?..

Где водокачка?

Там водокачка, там станция. Туда.

Яблоко. Вон еще... Битые, треснувшие, а рядом, в стороне, под яблонями — целенькие, настоящие, красные. Еще, еще...

Розовый декадентский व्यюнок на темно-зеленой крапиве, блистающие в косом солнечном луче изумрудные мухи...

Ну, да — говно, куда ж без говна-то.

Страшно обломанные и брошенные ветви, засохшие листья, расколотые стволы, никому ничего не нужно, не жалко, наклонилась, подобрала — самое большое и целое — еще два, девать некуда, неважно, а вон еще...

— Тетенька, нельзя эти яблочки собирать!

Девочка. Лет пяти.

— Здравствуй! Тебя как зовут?

— Лена.

Нет, лет шесть. Ручки-ножки-огуречик — в розовом платье, с розовой сумочкой, узнаваемо-московской мордочкой и растянутым «а».

— И меня Лена. Здорово! А почему нельзя яблоки собирать?

— От них можно умереть!

— Да умереть и так можно — без всяких яблок.

— Ну, я не знаю...

— Точно тебе говорю. Ты посмотри, какие спелые! А вон там — смотри!

— Ну, я не знаю...

Но тут же подбежала, наклонилась, подняла, показала.

— А у меня больше — вот, смотри!

Опечалилась, задумалась, сорвалась с места и рванула в гущу крапивы.

— Осторожно!

Скрылась в крапиве, вынырнула сияющая.

— А у меня еще больше — видите?

— А оно расколотое!

— Зато большое!

— Лена!

— Лена! Ну, что ты за идиотка за такая! Сколько тебе говорить — не смей сюда ходить!

Та-а-ак. Мапочка. Лет двадцать пять. Бледное тонкое лицо, очки, фиолетовая помада, стальная хватка. «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу».

— Здравствуйте.

Взглянула как на стенку и поджала губы.

— Не смей смотреть даже на эти яблоки, сколько раз тебе повторять! Выбрось немедленно!

— Куда?

— На ...!

Выбила яблоко из руки, быстро эту руку цапнула, и поволокла Лену-маленькую по дорожке — так, что та едва успевала перебирать ногами.

Воспитательный процесс на ходу. Рев был слышен даже когда они скрылись за поворотом.

Лена устало и безмысленно пошла вслед, вышла к домам, сообразила вдруг, как пройти к станции коротким путем, и, действительно, дошла очень быстро, купила билет — не выпуская из рук яблок — смешно, класть их совершенно некуда, в сумочку не влезает ничего, в любом случае: зачем, куда?

Очень хочется!

Сглотнула слюну, почувствовала пересохшее горло — откусить хотя бы! — увидела приближающуюся электричку, подошла к ограде платформы, вытянула руки, и... разжала пальцы... просто разжала... разжала просто... взяла — и разжала...

И быстро отвернулась — к пришедшей электричке.

Игорь Меламед

(1961—2014)

Последние стихи

За три дня до ухода поэт и переводчик Игорь Меламед — мы знакомы еще с литинститутской поры, с семинара Евгения Винокурова — написал мне в фейсбуке: посылаю стихи, из неопубликованного у меня всего три стихотворения, 40 строк. Возьмешь?

Я знала книги Меламеда: «Бессонница» (1994), «В чёрном раю» (1998), «Воздаяние» (2010). И три стихотворения вроде бы маловато для подборки, даже если они созвучны по тональности: все о смерти. И попросила: пришли что-нибудь еще. Игорь ответил коротко и однозначно: у меня больше ничего нет и вряд ли будет... В этом весь Игорь — резкий, бескомпромиссный, гордый.

Известно, что поэты предчувствуют, предвидят и даже предсказывают свой уход. Светлая память!

Галина КЛИМОВА

Терцины

И вот, когда совсем неумогу,
когда нельзя забыться даже ночью,
— Убей меня! — кричу я в темноту

мучителю, незримому воочью,
зиздителю сияющих миров
и моего безумья средоточью.

Убей меня, обрушь мой ветхий кров.
Я — прах и пепел, я — ничтожный атом.
И жизнь моя — лишь обмелевший ров
меж несуществованием и адом.

* * *

Памяти М. Г.

И облик твой, и нежный голос твой,
и всё, чего с волнением и страхом
касался я, давно уж стало прахом
в бесчеловечной урне гробовой.

Но если вдруг когда-нибудь опять
в ином краю, в пространстве неизвестном
мы возродимся в образе телесном —
как прежде я смогу тебя обнять?..

* * *

Всю ночь он мучился и бился,
и жить не доставало сил.
И Богородице молился,
и милосердия просил.

И милосердие Марии
сняло страданье как рукой.
И он за много лет впервые
обрел желаемый покой.

И веки он сомкнул в истоме
и вновь увидел как живых
отца и мать в родимом доме,
и, словно в детстве, обнял их.

И плакал он во сне глубоком,
своих не ощущая слез,
как бы вознагражденный Богом
за всё, что в жизни перенес,

помилованный и прощенный...
И мрак ночной редел над ним.
И сладко спал он, освещенный
лучом почти что неземным.

2014

Юрий Окланский

Уроки с репетитором, или Министр собственной безопасности

Авантюрная биография кабинетного человека

VI. Полубоги и Бунин

Вершина служебной карьеры младшего друга и ученика Федина К.М. Симонова пришлась на сталинские времена. Когда умер вождь, К.М. было всего 38 лет. Но за предшествующую пору он успел побывать главным редактором «Нового мира», главным редактором «Литературной газеты», заместителем генерального секретаря Союза писателей СССР, кандидатом в члены ЦК КПСС... Это включало и близкие личные общения с вождем, которых удаивались немногие. Совсем неслучайно в первый послевоенный год именно столь доверенному и оваянному героикой войны К.М. Симонову была поручена сложная дипломатическая миссия — по возможности перетянуть в «прогрессивный» (читай: просоветский) лагерь русского классика и нобелевского лауреата Бунина.

По-своему причастен к этой истории оказался и Федин.

...Во фронтовых сводках военных лет было такое выражение — «поиск разведчиков». При затишье в военных действиях происходило активное ошупывание обороны противника, добывание всевозможными скрытыми путями необходимых разведданных для последующего натиска и атак. Таким промежуток военно-дипломатического затишья в отношениях вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции явился год с небольшим после окончания Второй мировой войны...

Три месяца из них (декабрь 1945 — февраль 1946 года) Федин провел в разгромленной Германии — сначала в Берлине, а затем в Нюрнберге на процессе главных военных преступников. Статус корреспондента правительственной газеты «Известия» и неограниченный срок командировки давали писателю возможность не только глубоко вникать в драматическое действо судебных заседаний, отображая происходившее в цикле очерков, но и всюду ездить, бывать, все смотреть, встречаться с теми, кого он хотел бы видеть.

И вот тут неожиданно-негаданно для Феина его пути пересеклись с писателем, которого он высоко ценил, но мысль о живых контактах с которым даже в голову не приходила. Этим его давним кумиром был парижский эмигрант, нобелевский лауреат И.А. Бунин. Его книгами он всегда восхищался, о них говорил студентам в Литинституте. Но автор по фамилии Бунин для него лично давно уже вознесся над буднями, как дух прошлого, как книжный феномен. И вдруг...

Едва Феин вернулся из Нюрнберга в Москву, будто по мановению волшебной палочки стало происходить невероятное. «В марте месяце 1946 года, — вспоминал он позже в заметке к публикациям тома «Литературного наследства» «Иван Бунин», — почтой доставлена была мне книга, какой я не мог ожидать. Что-то похожее на недоумение почувствовал я при самом беглом взгляде на посылку, а раскрыв ее — изумился.

Это был том первый "Собрания сочинений" И.А. Бунина в берлинском издании "Петрополис".

Было от чего взволноваться: в автографе Бунин называл себя моим "давним усердным читателем". Посматривая на эту надпись, я искал объяснений — почему именно теперь прислан мне дорогой дар моим "давним" читателем? — как вновь, спустя несколько дней, от Бунина прибыла другая книга — рассказ "Речной трактир" также с сердечной авторской надписью. Оба автографа заканчивались одинаковой датой: "1.3.1946. Париж".

Надпись на томе "Собрания сочинений" гласила: "*К.А. Феину его давний усердный читатель. Ив. Б. 1.3.1946. Париж*".

«В январе-феврале того года, — мысленно перебирал варианты Феин, — я находился в Нюрнберге, ежедневно посещая заседания Международного трибунала, судившего военных преступников. Немало встреч происходило в помещении суда среди разнovidных кругов корреспондентов со всего света. На свежей памяти у меня оставался разговор с двумя парижскими журналистами из русской эмиграции, которые рассказывали о своем общении с Буниным и о том, как за время войны изменилось его отношение к советской жизни. Отвечая на их расспросы, я сказал, что у нас знают о новых настроениях Бунина и, конечно, можно ждать снова издания его произведений на его родине.

Только этим нюрнбергским разговором мог я себе объяснить получение нечаянного бунинского подарка»...

Два тома «Литературного наследства» «Иван Бунин» (где помещены дарственные автографы Бунина, а также текст его последующего большого письма Феину) вышли в свет в 1973 году. Среди прочего они служили документальной оснасткой для открытия читателю долго не издававшегося в СССР Бунина. Вот отчего редакция «Литнаследства» представила там же подборку отзывов видных действующих советских писателей о Буине, — Ю. Казакова, В. Быкова и др. Для нашего рассказа особый интерес представляет написанная по этому случаю заметка Юрия Трифонова.

«Мое первое знакомство с Буниным, — сообщает Трифонов, — произошло еще в студенческие годы. К. Феин, у которого я занимался в семинаре, говорил: "Учитесь делать фразу у Бунина". Иначе говоря, профессор Литинститута, автор «деревенских рассказов» и повести «Трансвааль», Феин еще в самые лихие сталинские времена рекомендовал Бунина участникам своего семинара. Это было небезопасно. Заключенному Варламу Шаламову в 1943 году добавили еще

десять лет лагерей только за то, что он назвал эмигранта Бунина русским классиком.

Но московская жизнь, конечно, не лагеря за колючей проволокой, и здесь не было такого уж всеобъемлющего полицейского надзора. «Тогда же, году в 1946 или 1947, — продолжает Трифонов, — я купил в букинистическом магазине старое издание Бунина (приложение к "Ниве"), переплетенное в три тома, и читал запоем. Бунин был для меня открытием: какова может быть сила пластического, живописного слова! Никто прежде именно в этом смысле — воздействия фразы, слова — так сильно на меня не действовал. Поражало еще, как удивительно точно и живо говорят люди, крестьяне. Вскоре удалось в букинистическом магазине на Арбате купить "Митину любовь" — книжечку, изданную в 1925 или 1926 г., в Ленинграде, в издательстве "Прибой". Это была необыкновенная удача»...

Прервем теперь эту фабульную линию и перенесемся в повседневную круговерть, в которую был вовлечен живой И.А. Бунин в ту же самую пору в Париже.

14 июня 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал «Указ о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции». Это была крупная акция по репатриации эмигрантов на родину.

Указ был оформлен и оглашен в июне. Но понятно, что акция подспудно разрабатывалась и готовилась заранее. Со всей ее организационно-идеологической оснасткой.

В эти самые месяцы и недели в Париж прибыл поэт и журналист, овеванный героикой войны, молодой, красивый, с густой шевелюрой темных волос, со жгучим взглядом черных и быстрых глаз, тридцатилетний Константин Симонов. Тогда уже трижды лауреат Сталинской премии, по должности заместитель Генерального секретаря Союза писателей СССР, Симонов был откомандирован в Париж для литературных выступлений. Но сверх того в списке его дел и поручений имелась деликатная миссия, возможно, одна из главных, — прозондировать возможности возвращения на родину И.А. Бунина. Или на худой конец — хотя бы формального получения им советского гражданства, что тоже имело бы немалый политический резонанс.

По этому поводу они и встречались с нобелевским лауреатом пять или шесть раз. То в многолюдном клубе, где кто-то взял на себя труд их познакомиться, то для бесед с глазу на глаз в различных ресторанах, а однажды и у Бунина дома.

Парижский ресторан «Лаперуз» был самый изысканный, дорогой и аристократический. На него, вспоминает К. Симонов, «с некоторым недоверием к моим возможностям», и «выставил» для начала бойкого молодого советского посланца, пригласившего его отобедать, ироничный и наблюдательный Бунин.

Жилищем Буниных в Париже «была большая, обветшалая, запущенная — квартира обнищавших петербургских интеллигентов». Званный ужин, в узком составе, провели здесь на взаимно согласованных началах, предложенных Симоновым, — «ваша территория, мой провиант». Продукты, закупленные в коммерческом Елисеевском магазине, были доставлены самолетом из Москвы, надо думать, не властью одного Симонова. И Бунин, вкушая «московские

харчи» после голодовки, оккупации и здешних лишений, «смеясь, приговаривал: "Да, хороша большевистская колбаска!"».

« Мне трудно вспомнить, как он был одет, — пишет Симонов, — но на нем все хорошо сидело и выглядело хорошим. Уже суховатая старческая шея, сухошавое лицо. Видимо, оттого, что он похудел не за последние годы военной голодовки, а всегда был худощав, это помешало образоваться на его лице и шее мешкам и складкам». На ужине, по просьбе хозяина, Симонов читал свои стихи, объединенные позже в книгу с боевитым названием «Друзья и враги». Был там и эпизод из поэмы, связанный с недавней поездкой в Японию: «Я в эмигрантский дом попал, в сочельник, в рождество». Изображалась судьбоносная для героев ночь под рождество в эмигрантской семье, получившей советские паспорта.

Выслушав поэтическое чтение, Бунин, помедлив, через некоторое время испытующе произнес:

« — Однако вы рискнули это читать мне?

— Да, Иван Алексеевич, рискнул.

— Рискованно, рискованно, нашего брата вы там не больно пощадили».

Во время таких встреч там и здесь велись свободные доверительные разговоры. Много лет спустя Симонов воспроизвел происходившее в мемуарном очерке «Из записей об И.А. Бунине».

При самом высоком уважении к таланту Бунина и безупречному его поведению в пору фашистской оккупации 76-летний парижский эмигрант в глазах убежденного посланца Советской державы в том, что касалось современных идей в мире, выглядит в очерке все-таки вынуженным из нафталина господином, который ничего не понял и ничему не научился. Недаром всего лишь несколько недель спустя, как пишет автор, — «осенью 1946 года Бунин выступил в Париже с заявлением достаточно враждебного нам характера».

В очерке не уточняется, что поводом для такого выступления стало постановление ЦК партии «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», означавшее крутой поворот сталинского режима к идеологическому подавлению внутри страны, а в плане международном первые трубные звуки «холодной войны» в духовной сфере. Однако Бунин свой выбор сделал немедленно. В специальном заявлении для печати он осудил начавшийся в СССР идеологический погром. После этого все предыдущие маневры и ностальгические увещания лауреата нобелевской премии утрачивали смысл.

И как же все враз переменялось! Вместо рейсовых самолетов с продуктами из Елисеевского магазина и парижских ресторанов, вместо молодого черноволосого красавца с военными орденами объявился не то журналист, не то государственный сановник, процветающий господин, в хорошем гражданском костюме, с пружинистой походкой, умеющий смотреть на окружающих с прицельным прищуром, — правдист-международник Юрий Жуков.

Подробности дальнейших событий взяты мной из свежей публикации семейного архива поэта Григория Санникова, работавшего в те времена заместителем редактора в журнале «Октябрь». В названном журнале и появилась очерковая статья Жукова под нарочито размытым названием «На Западе после войны» (1947, № 10). У тогдашнего сотрудника «Октября» осталось на руках письмо И. Бунина — отклик на задевшую его публикацию. Прорваться на страницы журнала оно, разумеется, никаких шансов не имело.

Сын поэта Д. Санников сделал выписки из тех мест сочинения Жукова, что посвящены Бунину. Публикация доносит до нас раскатистый лай из удаленной эпохи:

«...маленький сухонький Бунин: рафинированное лицо эстета, под усталыми глазами дряблые мешки, седой, аккуратно расчесанный пробор, пенсне. Он старчески жует губами, утомленно потирает лоб... Бунин поеживается, убирает со стола ландыши, открывает книгу и начинает читать свой старый рассказ "Смерть"... Он читает с некоторым раздражением, как учитель, перегруженный уроками, читает много раз повторенные им тексты... Бунин входит и стоит, прислонившись к притолоке. Он глядит пустыми глазами в зал, раздраженно жует губами, сердится на что-то, но не уходит», Бунин «с деланной живостью начинает говорить; "озадаченно повторяет"; "раздраженно машет рукой": — Ну что ты, матушка, говоришь»; «он помолчал, пожевал по-стариковски губами и сухо повторил...»; «резко оборвав разговор, стал прощаться и потянулся за своим выдавшем виды пальто и мятой шляпой». Заканчивается статья так: «...строгий и желчный. Раздраженный и обиженный на своих слушателей, на самого себя, на свою судьбу, на судьбу всей эмиграции, бесцельно растратившей лучшие годы в добровольном изгнании».

Прочитав о себе такое в случайно подвернувшемся ему под руку номере советского журнала, И. Бунин с опозданием отозвался на эту публикацию письмом в редакцию (25.3.1948). В первой части письма он ядовито иронизирует над образом убогого обносившегося старикашки, чтеца рассказа о смерти на вечере «Общества русско-еврейской интеллигенции», обрисованного автором в духе «классических пошлостей». Во второй части затрагивает некоторые идеологические детали.

«Совершенно нелеп и лжив и второй мой портрет, сделанный Жуковым, — пишет Бунин, — он ведь не удовольствовался одним — нелеп, тем более, что полностью разрушает первый. Этот портрет сделан уже на основании личного знакомства Жукова со мной и с моей женой, каковое знакомство состоялось по окончании вечера, когда Жуков подошел ко мне с каким-то другим господином и, замирая от восторженного подбострастия, сказал мне, какое великое счастье испытал он в Берлине, читая зарубежные издания каких-то моих книг. Тут я с машинальной любезностью, обычной в таких случаях, что-то отвечал на его восторги — и, конечно, уклончиво, шутливо на его бестактные вопросы, намерен ли я вернуться в Россию. А что же прочел я в "Октябре", только недавно и случайно попавшем в мои руки? Прочел, что ядовитый и, как видно, энергичный старикашка превратился вдруг в блаженного, расслабленного полудиота, что-то смущенно бормочущего, называющего свою жену "матушкой", невзирая на свое "рафинированное лицо эстета" и т.д. и т.п.

Ив. Бунин».

Однако все это происходило уже на первых разворотах «холодной войны».

Вернемся теперь к К.А. Федину, пребывавшему в Москве, еще в затишную пору «поиска разведчиков», до череды зубодробительных идеологических постановлений ЦК и знаменитой речи Черчилля в Фултоне.

Через две недели после отосланных одна за другой книг (1 марта 1946 г.) Бунин написал Федину письмо. Там упоминаются два близких ему человека, в разной степени известных Федину. Один из них — Я.Б. Полонский, парижский

журналист-эмигрант, с которым Федин недавно вел разговоры в кулуарах Международного трибунала в Нюрнберге. Другой, знакомый гораздо ближе, — Николай Дмитриевич Телешов, писатель — «знаньевец», живая достопримечательность столичной литературной среды, старый друг и ровесник Бунина.

Текст послания был таким:

«Париж, 15 марта 1946 г.

Очень благодарю вас, Константин Александрович, за ваш привет мне через моего друга Я.Б. Полонского. Он же сообщил мне с ваших слов, что Государственное издательство решило выпустить том моих сочинений. Почти одновременно я получил открытку из Москвы от Телешова, где, между прочим, такая фраза: "В Государственном издательстве печатается книга твоих произведений листов в 25".

Сообщение ваше и Телешова меня очень взволновало. Очевидно, будет выпущен большой сборник из всего мной написанного, самое существенное из труда всей моей жизни, и я опасаюсь, что редакторы возьмут многое из издания моих сочинений 1915 года (приложение к "Ниве"), первый том которого будет заставлять меня стонать даже и в могиле. Полагаю, что Государственному издательству не знакомы окончательные, исправленные тексты моих зарубежных изданий (собрание моих сочинений в издании берлинского "Петрополиса" и др.).

Константин Александрович, вам ли объяснять, что я должен чувствовать, — я, для которого даже каждая неуместная запятая есть истинная мука! Через несколько дней после открытки Телешова я написал ему горячее (может быть, даже слишком горячее) письмо и почти полную копию этого письма — Государственному издательству через старшего советника посольства в Париже, А.А. Гузовского. Но ответа до сих пор не получил.

Простите, что докучаю, может быть, вам своею литературной бедой. Если можете, вступитесь за меня перед Государственным издательством: пусть оно поставит меня в известность о том, что именно оно предполагает напечатать, и подождет моего ответа относительно выбранных им текстов.

Я не касаюсь вопроса гонорарного, так как полагаю, что он будет решен по справедливости.

Примите мой сердечный привет.

Ваш Ив. Бунин».

Обещания об издании его сочинений в Москве исходили, понятно, не от Фебина. Писатель — корреспондент «Известий» в кулуарном разговоре лишь оповестил о том, что в московской литературной среде было достаточно известно. Почти одновременно открытку на этот счет Бунин получил от Н.Д. Телешова. Николай Дмитриевич был куда определеннее и категоричней. Он извещал уже не о намерениях, а о действиях: «В Государственном издательстве печатается книга твоих произведений листов в 25».

Значит, решение было принято где-то на самом верху и не составляло тайны в Москве. Бунина эти известия немало взволновали, а памятуя печальный опыт с приложением к «Ниве», всполошили. Он принялся лихорадочно раздумывать и прикидывать, на кого бы опереться и положиться при осуществлении издательского проекта в Москве.

Выбор пал на Фебина. Человека с хорошей репутацией. Стоит подчеркнуть,

что в 1946 году Федин не занимал руководящих официальных постов, разве лишь председателя московской секции прозы. Бунин обращался к нему просто как к русскому писателю, книги которого он читал, видному мастеру, вкусу которого доверял.

Письмо исполнено доверительных интонаций. К Федину Бунин обращается как к собрату по искусству, человеку пунктуальному и ответственному, хорошо понимающему, что значат для настоящего художника каждое слово и каждая запятая. «Литературная беда», как он ее именует в письме, состояла в том, что в 1915 году при издании его сочинений в приложениях к журналу «Нива» издательство популярного еженедельника, пользуясь тем, что Бунин находился в финансовой зависимости, допустило произвол в выборе текстов, редакторскую торопливость и неряшливость. Особенно в первом томе печатавшегося собрания. Чтобы не случилось нечаянного повторения этой «беды», Бунин и просит Федина «вступить за меня перед Государственным издательством».

Наметившийся диалог литературной «эмиграции» и «метрополии», как уже сказано, оборвал шквал идеологических постановлений ЦК ВКП(б), в которых, как и в речи Черчилля в Фултоне, прозвучали первые раскаты «холодной» войны. Бунин отреагировал мгновенно и без колебаний.

Но от марта до августа оставалось еще почти полгода прежней радужной эпохи союзнической близости и надежд. Бунин выжидал издательской определенности в Москве, ответа на свой запрос от старшего советника посольства по культуре в Париже А.А. Гузовского, наконец, отклика на полученные книги от Федина. И свое письмо с конкретными деловыми просьбами к нему задержал, не отправил.

В свою очередь, от московского адресата, конечно же, требовалось как-то отреагировать на столь редкий и ошеломительный сюрприз — на полученные им книги из Франции. Что сделать? Можно было бы послать в Париж благодарственные строки, поинтересоваться жизненными и литературными обстоятельствами Бунина, как-то еще проявить интерес к дальнейшим контактам с ним. Ничего этого Федин не сделал. Протянутая рука нобелевского лауреата, который был к тому же на 22 года старше, повисла в воздухе. Книжные дары остались без ответа.

Почему?

Федин слишком хорошо знал идеологических бульдогов, которые лишь на минуту втихоря прилегли под хозяйской скамейкой в тени и ждали отмашки. Статью Жукова о Бунине в журнале «Октябрь» Федин позже мог читать. Но даже если и не читал, то легко мог вообразить пыл и жар подобных статей. О нем самом не только в 20-е—30-е годы, а даже почти вчера в связи с мемуарами «Горький среди нас» пускались в ход весьма похожие словеса. На Лубянке или на Старой площади стоило лишь обронить: «Фас!» — эти бульдоги так привычно и легко впивались в хлипкие писательские шеи. Почтовый отклик означал начало переписки, что, конечно, не могло бы укрыться от ока Лубянки. А этим собаководам вторично на глаза лучше было не попадаться. Вот отчего он отмалчивался, выжидал, не торопился с ответом на лестные и взволновавшие его бунинские подарки.

Правда, конечно, и то, что в Москве, неподалеку от Федина, проживал уже упоминавшийся друг и ровесник Бунина Николай Дмитриевич Телешов. Даже в самые жестокие развороты конца 30-х годов он не обрывал переписки с

французским эмигрантом. И об этом при случае не страшился сообщать в близком кругу. Но то был глубокий старик, музейная редкость — что с него взять?!

Федин же наедине с собой внутренне вымеривал, расставлял. Собственную тревогу отодвигал вспышками рассуждений — где тут осторожность, трусость, а где мера здравого смысла? Корил, но и оправдывал себя. Словом, расчетливость, опасливость и страх возобладали над высшими порывами сердца и души. Даже «побратиму» Соколову-Микитову, похоже, не сказал всего. Не хотел слишком растравлять Ивана Сергеевича перспективой несбыточных общений.

Ведь в глазах его друга Бунин был существом особым, наивысшим авторитетом. Чувство укоренилось после их былых личных встреч, в сумятицу гражданской войны в Одессе, когда Бунин напечатал в тамошней газете один из деревенских рассказов молодого черноморского матроса. Дав ему путевку в литературу...

Впрочем, и Федин тогда многого не знал. Само письмо Бунина он прочитал лишь четверть века спустя, в начале 70-х годов. Когда оно вместе с другими бумагами поступило из Парижа в Москву для готовившегося двухтомника «Литературного наследия. Иван Бунин» от вдовы писателя Веры Николаевны Муромцевой. Иван Алексеевич умер еще в ноябре 1953 года. Вот теперь через даль лет адресат заново взглянул на себя. Но терзаться своим поступком он начал много раньше.

В дневниках, которые теперь опубликованы, Федин вновь и вновь возвращается к оценкам Бунина и его творчества. Вспоминает о полученных по почте книгах. Казнит себя. «По-прежнему возвращаюсь к Бунину, — записывал он 23 октября 1957 года, — стыжусь, что промолчал в ответ на подаренные им книги».

Осторожность, трезвый расчет, умение взнуздывать и держать в кулаке свои чувства, как бы ни билось и ни трепыхалось сердце, — вот что не раз выручало и спасало его в жизни. И это же, как он знал, было его гибелью. Было его проклятьем.

Грех своего давнего малодушия Федин исправил выступлением на Втором съезде писателей в декабре 1954 года. Ударным моментом речи стали характеристика и оценка литературного наследия Бунина, «русского классика», как он впервые заявил с высокой советской трибуны, и призыв возвратиться на родину его книги.

19 мая 1955 года Федин записывал в дневнике: «После того, как я осмелился сказать о Бунине в речи на Съезде, его оживляют: выбрали несколько маленьких вещей для "Нового мира", еще робко, с предварением читателя о его роковой "позиции". Будет скоро выпускать книги Гослитиздат... Все же я сделал, что мог: назвал *имя*».

Добавлю здесь, что «Новый мир» в это время редактировал К.М. Симонов. И он тоже по-своему торопился исправить казенные зигзаги своего поведения чуть не десятилетней давности.

VII. Номенклатурная хворь

За творчеством Федина внимательно следил академик Владимир Вернадский. Подобно Стефану Цвейгу или Борису Пастернаку, он высоко оценил у себя в дневнике его полный звучащей музыки роман о композиторе «Братья» (1928). Вместе с тем с присущей ему трезвостью суждений великий естествоиспытатель обозначил и дилемму, вставшую перед автором и всей литературой на рубеже 30-х годов.

«Рассказывал Г.П. о Федине — своем приятеле, — записывал 15 февраля 1928 года в дневнике Вернадский. — Новый роман Федина — "Братья" — возбудил большое внимание, но в нем нет коммунистического содержания. Федин был недавно коммунистом, но вышел из партии, и сейчас у него ее идеологии нет. Перед ним дилемма: или иметь возможность печататься и тогда проводить темы в соответствующем освещении или же не печататься. Этот его роман вызвал ожесточенные нападки в прессе — чисто болгаринской, какой сейчас является "критика". Иначе осыпают золотом: гонорары огромные».

Эти нападки, действительно, «болгаринской прессы» (куда почище, чем будущий пасквиль Юрия Жукова о Бунине) приняли особенно дикий и разнузданный характер. Вскоре они побудили Бориса Пастернака еще и печатно выступить в защиту романа «Братья». Однако маховик истории было уже не остановить.

Рубеж 30-х годов — это окончательный переход к единовластию сталинской диктатуры. Отказ от двойственной, но все же сравнительно либеральной политики НЭПа, сжимающийся кулак индустриализации и коллективизации, разгром и ликвидация всякой оппозиции — «левой» и «правой» — даже внутри партии, время окончательного учреждения «единомыслия на Руси».

Вернадский сформулировал дилемму, вставшую перед культурой. Подобно многим собратьям по перу, Федин-художник, чтобы уцелеть, вынужден был изощряться в изобретении компромиссов. Их следы по-разному представлены в талантливом, но по художественной концепции не всегда уж столь сильно возвышающемся над средним уровнем романе «Похищение Европы» (1929 — 1935), повествующем о кознях капиталистического предпринимательства, а отчасти и в романе «Санаторий Арктур» (1937—1940)...

Лучший из них, бесспорно, «Санаторий Арктур». Самый маленький из всех романов Федина, лиричный, будто поэма в прозе. Он воспроизводит нравственный климат уединенной альпийской лечебницы для тяжелых чахоточных хроников, где вырванный из привычного существования человек в принудительном кругу ему подобных ежедневно ведет сражение за самое дорогое, что даровано свыше, — за глоток воздуха, за луч солнца, за собственную жизнь. В романе много выстраданного, лично пережитого.

С конца 20-х годов Федин болел тяжелой формой наследственного туберкулеза. От этой болезни умерла его любимая сестра Шура. Да и сам Федин, даже излечившись, всю жизнь оставался потенциальным хроником, которого чуть что сбивали с ног то воспаления легких, то хронические бронхиты и т.п. С той поры он принужден был жить с оглядкой, редко достигая беззаботной легкости тела.

С перерывами более года (сентябрь 1931 — декабрь 1932) Федин лечился в горных санаториях Швейцарии и Германии, в том числе в Давосе. Свой роман

о физических недугах и борьбе со смертью Федин писал в 1937—1940 годах, в самые тяжкие годы политических репрессий. От тревог и тягостной сумятицы дня текущего хотелось бежать как можно дальше. Уйти в вечное, в освещенные солнцем горы. Прослеживая борьбу с немощами тела, художник согревал душу. И во многих ярких пейзажах и сюжетных картинах это ему удалось. Хотя, конечно, и от антикапиталистического пафоса никуда было не деться, да и «Волшебная гора» Томаса Манна маячила перед глазами, вызывая на нелепое состязание...

Но уступки в творчестве и компромиссы не могли не сопровождаться, конечно, и какими-то переменами в образе жизни. На общественном поприще его поддерживает и продвигает Горький, вплоть до своей смерти летом 1936 года. Он помогает ему в лечениях за границей, опирается на него при создании единого Союза писателей в 1934 году. Федин все чаще появляется за бархатно-кумачовыми столами президиумов, на полукруглых трибунах с микрофонами, а его фамилия — в списках руководящих должностей. В 1937—1939 годах он — председатель Литфонда СССР. На этом попечительском и, безусловно, в какой-то мере почетном посту, кстати говоря, попеременно менялись питомцы Горького — именитые «попутчики»: Федин — Вс. Иванов — Леонов...

Не в это ли десятилетие 30-х годов и начали все чаще навещать Федина те самые навязчивые состояния, на которые позже как на душевную хворь и жизненную западню он жаловался в дневниках и письменных исповедях? Окончательно осозналось все это, а частично обратилось в кошмар наяву, может, и значительно позже. Но основы и трамплины для таких состояний закладывались уже тогда.

В дневниковых записях и письмах самым близким друзьям Федин признавался в неотвратимо совершавшихся с ним духовных утратах, жертвах «духа святого» ради самосохранения, самосохранения и расхожей репутации. Чувствовал, что иногда опускается, чуть ли не идет ко дну.

С горечью отмечал это, например, в позднейшей письменной исповеди питерскому другу-этнографу М.А. Сергееву. «Беда, как ты знаешь, моей жизни, — писал он там, — состоит именно в том, что я жертвую делами сердца ради всякого рода иных дел, не требующих ничего, кроме драгоценного и невозмездимого времени. Одна из таких жертв тяготит меня больше всего: сердце (да и не одно оно, а все человеческое, что во мне еще живет, включая и брэнное тело) требует, чтобы я сделал то "лучшее", о котором не перестаешь мечтать, как о лучшем, — это, конечно, книга — какая-то полноценная и полнокровная, от всей душевной силы написанная книга, зовущая к себе денно и ночно. Чувство это было и прежде — вот напишу самое лучшее, на что способен, напишу так, что все ранее написанное отойдет в небытие рядом с этим новым и — может быть — "совершенным", — вот-вот напишу!..»

А вместо этого зачастую — поток бесконечных повседневных дел, полезных, бесполезных и вынужденных: «...Я все реже выдаю людей, видется с которыми хочу я, и почти постоянно обращаюсь среди тех, кому требуется видеть меня. Это значит, что я не езжу туда, где лично мне хочется быть, не встречаюсь с новыми и нечаянными характерами, а только варюсь и прею в окружении давно насквозь известных, до дна исчерпанных знакомцев и подвергаюсь привычному раздражению, не вызывающему во мне никакого "движения воды", — дух мой чаще всего усыпляется и мертвоет в обыденном

кругу "литературной" либо иной подобного рода среды. К этой же последней жертве "духа святого" относится и то усилие, какое требуется общественной моей репутацией для ее "поддержания": я обязан выполнять некоторые поручения, считаться с потребностями представительства, вести угнетающую меня переписку».

«Ну, вот сколько я уже намахал, — продолжает Федин, — а ведь не сказал пока ничего нового, — все тебе давно и основательно известно. Я только хочу, чтобы ты не понял мое излияние как жалобу. Жаловаться надо бы на одного себя. В самом деле: почему я, при максимально благоприятных условиях, построил свою жизнь так, как она описана выше — из сплошных и довольно нелепых жертвоприношений? Не знаю. Не могу уразуметь... Разве только потому, что эти благоприятные условия не были бы возможны... если бы я строил жизнь как-нибудь по-иному? Чем черт не шутит — это, скорее всего, пожалуй, так!..»

Итак, жертвоприношение «духа святого» в угоду службе, внутренней свободы ради затверженных порядков, собственного искусства во имя житейских расчетов и выгоды.

Диктаторские общественные системы всегда изобретали разные формы (да и до сих пор, перелицовываясь, не оставляют стараний!), если и не полного обращения, то использования людей, цвета культуры, в качестве «говорящих патефонов», как в сердцах однажды выразился он сам. И, надо сказать, преуспевают немало. Не очень скоро и не сразу, но и Федин временами поневоле обращался в один из таких патефонов.

«Делай, что должно и терпи, что неизбежно» — девиз не только романного героя, но и самого Федина. Художник в малых делах прятался порой от больших задач, которые на него возлагало время. Чем настойчивей требовались от него прямые и открытые действия, тем глубже зарывался он порой в текучку подчас полезных, но мелких частностей.

Одновременно это была своего рода трудотерапия души. Культуртрегерство не только разрешало назревшие, неотложные дела, несло пользу людям. Оно служило вместе с тем внутренним оправданием, по-своему спасало и как будто бы выручало.

Факты, их много... Илья Самойлович Зильберштейн — ученый-архивист, литературовед и искусствовед, — вместе с другим подвижником профессором Сергеем Александровичем Макашиным, основал знаменитую серию «Литературное наследство». Под таким титулом публиковались неизданные документальные материалы по истории литературы и общественной мысли. В те голодные на информацию сталинские времена толстые архивные тома читались литературной публикой почти как бестселлеры.

Отказывая себе во многом, Зильберштейн всю жизнь разыскивал и собирал редкую графику и живописные полотна из истории русской культуры. Хранившееся у него бесценное собрание, по завещанию, он передал государству, и оно легло в основу нынешнего Музея частных коллекций в Москве.

Однажды, в конце 50-х годов, Илья Самойлович явился к Федину, бледный, с трясущимися бескровными губами. Оказывается, над его детищем — «Литературным наследством» нависла угроза. Издание выходило с 1931 года. У него было свое лицо и крохотный штат энтузиастов. Но теперь из-за зуда чиновных реорганизаций и перетрясок хрущевских времен, в которые нередко

облекалась к тому же обыкновенная корысть конъюнктурщиков и хапуг, все это должно было пасть и измениться. Из Академии наук издание передали в низовое научное учреждение. А новые хозяева для «большей актуальности» и связи «с партийной линией» ломали сложившийся профиль и внедряли покорных исполнителей.

«Литературному наследству» грозило удручающее падение научного уровня, превращение в сборники агиток, цитат вождей, газетных статей и второстепенных партийных бумаг. Если срочно не вмешаться, издание погибнет.

И Федин вмешивался. Переломить ситуацию было не просто. На помощь пришли другие близкие обоим люди — К.И. Чуковский, академик-языковед В.В. Виноградов. «Литературное наследство» при некотором уровне сохранило свое лицо и ядро единомышленников.

Более сорока лет отдал Корней Иванович Чуковский изучению любимого поэта Некрасова. Он обнаружил «многие тысячи» неизвестных поэтических строк, прокомментировал «Полное собрание стихотворений», издал несколько книг, посвященных творческой лаборатории Некрасова, его биографии, связям с предшественниками. С присущей его перу увлекательностью обо всем этом Чуковский рассказал в итоговом труде «Мастерство Некрасова».

В 1962 году книга была выдвинута на Ленинскую премию. Лучшего кандидата по разделу литературоведения, казалось, трудно вообразить. Но что же обнаружилось вскоре? В ходе так называемого печатного обсуждения кандидатур все больший напор и оголтелость набирали голоса «автоматчики партии», врагов Чуковского.

Некрасов и его поэзия их заботили мало, хотя внешним образом аргументация вроде бы выдергивалась оттуда. Не нравился автор и его общественное поведение. В последние годы Корней Иванович, что широкую огласку обрело позже, все больше сближался с оппозиционерами и критиками режима. В истории с присуждением Нобелевской премии Б. Пастернаку в 1958 году Чуковский ходил поздравлять поэта в момент оглашения вести, да и после не однажды поддерживал его. На даче Чуковского в Переделкине постоянно обретались и получали приют подозрительные и гонимые властями люди из художественной среды. Позже, как известно, там долго жил и работал бездомный А.И. Солженицын.

Я обрелся тогда вдали от Москвы и многого знать не мог. Но волновала почти открытая газетная травля любимого с детства писателя, автора замечательной книги. Это свое отношение я и выразил в письме Федину из Сибири, где говорил «о людях, которые плюют в бороду старцу». Наверное, были и другие протесты того же заряда. Однако не подобные письма или главным образом не они, думаю, побудили Федина к действиям.

Он активно вмешался. И книга Чуковского в 1962 году Ленинскую премию получила.

В январе 1962 года Владимир Санги, впоследствии один из создателей нивхского алфавита, прислал из Южно-Сахалинска первую книгу записанных им «Нивхских легенд», которая вышла тогда еще на русском языке. Ответное письмо Федина содержало разбор произведений сборника. 15 января 1962 года он писал: «Итак, появился первый нивхский писатель — певец нивхов, которому предстоит открыть другим народам душу и сердце своего... Невольно думаешь об этом, вспоминая горькое предсказание Чехова об обреченности

судьбы "гиляков". Судьба переменилась — это с уверенностью можно сказать теперь...»

Между Санги и Фединым завязалась переписка, происходили встречи. Впоследствии Санги имел основания назвать Федина «патриархом многонациональной советской литературы». Можно вспомнить долгую историю и кропотливый труд по созданию журнала «Волга» да и многое еще...

Оргсекретарь, а заодно и партийный комиссар Союза писателей СССР при правлении Федина К.В. Воронков, по должности причастный к исполнению практических замыслов и предложений своего номинального шефа, позже выпустил даже целую книжку. Она составлена из перечней подобных дел и начинаний, исходивших от Федина, и документирована его записками, проектами писем, решений в инстанции, даже протокольными записями некоторых телефонных разговоров. Не берусь судить, насколько это канцелярское творение в глянцево переплете интересно для широкого читателя. Но на биографа впечатление производит.

Он был деловит и дотошен до мелочей. Однако же трудотерапия облегчает болезнь, но не может избавить от нее. Так, оглядываясь на пережитое и подытоживая происходившее, думаю я теперь. Даже наиболее смелые и яркие общественные поступки Федина, как мне кажется, не залечили внутреннего недуга, не исправили духовного слома. И тяготы этой болезни, вынужденное жертвоприношение своего искусства в угоду текучке культуртрегерства, а то и мелочной канцелярщине, Федин неотступно ощущал. Как прокрустово ложе, как вечно висящий над головой меч. Под этим гнетом и давлением заставлял себя жить.

Конечно, угрозой ареста и идеологическими избиениями середины 40-х годов Федин был испуган надолго. Может быть, навсегда. Однако одним только испугом едва ли можно все объяснить.

Искренность исповедей и глубина признаний в письмах близким друзьям и в дневниках — это не только душевный стон. Не только метания и борения духа, в которых часто пребывал этот человек. Была еще вера в социалистический идеал, воспринятая в далекой молодости, пример учителя — А.М. Горького. Душевный стоицизм, воспитанный с детских лет, склонность в напряге сил преодолевать трудности жизни, готовность к борьбе в самых неблагоприятных условиях. Невозможность перечеркнуть многое в прежней своей судьбе, сомнения, упования. Но именно на этом пути случались с ним также и внутренние победы.

Благодаря им он жил, писал, давал притягательные примеры другим, оставался самим собой. Да и вообще реальный человек, тем более крупный художник, всегда ярче, богаче и неожиданней трафаретных схем и ходячих банальностей.

Невыносимую духоту общественной атмосферы с окончательным утверждением сталинского режима, как видно из бумаг лубянских досье, Федин вполне ощущал. Сложившиеся в стране общественные порядки долгими временами внутренне ненавидел. Но как и в какой мере эти убеждения воплощались в практике дальнейшего творчества?

В 1939 году опубликован рассказ «Рисунок с Ленина», вошедший во все тогдашние хрестоматии.

Рассказ написан с «натуры». Летом 1920 года Федин в качестве корреспондента «Петроградской правды» слушал доклад В.И. Ленина на Втором конгрессе Коминтерна и присутствовал еще на двух его выступлениях на Марсовом поле и на Дворцовой площади...

А несколько ранее — зимой 1936 года — Федин задумывает историко-революционную эпопею под названием «Шествие актеров». Сильной стороной романного цикла стали живые и противоречивые фигуры людей искусства — драматурга Пастухова, актера Цветухина и их многоликого окружения, сочное изображение жизни и быта волжской российской глубинки, мещанской и интеллигентной среды. Особенно свеж и красочен в этом отношении роман «Первые радости». Да и вообще, если говорить о развитии заявленной темы — судеб художников на переломах эпох, то после романов «Города и годы», «Братья», повести «Я был актером» и других Федин продолжает движение по собственной стезе.

Однако же, что касается расстановки акцентов в изображении положительных фигур, то творческие устремления писателя затейливыми путями стали отделяться от жизни. Парить и скользить, будто чайки над морем.

Те самые большевики, результаты хозяйничанья которых в стране он видел и понимал, являться стали в облике рыцарей истины и добра на страницах того же романного цикла. Правда, по сюжету, то была их романтическая юность, героическая и самоотверженная молодость. Отбирались притом наиболее искренние, честные и бескорыстные. Вроде Рагозина и Извекова в романах «Первые радости» (1943 — 1945), «Необыкновенное лето» (1945—1948)...

Понятное дело, что при создании задуманной историко-революционной эпопеи о людях искусства обойтись вообще без положительных образов большевиков в условиях советского режима было просто невозможно. Однако же, скажем, в трилогии «Хождение по мукам» Алексея Толстого (1920—1941), упредившей Федина, и потому, что греха таить, отчасти в состязании, а порой и с подражательной оглядкой на которую писался его романтический цикл, вовсе не герои-большевики находятся в центре авторского внимания. Катя и Даша, Телегин и Рошин одержимы собственными и в основном личными исканиями. Тем более это относится к эпопее М. Шолохова «Тихий Дон» (1927—1940).

Реальные жизненные прототипы большевиков — наиболее подходящие для фигур истинных борцов за народное счастье — к поре написания фединских романов то ли косой политических репрессий, то ли административной метлой в подавляющем большинстве были выбиты и оттеснены с видных постов, если не вообще с исторической сцены. Их место заняли люди — «рычаги» и «винтики», перерожденцы, взращенные чередой десятилетий насильственного и бесконтрольного пребывания у власти. Выходило, что романист создавал нимб вокруг нынешних руководящих голов. Приходилось восхвалять тех, кого он внутренне презирал или ненавидел.

Но и такая готовность к внешним уступкам и внутренним компромиссам, как обнаружилось вскоре, была недостаточной. Увы! Параллельно, как оказалось, он написал — вот ведь незадача! — слишком правдивую и яркую мемуарную эпопею о неприкасаемом Горьком.

Идеологическое побоище 1944 года вокруг книги «Горький среди нас»

явилось последним жестоким предупреждением только недавно перешагнувшему пятидесятилетие Федину, в самых глубинах души остававшемуся радетелем «чистого искусства». В мгновение ока знаменитый писатель был обращен в отщепенца, выставлен у позорного столба со связанными назад руками, перед толпой остальных, в него плевали и кидали камни ближайшие соратники и товарищи по перу. Так отучали вольнодумствовать.

Все это надо было пережить. От многих своих принципов Федин не отступил. Уже после постановления ЦК «О журналах "Звезда" и "Ленинград"» продолжал дружить, например, с избитым, исключенным из Союза писателей, лишенным возможности печататься, психически искаленным другом творческой молодости еще по кружку «Серapiонов» Михаилом Зощенко. Переписывался с ним. Помогал материально.

Слова духовной поддержки художника сопровождаются в письмах Федина короткими упоминаниями. 27 июня 1950 г.: «Дорогой Миша, сегодня Дора Сергеевна поехала в город и сделает то, о чем ты просишь...» (Жена Федина отправила денежный перевод М.М. Зощенко.)

8 февраля 1953 г.: «Дорогой Миша... Я решил послать тебе немного деньжонок, чтобы тебе легче работалось. Не посетуй на меня — делаю это от души».

Еще в 1943 году Федин написал блестящий очерк «Михаил Зощенко». Рассказы Зощенко по оригинальности и силе таланта сравниваются там с произведениями Лескова и Гоголя. Напечатать очерк из-за начавшихся идеологических погромов Федин не успел. Но готовя в 1957 году упоминавшийся сборник «Писатель. Искусство. Время», в неизменном виде включил его туда.

Постановление ЦК к той поре никто и не думал отменять. Однако, возвеличивая одного из главных его фигурантов, Федин молчаливо подсекал основу партийного документа. Статья содержала не просто духовную реабилитацию Зощенко, но и новое высшее утверждение его художественной значимости. Федин гордился, что успел публично высказать это при жизни друга.

Не отрекся он и от Ахматовой. В 1946 году, едва не оказавшись за тюремной решеткой, изруганный за книгу «Горький среди нас», Федин писал своему ленинградскому другу — писателю Н.Н. Никитину: «Ахматовой передай привет. Узнай, как живет Анна Андреевна, и напиши мне непременно».

«Это был знак моральной поддержки, — замечает публикатор архивных документов В. Перхин, — в тот год, когда А.А. Жданов объявит Ахматову и ее стихи ненужными в советской литературе». Федин продолжает поддерживать дружеские отношения с Ахматовой (как и с Зощенко) также и на домашнем уровне. Дневниковая запись Федина (после 23 сентября 1949 года): «К обеду Анна Андреевна Ахматова. По-старому "царственное" величие... Классицизм суждений, бесстрашие взгляда как плод гордого самосознания. При полном понимании труднейшего своего положения "отвергнутой", она как бы говорит, что покоряется необходимости быть именно отвергнутой, ибо "достойна" играть столь важную роль "избранницы". Все это без навязчивости, с прирожденным тактом самоуважения».

И для Федина это была линия давних и стойких отношений. Еще в 1929 году, возглавляя кооперативное Издательство писателей в Ленинграде, он добивался публикации двухтомника Ахматовой. Гонимой, к той поре официально почти забытой. В записке, направленной в центральное цензурное ведомство

весной 1929 года, Федин, в частности, писал: «Анна Ахматова занимает в поэзии место бесспорное. Обойти ее в истории русского стиха так же невозможно, как невозможно обойти Тютчева, Блока, Хлебникова». В марте следующего года он специально ездил в Москву и в течение полутора часов пытался убедить в этом начальника Главлита П.И. Лебедева-Полянского. Вбить истину в каменную голову или же, мягче сказать, — своротить главного цензора с постаменты ортодоксии не удалось. В горячах Федин оставил запись в дневнике: «Нельзя назначать на цензорское место людей, которым место в приюте для идиотов».

Показательный документ выкопан из архивов составителями уже упоминавшегося нами нового сборника «Между молотом и наковальней» (2009 г.). Во второй половине 30-х годов, как уже сказано, Федин был председателем Литфонда СССР. 15 ноября 1939 г. он писал из Москвы в Ленинград Михаилу Зощенко:

«Дорогой Миша!

Президиум Союза вынес ряд решений для обеспечения жизни и быта А.А. Ахматовой. Ей будет выдано единовременное денежное пособие, и Литфонд будет выплачивать известную пенсионную сумму впредь до получения от правительства постоянной персональной пенсии.

Ты знаешь особенности характера Анны Андреевны и понимаешь, как трудно наши благие намерения осуществить, не обижая Анну Андреевну. Поэтому очень прошу тебя дело в части Ленинградского горсовета (мы просили предоставить Анне Андреевне самостоятельную площадь) взять на себя.

Сходи, пожалуйста, в Ленсовет к тов. Попкову, который предупрежден о твоём визите, и помоги в этом срочном и крайне важном деле. Выписку из нашего протокола, которую, на мой взгляд, не следует разглашать и, конечно, не нужно показывать Анне Андреевне, которая должна быть поставлена перед свершившимся фактом помощи ей, посылаю тебе с этим письмом.

Твой К. Федин».

Одновременно, как сообщается в комментариях к публикации, Федин направил руководителю Ленгорисполкома П.С. Попкову выписку из постановления президиума ССП от 11 ноября 1939 г. и сообщил, что все дела по этому вопросу поручено вести М.М. Зощенко. Несмотря на долгое сопротивление местных чиновников, замысел удалось осуществить в полной мере.

Из дарственных автографов Ахматовой Федину петербургский публикатор В. Перхин, если вернуться к его статье в журнале «Нева» (1995, № 5), — складывает смысловую колонку. В апреле 1937 года, когда истребительные репрессии косили все вокруг, Анна Андреевна написала на журнальной статье по творчеству Пушкина: «Константину Александровичу Федину — прекрасному писателю и доброму человеку. *Ахматова*».

В августе 1940 года после полутора десятков лет молчания вышел, наконец, долгожданный сборник ее стихов «Из шести книг». Поэт в дарственной надписи обозначила уровень отношений: «Милому Константину Александровичу Федину от его старого друга. *А. Ахматова*».

«Старого друга» — такими словами она не бросалась.

«Да, позади были тридцать пять лет дружеского, сердечного внимания друг к другу, — заключает В. Перхин. — Гордое величие Ахматовой поддерживало силу духа и внутреннюю независимость у склонного к колебаниям и компромиссам Федина, а его душевное внимание помогало Ахматовой выдержать

десятилетия морального террора со стороны государственной власти и стаи официозных литературных критиков».

Собственный характер Феина, однако, не выдерживал давления идеологической обстановки и окружающей среды. Он задыхался и часто не находил в себе опоры. Испуг перед однажды пережитым, как химеры, плодил новые страхи.

Но это и было тем самым страхом перед жизнью, вернее, перед реальностью жизни, который диагностировал Трифонов в фигуре Киянова в романе «Время и место».

Мало кто из литераторов, живших в те страшные времена, мог бы похвастаться, что полностью пересилил душевную коррозию, избежал губительных внутренних процессов. Дело в степени, в осознании той грани, за которую дальше ступить нельзя, чтобы полностью не обратиться в казенный патефон.

VIII. Споры с наставником

Несмотря на волны признательности к учителю, рано стали возникать и первые несогласия с ним. С молодым поколением так, наверное, бывает всегда. Иные расхождения надолго оставляли по себе духовные меты, как, например, при оценке судьбы «Ракового корпуса» Солженицына. Что-то возникало и растворялось в воздухе, будто его и не было. Другие несогласия копились и зрели постепенно.

Случай, относящийся к лету 1962 года, вылился даже на страницы печати. Феин подробно среагировал на него в письме. Речь шла об одном из центральных эпизодов той самой первой книги романа «Костер», которую печатал у себя в журнале Твардовский. О ней он отзывался высоко — в одном из писем Феину писал, что, читая, «радовался за Вас, за нас и за читателя, который уже столько лет не имел такого основательного чтения».

Роман в целом посвящен эпохе Отечественной войны. В этой заключительной части трилогии автор отважился на дерзкий беллетристический эксперимент. Своих героев, в том числе Рагозина и Извекова, романист, будто на машине времени, переносит из переломного и победного года гражданской войны 1919-го в пик политических расправ и посадок, когда бритва сталинских репрессий срезала головы поколения, свершившего революцию, — в 1937-й год. Для начала он окунает их в эпоху внутренних разборок, кровавой мясорубки. Подтверждался давний афоризм: «революцию задумывают мечтатели, делают герои, а выгоду из нее извлекают негодяи».

У меня хранится письмо К.А. Феина от 23 июля 1962 года — ответ на мою статью в журнале «Сибирские огни», посвященную как раз первой книге романа «Костер». Из письма видна суть возникшего у нас тогда спора об изображении «психологического удара», перенесенного политическим «штрафником» Извековым в самую истребительную пору «ежовщины».

Разумеется, от столпа Союза писателей СССР было бы нелепо ожидать солженицынской безоглядности, тем более, что «Костер» писался задолго до появления «Одного дня Ивана Денисовича» и героями его были не какие-то там лагерники да вертухаи, а негнбаемые борцы за коммунистическую идею. Но тема несправедливых репрессий в романе присутствует. Безвинно проштрафившийся участник гражданской войны Извеков проходит кругами «чистки», но

проходит их, как бы сказать, в очень шадящем, дистиллированном виде. Нет здесь ни садистов-следователей, ни ночных арестов, ни тюрем, ни пыток, ни бескрайних обитателей ГУЛАГа... Представлены лишь однотонные, как близнецы, типовые кабинеты и коридоры тогдашних высших партийных инстанций — ЦК ВКП(б) и его Центральной Контрольной Комиссии. С оклеветанным коммунистом беседуют, в конце концов, его же партийные товарищи.

Между тем на повальные расправы 30-х—40-х годов у меня была особая личная рана. Я дважды пережил все тяготы и последствия арестов отца, заводского инженера-экономиста. Один из ночных арестов происходил при мне, тогдашнем второкурснике МГУ. Мы немало перестрадали во время пребывания отца в лагерях и ссылке. Не говоря уж о том, что тюремные сроки развалили нашу семью, отравили детство и юность, вплоть до окончания университета.

Вот отчего в критической статье эти главки романа не просто обсуждались подробно. Но поневоле стали ее центром, причем автор находил, что драматизм их ослаблен определенной локальностью и камерностью происходящего, в частности, скупой и не всегда выразительной подачей примет и деталей, из которых мог бы вырисоваться фон окружающих событий. Ведь террор тогда разлился повсюду и рубил все социальные слои. Иначе говоря, подлинный размах злодеяний второй половины 30-х годов, захвативших страну, на мой взгляд, был размыт и по-настоящему не показан в романе.

По-другому я, если бы даже очень хотел и старался, написать не мог. И в каких-то пределах (с «неполнотой раскрытия психического удара») романист со мной согласился.

Письменный ответ Федина на присланный ему номер «Сибирских огней» привожу почти полностью: «...Наверно, это одна из лучших статей о "Костре", которые мне пришлось прочитать, если не самая лучшая,— откликнулся он.— Близки к ней статьи В. Смирновой, Виктора Шкловского. Говорю, конечно, не о "похожести", но о том внутреннем внимании к замыслам автора, из которого вытекает и верность суждений, и разгадки подтекста, и — может быть — сочувствие с автором (и к автору!).»

Вы спрашиваете о моем отношении к анализу извековско-рагозинского эпизода 37-го года. Он — этот анализ — понятен мне. Его можно назвать тонким, интересным. Известная неполнота раскрытия психического удара, перенесенного Извековым, имеет место в романе. Но вот о б с т о я т е л ь с т в а "дуэта" двух старых друзей как будто упускаются Вами. Не хотите ли Вы сказать, что в с я п а р т и я з н а л а о "массовых несправедливостях... неожиданных репрессиях", и что разговор об этом запросто мог вестись — где? — в кабинете Рагозина? Уж в кабинете-то этом никак не могли работать люди, считавшие репрессии... несправедливыми! Это что касается Рагозина. Что же до Извекова, то (именно при его принципиальности) мог ли он до разговора с Рагозиным почитать происходившее в 37-м году "несправедливостями" и не попасть, по меньшей мере, в Магадан? Если же не попал, то — значит — п р и н ц и п и а л ь н о соглашался с наличием во всех щелях "врагов народа". Конечно, так. Потому-то он и испытал шок, будучи зачислен сам в эту категорию "врагов". Что же до его "примиренческой" формулы ("делай, что должно..."), то, не приди он к ней, ему надо было бы потерять веру в партию. Мог ли он? Вы знаете, что не мог... В безвыходности-то для него и заключается все дело.

Одного места романа в анализе Рагозина Вы не коснулись: кончив стоять у окна и перейдя к столу, он вслух говорит себе — "Нет, невозможно поверить!" И еще: в конце 3-й п[од]главки Шестой главы Рагозин (проводив Кирилла) словно бы пришел в себя: "И тут в нем очнулась к Извекову любовь".

Думается, остановись Вы на этих штрихах, Вам понадобилось бы внести добавочные мысли в суждение (и осуждение) Рагозина.

А главное: г д е, к о г д а, с к е м все это происходит?., вот что нельзя упускать... Писался он (этот эпизод. — Ю. О.) до XXII съезда. А место действия за всю историю сов. литературы не фигурировало ни у одного романиста...

В общем же, повторяю, анализ Ваш весьма серьезен, убедителен во многом. Еще раз спасибо Вам».

XXII съезд КПСС проходил в октябре 1961 года и, стало быть, соответствующие эпизоды создавались за год с лишним до появления «Одного дня» А. Солженицына. Да и летом 1962 года, когда совершался обмен мнениями, публикацию повести еще трудно было представить.

В своем письме Федин выделяет среди прочего сцену, когда «штрафной» Извеков приходит в высокий надзорный кабинет Центральной партийной Контрольной Комиссии, в это олицетворение «ока государева». В кабинете сидит учитель и друг по революционной борьбе Рагозин. Много лет они не встречались. Каждый происходившее переживал внутри себя и существовал наособицу. Когда-то они составляли живое целое. Теперь один был подозреваемый, другому требовалось вынести неизреченный приговор, который в ту пору массовых посадок редко мог быть оправдательным.

Некоторых дорогих для автора, чисто изобразительных, мотивов напряженного внутреннего психологизма этой сцены я, возможно, недооценил. Для меня 1937-й, год «ежовщины», был годом кровавых репрессий, разлившихся по стране. А в смысле вины и ответственности за происходившее не особо-то хотелось вдаваться в тонкости. Кто кого в данный момент расследует, кто чью судьбу держит на веревочке? Слепцы оба, завтра могли поменяться местами. Зачем же нам слепцов выдавать за совесть эпохи? В кабинете Рагозина мне не хватало воздуха, нечем было дышать.

Уроки собственной судьбы и стекавшиеся к ним знания были понятней и ближе. Все происходившее тогда хотелось осудить и проклясть. Скопом.

Виктор Шкловский, написавший позже большой мемуарный очерк «Федин» (1966—1979), отнесся к психологическому наполнению этой сцены, может быть, тоньше и уж, во всяком случае, снисходительней.

«Извеков приходит к старому своему другу Рагозину, — пишет В. Шкловский. — Рагозин, наведя справки, принимает Кирилла Извекова с малословной строгостью. Два человека ищут веры, хотят они верить в одно и то же, и не верят в то, во что хотят верить. Они кажутся друг другу не действительностью, а отражением. Они каждый понимают правоту другого и видят, что их правота разошлась».

Одна из центральных сцен романа построена на том, что ситуация, перешедшая в конфликт, не получает никакой развязки, даже условной. Параллельные линии не сходятся, а сблизиться, искривив себя, они не могут».

Возможно, все это так. Психологические переживания персонажей Извекова и Рагозина прослежены тонко и мастерски. Но, так или иначе, оба на поверку оказываются не более чем «винтиками партии». Вот и все. Понять их,

конечно, можно, но сопереживать им душой?.. Особенно человеку других путей и других жизненных знаний?.. И никакое «мастерство», увы, здесь не спасает.

Возможно, взаимная откровенность способствовала развитию отношений.

Чтобы «изнутри» продолжать мемуарный рассказ, придется вернуться к дальнейшим поворотам судьбы провинциального журналиста. После репортерских пересечений 1957—58-х годов в Куйбышеве и Саратове лично с К.А. мы года три не встречались. Было лишь замечательное письмо великодушного наставника о первой книге — очерковом сборнике «Серебристые облака».

Нащупывая тропу, я старался не ударить лицом в грязь. В качестве собственного корреспондента «Литературной газеты», одержимый журналистским азартом, вел себя по-мальчишески дерзко и неосторожно. Некоторые острые выступления имели всесоюзный резонанс и даже вызвали постановление Совета Министров РСФСР. Выделялась статья «Пираты у Волжской плотины», написанная в соавторстве с моим другом, талантливым писателем и сотрудником областной газеты «Волжский комсомолец», рано умершим Геннадием Гулиным (литературный псевдоним — Андрей Вятский, белобрысый добродушный Генка отчим краем для себя навсегда числил Вятку, где родился и вырос). Статья была о разгульном браконьерстве под вновь выстроенной Куйбышевской ГЭС, первенце гигантского волжского каскада.

Перед новым непролазным забором плотины весной останавливались бессчетные стада осетровых, идущих вверх по Волге к традиционным местам метания икры. Вода кипела от рыбы под плотиной, как в магазинном аквариуме. Осетров можно было брать сетями, глушить динамитом и концами проводов с током высокого напряжения, благо гидростанция была под боком и в браконьерстве не обходились без участия «своих». Это грозило исчезновением осетровых рыб, да и вообще обезрыблением Волги.

Орудовали межрегиональные шайки. Процветал рыбный бандитизм в самых различных формах. Продавали черную икру из выпотрошенных в нерест и выброшенных за ненадобностью назад в Волгу осетровых туш. Торговля ею развевалась во многих городах страны. Возникали перестрелки с малочисленной и слабо вооруженной рыбной охраной. Однажды ночью под плотиной ее хилая моторка была потоплена, а барахтавшийся в воде экипаж из трех человек с прогулочного катера браконьеры били баграми по головам. С Гулиным и сотрудниками рыбной охраны до публикации статьи мы собирали и тщательно документировали подтверждающие материалы не один месяц.

В здешних хищнических похождениях были замешаны начальник мировой гидростанции А. Рябошапка (прогулочный катер принадлежал ему и бесконтрольно использовался пьяной обслугой), областной прокурор, сам однажды во время браконьерских занятий по ошибке связанный рыбной охраной, и много другого местного руководства. Словом, статья, проблемная для страны, вызвавшая потоки писем в редакцию и постановлений разных инстанций, — для Куйбышева была еще и скандальной.

Сходного замеса была и другая публикация — «Дело о Студеном овраге», разоблачавшая продажность и преступные деяния местных начальников в аферах дачного строительства.

Печатные триумфы новоявленного «разгребателя грязи» закончились пла-

чевно. После многомесячных разбирательств неопровержимых фактов под давлением Куйбышевского обкома КПСС дипломатичное и податливое руководство редакции во главе с В.А. Косолаповым для «утихомиривания страстей» закрыло корреспондентский пункт на Волге.

Меня по той же соборовской линии даже с поощрительным повышением перебросили на работу в Сибирь. Теперь я заведовал Сибирским отделением «Литературной газеты», из двух человек (вторым корреспондентом был поэт Илья Фoniaков), с постоянным пребыванием в Новосибирске.

На этом жизненном повороте я и получил от Феина приглашение при очередной оказии навестить его в подмосковном Переделкине. Оказывается, наших «пиратов» он читал, резонанс на них знает. Интерес писателя, безусловно, подогрела и моя недавняя статья в журнале «Сибирские огни», о которой я только что говорил. В результате произошла первая «домашняя встреча».

Помню, как, сидя в черном мягком кожаном кресле против спокойного внимательного слушателя, покуривавшего трубку, я рассказывал о произведенной со мной кадровой «рокировке» с Волги на Обь. Затем я долго ораторствовал, изливая свои впечатления о жизни и делах в Сибири. Рассказывал о пустых продовольственных магазинах, где есть только кадушки с синеватыми селедочными спинками, зеленоватые треугольные граненые пузырьки с уксусом на полках и маргарин в шоколаде (для денежного повышения товарооборота!) на прилавках. О жуткой тиши атомной тревоги в обезлюдевшем городе, во время недавнего Карибского кризиса (в Новосибирске такие атомные тревоги объявлялись). О парадном явлении Хрущева в том же Новосибирске на совещании передовиков сельского хозяйства Сибири и Дальнего Востока и его беспрестанных «исторических репликах», которыми он, как кукловод за ниточку, дергал ораторов на трибуне, почти никому не давая произнести живого слова и т.п.

Битых два часа Феин следил за поворотами им же вызванного рассказа, поощряя продолжение короткими репликами и вопросами. В таких доверительных информаторах с мест он, видимо, нуждался. В голове осталась фраза: «Это очень хорошо, что у вас такой не внутрицеховой... не союзнописательский подход...»

Осталось впечатление, что о жгучих проблемах дня, опрокинутых в политику, Феин предпочитает больше слушать, чем высказываться. Выглядел он человеком осторожным. К той поре Феин уже занимал высокие общественные посты, с 1959 года был первым секретарем Союза писателей СССР. Так что к сдержанности вроде бы обязывало и положение. Впрочем, для молодого человека — провинциала, далекого от столичных мерок, — важно было высказаться самому, чтобы его слушали, а остальное приложится.

С годами, правда, особенно после переезда на жительство в Москву, стал я замечать, что внимательное слушание для такого воспитанного европейца, как Феин, вовсе не всегда означает согласие. Могло случаться даже совсем наоборот. Вплоть до краткого, но резкого отпора.

IX. Дуэль за спиной памятника

...Для цельности рассказа перечислим несколько биографических вех и событий, произошедших с К.А. за это время. В апреле 1949 года за романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето» Федина наградили Сталинской премией первой степени.

А в мае 1959 года, на шестом году «оттепели» и правления Хрущева его поставили (то есть, конечно, «избрали»!) вместо А.А. Суркова на пост первого секретаря Союза писателей СССР.

По советским ранжирам это была министерская должность. Федину предстояло пройти через все спирали и «волчьи ямы» высшего «придворного» сановника. Для крупных писателей участь, конечно, не новая. В классических фигурах в России она ведет исчисление, может быть, с Державина, ставшего долголетним высоким сановником при Екатерине II. Несмотря на бесчисленные свои оды Фелице, ее фаворитам и придворным, а также самодержцам и двору двух последующих императоров, выдающийся поэт в общем все-таки выдержал эту роль без большого ущерба для своего дара... Но то были, конечно, другие времена.

Ближайшие друзья и знакомые приглядывались, как Федин берет психологические барьеры. Одна из наиболее проникательных наблюдательниц, Анна Алексеевна Капица, жена выдающегося физика, 13 июля 1959 года сообщала художнице Валентине Ходасевич письмом со своей дачи на Николиной Горе, расположенной неподалеку от Барвихи: «Да, когда мы были у Ек. П. <Пешковой>, то туда пришли каторжане — в пижамах из "Барвихи" — Маршак и Чуковский. Ивановы привезли Ираклия <Андроникова>. Все были "добры" с Фединым. Приехал очень почтительный министр с министершей (в роли «министерши» Федин привез так до конца и незаконную свою любовь Ольгу Викторовну Михайлову. — Ю.О.). Ираклий гениально приветствовал Федина от имени Суркова — просто феерически. Было очень жаль, что не было Вас».

С момента, когда К.А. за шуточной андрониковской маской писательского министра все чаще обращался в реального министра, а затем или вместе с тем и в «министра собственной безопасности», утекло немало воды.

Когда в мае 1959 года Федин согласился принять высший пост в Союзе писателей СССР, то, при знании им собственных возможностей и строя внутренних понятий, это был рискованный компромисс. В том же романном персонаже — писателе Киянове — Ю. Трифонов косвенно обозначил и то, чего не хватило на новом посту исходному прототипу. К.А. был слишком кабинетный человек. Не хватило масштабов личности, решимости, мужества, силы воли, гражданского темперамента.

По сути, ему предстояло быть зиц-председателем Союза. Поскольку подлинным председателем было, понятно, ЦК КПСС. Согласившись на эту роль в ту сложную эпоху, беспартийный Федин, мне кажется, обрек себя на занятие не своим делом. А эпоха выпала, действительно, крутая и взбалмошная. Переход от сталинизма к «оттепели» и от нее обратно к неосталинистским заморозкам. Федин был книжник, а не политик. И обращаться из художника в политика, «торговца писчебумажными товарами», если вспомнить когда-то засевшие в натуре «отцовские начала», — это требовало все-таки противоестественного

напряжения, «надрыва над собой». Он не годился быть руководителем государственного масштаба, какими, скажем, по свойствам натуры до него были писательские руководители «сталинского разлива» — пламенный «комиссар» и генсек А.А. Фадеев или даже убежденный коммунист А.А. Сурков.

Но именно в подобном сговорчивом, «рыхлом» зиц-председателе с незапятнанной литературной репутацией, власти тогда и нуждались. И Федин с годами все больше настраивался исполнять взятую роль. Мелкими делами, культуртрегерством, совершая множество благородных и полезных дел, он как будто сводил баланс, отвлекал в сторону, задабривал собственную совесть, стараясь возместить то, от чего уклонялся и чего не исполнял по главному счету. И это поначалу как будто всех устраивало.

Старую площадь, где размещался ЦК, интересовало, прежде всего, использование репутации и имени советского классика. А его власть в СП СССР — и с годами, чем дальше, тем очевидней! — была скорее номинальной и представительской, чем реальной. Главное делалось за его спиной. Третью срока своего пребывания у руководства он даже и формально числился уже не первым секретарем, а — пышно и пусто — председателем Союза писателей.

Когда на дачу к Федину с кипой бумаг в кожаных папках на подпись приезжали реальные чиновные правители Союза писателей СССР — Г.М. Марков и К.В. Воронков, «отъевшаяся лиса» и «челюсть», по выражению Солженицына, а позже Ю.Н. Верченко, внешне благодушный толстяк с зорким прищуром светлых глаз, то почти все уже было согласовано, прокручено, затверждено в кабинетах ЦК и на этажах соответствующих ведомств.

Вникать, возражать и спорить чаще всего не имело смысла. Оставалось хлопнуть кулаком по столу и заявить о своем уходе. Но на это не доставало ни внутренней решимости, ни сил. К тому же он и сам, как и некогда вернувшийся из эмиграции в сталинские объятия его учитель А.М. Горький, был плотно опутан хитросплетениями официальной советской идеологии и часто увязал в них. Поэтому Федин редко спорил, а чаще выводил свою размашистую и красивую подпись. То есть исполнял ту самую функцию «чучела орла», которую закрепила за ним либеральная фольклористика. Несогласия, возражения и сетования нередко доставались лишь страницам дневников да иногда частным разговорам.

Однако время от времени раздавался беззвучный удар гонга. Призыв сесть в председательское кресло и отрабатывать должность. Следует отдать справедливость, случалось это не так уж часто. Его щадили, а может, берегли лишь для самых крайних случаев, опасаясь инфляции имени, и призывали на помост, когда требовался какой-то сокрушающий удар. В руках чиновной братии Г. Маркова и его когорты Федин был козырной туз, который пускали в игру, когда без этого уж никак обойтись было нельзя. Впрочем, вполне допускаю, что примешивались сюда еще и элементарный расчет, и чувство осторожности. Федин был все-таки человек другой выучки и формации, и если за конечный результат можно было не беспокоиться, то в тактике проведения замысла он мог наломать дров, наговорить несуразиц, надавать ненужных обещаний и т.д. У плиты бюрократической кухни этот литературный классик был неловок, косноязычен и даже бездарен, как безнадёжная стряпуха.

Именно так все это и происходило в сентябре 1967 года на судьбоносном

расширенном заседании Секретариата правления СП СССР, центральным событием которого было резкое столкновение Федина и Солженицына.

Самое удивительное, что еще одним учеником Федина, как это ни покажется странным, был именно он, Александр Солженицын. Об этом рассказывает Людмила Сараскина в своей книге «Солженицын» (М., 2009, серия «ЖЗЛ»).

Притом биография эта, создававшаяся много лет, выход которой намечался первоначально к 90-летию Александра Исаевича, вырастала среди прочего не только на базе личного архива писателя. Но и в значительной мере была авторизована героем повествования.

Завязка отношений с Фединым случилась в 1944 году. Командир разведывательной звукобатарей, 25-летний фронтовой капитан Солженицын, в недавнем прошлом студент литературного факультета МИФЛИ, к той поре успел уже перепробовать себя во многих жанрах — от стихов и прозы до драматургии. И перед ним, как это водится, во весь рост встал роковой вопрос: кто он? стоит ли продолжать свои усилия дальше? Тем более, что автора звала и манила грандиозная творческая цель. Его воображению уже рисовались контуры будущего «Красного колеса» — история революции в России, которую он хотел осмыслить и воссоздать во всей живой полноте и красочности. По истолкованию тогда еще вполне ортодоксально, с ленинских позиций.

Требовался безукоризненный арбитр авторских возможностей. Есть ли у него художественные данные, достанет ли литературного таланта и сил? Опять этот треклятый вопрос всех молодых! И кто же это должен был определить? На роль высшего судьи был избран Константин Федин. А на подмогу и возможную замену ему еще Борис Лавренев. Этим людям Солженицын переправил на суд отобранные им сочинения.

«Если Федин, — передает события Сараскина, — прочтет военные рассказы и поставит на них крест, если автор сам поймет, что не способен создать нечто великое, — с мечтой, которой отдана вся юность, будет покончено. Он бросит писать, но не оставит свою цель, перейдет на истфак и уже как историк положит жизнь на алтарь ленинизма. Если же литературный талант будет у него обнаружен (Фединым, Лавреневым или кем-либо другим), то он, писатель Солженицын, будет создавать романы по истории революции...» (с. 245). Федин избирался Солженицыным в глашатаи судьбы!

Но почему именно Федин? Что конкретно покорило фронтового капитана из его романов о коллизиях человеческой природы и судьбах людей и искусства в революции? «Города и годы»? «Братья» (о композиторе, а Солженицын был очень музыкален) или что другое? Биограф не сообщает. Но объемистые сочинения прозаика требовали основательной проработки. И тем не менее или именно из-за широты охвата социальных проблем на первое место встал Федин, в то время никаких высоких постов в писательской иерархии не занимавший, а даже, напротив того, публично изруганный и гонимый. Можно сказать лишь, что у такого вдумчивого и расчетливого человека, как Солженицын, выбор главного арбитра для решения собственной судьбы едва ли мог быть случайным.

Пересыльная фронтовая оказия Федина тогда не достигла. Адресат куда-то переезжал, и пакет с рукописями передать ему не удалось. Рассказы Солженицына с запросом о его будущем к Федину не попали. Знакомство не состоялось.

Но жизнь двигалась дальше. Во второй раз судьба заочно свела их в 1962 году в стенах журнала «Новый мир». Там объявилась переданная бывшим напарником по «тюремной шарашке» Львом Копелевым рукопись, слепо напечатанная на машинке через один интервал на обеих сторонах листа. Сочинение бывшего зэка, а ныне школьного учителя математики из Рязани — рассказ «Щ-854». Этот будущий печатный дебют Солженицына затем обрел всемирную известность как повесть «Один день Ивана Денисовича».

Федин в качестве члена редколлегии «Нового мира» не просто вместе с главным редактором и его командой стоял за публикацию. Но и сыграл в раскладе борющихся сил существенную роль в том, чтобы первое художественное изображение будней ГУЛАГа пробилось на страницы печати. Однако же на людях действовал уже с обретенной к той поре после публичных побоев и официальных возвышений дипломатичной осмотрительностью.

Л. Сараскина приводит свидетельство заместителя главного редактора Владимира Лакшина: «Как записал В. Лакшин в июне 1962 года, Федин, член редколлегии "Нового мира", очень хвалил Солженицына. "Вы сами не знаете настоящей художественной цены этой повести Солженицына". Но написать на бумаге отзыв боится. "Ну, вот только не знаю, как вы это напечатаете?" — сказал еще Федин. — А папе (то есть Хрущеву) показывали?"»

Не забудем, однако, что в ту пору Федин был уже не только членом редколлегии журнала, но и первым секретарем Союза писателей СССР. А пост диктовал собственные правила политаеса и обхождения.

Твардовский же, напротив, впоследствии подчеркивал важнейшую роль мнения Фебина при решении участи «Одного дня Ивана Денисовича». Причем отмечал это даже в неблагоприятный вроде бы для их отношений с Фебиным момент.

В своем публичном письме 1968 года Фебину по поводу запрета на публикацию «Ракового корпуса», получившем хождение в литературной среде, он писал: «Ваша высокая оценка рукописи, поступившей в "Новый мир" от безвестного автора, сыграла свою роль в ее судьбе: ставя вопрос об опубликовании ее, я особо ссылаюсь на Вас в своем письме на имя тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева («Иван Денисович», как известно, был напечатан «с ведома и одобрения ЦК КПСС»).

Случались ли при этом личные пересечения Солженицына и Фебина во время борьбы за публикацию «Одного дня» и его последующего триумфа вплоть до выдвижения повести на Ленинскую премию, сведений нет.

Третий по счету литературный контакт заочного питомца и потенциального учителя свершился осенью 1967 года. На сей раз это была встреча лицом к лицу и совершенно обратная по духу. Она-то и обрела форму публичной литературной дуэли, на которую младший дерзко и принародно вызвал старшего. Происходило это 22 сентября 1967 года, почти сразу после Четвертого съезда Союза писателей, на вошедшем в историю знаменитом расширенном заседании Секретариата правления СП СССР, посвященном публичным акциям и литературной судьбе А.И. Солженицына. Председательствовал на нем К.А. Фебин...

Однако прежде немного о нашем разговоре с Фебиным о Солженицыне и сопутствовавших этому событиях.

За пять лет, истекших с триумфа «Одного дня Ивана Денисовича»,

произошло много перемен. В октябре 1964 года в результате тихого государственного переворота был свергнут Н.С. Хрущев. Эпоха оттепели, «маярийной оттепели», по выражению Солженицына, закончилась. Шли заморозки, накатывался вал неосталинизма. Хотя взявшая бразды правления когорта чиновных партократов во главе с Брежневым делала вид и уверяла, что порядка и свобод лишь прибавилось.

Одним из таких заигрываний с творческой интеллигенцией явилось в ноябре 1966 года обсуждение на расширенном заседании секции прозы Московской писательской организации под председательством дисциплинированного военного писателя Георгия Березко первой части повести Солженицына «Раковый корпус». Хотя прошло оно почти триумфально, самой публикации повести это никак не подвинуло.

Далеко не все тогда было известно. Но параллельно с тем, что иногда радужно пузырилось на поверхности, другие события происходили в темных общественных глубинах. Еще в 1965 году на квартире Теуша, одного из друзей и доверенных лиц Солженицына, органами госбезопасности после слежек и обыска был изъят хранившийся там архив писателя... На его открывшееся содержание КГБ ответило массированными ударами.

Со стороны Главлита был наложен запрет на издание произведений Солженицына и даже на упоминание его имени в печати. В лекциях и докладах многих популярных лекторов умышленно распространялась «деза» — то там, то сям пускались клеветнические сведения о биографии Солженицына, выдумки об изменническом поведении в период войны командира фронтовой звукобатареи, то ли о дезертирстве из армии, то ли даже о службе на немцев. Немногие его книги, в том числе недавняя без пяти минут лауреатская «Один день Ивана Денисовича», изымались из библиотек.

Я, вчерашний провинциал, в это время учился в аспирантуре, в членах Союза писателей не состоял, занят был подготовкой к защите диссертации по психологии творчества. И, в общем, о происходившем в московской литературной среде имел довольно смутное и отдаленное представление. Но в отголосках событий улавливал одну из волн мрачной реставрации сталинизма.

«Раковый корпус», ходивший в списках по Москве, я читал. Эта большая повесть, которую из-за размеров (700 страниц печатного текста) часто называют романом, как просачивались слухи, с триумфом обсуждалась на секции прозы в СП Москвы. Но тем не менее печатать ее не печатали. А журнальный набор первой части рассыпали. Происходила какая-то пробуксовка колес на болотистой или песчаной почве. Редакция и Твардовский лично, как мне рассказывали приятели — «новомировцы», — М. Хитров и А. Ермаков, всеми силами пытаются пробить «Раковый корпус», но это никак не удается.

К тому же еще году в 1965-ом (в аспирантскую бытность) на собрании в Академии общественных наук при ЦК КПСС при большом стечении народа мне довелось слышать доклад председателя КГБ, недавнего комсомольского вождя, Владимира Семичастного, значительная часть которого была уделена козням «перерожденца» А. Солженицына. Там я вообще наслушался какой-то фантастики. Из доклада выходило даже, что Солженицын вовсе и не Солженицын, а подлинная его фамилия Солженицер и отчество Исаевич у него вовсе неспроста тоже. Еврей, одним словом. С другой стороны, получалось, что его предки были крупными землевладельцами, чуть ли не помещиками на Кубани. Помещик —

еврей?! Что-то новенькое! Да и с реабилитацией Солженицына, дескать, поспешили. Потому что Родина и во фронтовом его прошлом достаточно не разобралась. Тут тоже есть много сомнительного и подозрительного. Словом выходило, что Солженицын — личность мутная и явно находящаяся на службе у американских империалистов.

Все это казалось мне идеологическим перегибом, дурацким вывертом. Я считал, что уж Союз-то писателей должен заступиться за одного из своих членов и как-то оберечь его от заведомой травли. Это будет на пользу всем — и духовной атмосфере в обществе, и литературе.

Вот отчего о происходившем с повестью «Раковый корпус» я и решил при случае поговорить с Фединым.

Мне пришлось долго ждать встречи с К.А., но когда, наконец, случай представился, я ему ясно и откровенно об этом сказал. Разговор происходил на даче Федина. Я передал свое впечатление от чтения и с некоторым пафосом произнес фразы в защиту писателя, которого после общего успеха «Одного дня Ивана Денисовича» теперь начали подвергать травле.

Федин, выслушав меня, откинулся на спинку высокого кожаного кресла. Некоторое время испытующе на меня смотрел, потом произнес неожиданно резко и сухо:

— Вы знаете, вот мы будем отмечать пятидесятилетие Октябрьской революции. В девятнадцатом году я был в осажденном Юденичем Петрограде, можно сказать, в пекле Гражданской войны... А он против Советской власти. Как же я могу его поддерживать?

Для меня очевидностью оставалось, что «Раковый корпус» имел общечеловеческое содержание, а по политическому заряду был куда безобидней, чем «лагерная» повесть «Один день Ивана Денисовича». Зачем же в таком случае к искусству привязывать политику? Это одно, а то другое. Ведь при любых политических расхождениях с властями советских лет В.Г. Короленко или И.А. Бунин оставались классиками русской литературы.

Некоторое время я нескладно бормотал что-то в этом духе. Еще и о нравственном социализме, которым, согласно мнению в либеральной среде, разделяемому и мной, напитана повесть, и тому подобное. Но... против Советской власти?!.. Продолжать дальше разговор на такой срывающейся ноте просто не имело смысла. Отпор последовал взвешенный и резкий. С нынешних позиций глядя, это была, конечно, совсем иная пластинка, чем у Владимира Семичастного. Но как будто с общего граммофона.

Однако же обратимся к решающей встрече наших героев — к событиям 22 сентября 1967 года на расширенном заседании Секретариата СП СССР под председательством К.А. Федина. Заседание было специально посвящено А.И. Солженицыну, его обращению к IV съезду писателей об отмене цензуры в стране и письму о публикации повести «Раковый корпус». Действо происходило в старинном особняке на Поварской (тогда улица Воровского), в так называемом «Доме Ростовых».

Во дворе усадьбы против высоких стрельчатых окон на большой приподнятой, как пригорок, цветочной клумбе установлен памятник Льву Толстому. В своем кресле Лев Толстой сидит, повернувшись спиной к Союзу писателей. Этот

отворот спиной от Союза писателей не раз вызывал насмешливые шутки местных зубоскалов. За спиной памятника и развернулась дискуссия.

По тогдашнему каламбуру Твардовского, собрались «тридцать три богатыря — сорок два секретаря». Именно столько выборных начальников после IV съезда было в Союзе писателей. И управлять этим разноликим кагалом предстояло Федину.

Собственно, все секретари СП, за исключением А.Т. Твардовского, демонстративно явившегося на заседание в паре с А.И. Солженицыным, могли считаться «секундантами» председателя. Пять с лишним часов, пока оно длилось, большинство из них в своих выступлениях дружно и неколебимо, будто утки в рассказах Мюнхгаузена, проглотившие одну насаленную веревку, летели в одном направлении, придерживались общей установки. Особо усердствовали А. Корнейчук, В. Кожевников, В. Озеров, К. Яшен, П. Бровка и многие другие. У Солженицына была только одна опора — пришедший с ним Твардовский...

Еще в апреле 1967 года, то бишь за месяц до открытия съезда, «Письмо IV съезду Союза писателей» А. Солженицына в сотнях машинописных копий ходило по рукам в Москве. Официально автор адресовал его высшему писательскому органу — Президиуму предстоящего съезда. Однако же, не дожидаясь ответа и даже самого открытия съезда, разослал письмо в сотнях копий множеству наиболее видных литераторов. А от них оно начало свое хождение по всей Москве, а там уже по всей стране и далеко за ее пределами.

Предварительная рассылка копий официального «Письма» в сотни индивидуальных адресов, конечно, в действительности, означала недоверие к руководству Союза писателей и стоящим за ним властям, способ давления на них. Результат не замедлил сказаться.

Последовало коллективное письменное обращение к IV съезду «поддерживающей группы» — 80 известных писателей страны, вступивших между собою в очный и заочный контакт. В свою очередь они заявляли, что «письмо А.И. Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности <...> Невозможно делать вид, что этого письма нет и просто отмолчаться».

Свои фамилии под обращением с требованием обсуждения письма на съезде поставили писатели самых разных поколений, направлений и идейных ориентаций — К. Паустовский, В. Максимов, В. Солоухин, Ю. Трифонов, А. Тарковский, Б. Слуцкий, Ф. Искандер, В. Бушин, Ю. Мориц, К. Богатырев, Н. Коржавин, В. Войнович, Б. Можаяев, К. Ваншенкин... В отдельных письмах и телеграммах к ним присоединились В. Катаев, П. Антокольский, С. Антонов, В. Конецкий, Г. Владимов и другие.

Текст письма Солженицына своим чередом попал в западную печать. Его неустанно оглашали зарубежные «радиоголоса».

Имея за плечами нынешний исторический опыт, надо признать, что тогдашние действия Александра Исаевича были трезвым поступком реального политика и верным расчетом опытного бойца... Случай до сих пор небывалый.

Не считая нескольких не слишком внятных выступлений одиночек на съезде (О. Гончара, В. Кетлинской, К. Симонова), содержавших лишь намеки на проблему или касавшихся гуманитарной защиты прав А. Солженицына на творчество, IV съезд СП СССР острейшие названные проблемы обошел стороной и никаких решений по ним не принял. Теперь требовалось и дальше, как

взрывчатую вагонетку с горы, спустить опасный груз на тормозах. Как это лучше исполнить?

На эту роль и было уготовано расширенное заседание Секретариата СП СССР под председательством самого К.А. Федина. Сбор высших литературных авторитетов страны во главе с советским классиком за спиной памятника Льву Толстому должен был разрешить все в лучшем виде и расставить по своим местам. Так оно, во всяком случае, было задумано сверху.

Подробности этого исторического заседания, начиная с каламбуров А. Твардовского, обрели известность много позже. А тогда все происходило при закрытых дверях. Сведения оттуда просачивались отрывочные, через третьих лиц и густо настоянные на слухах. Теперь почти все известно.

Итак, дуэль развернулась вокруг двух совершенно разных по значению и характеру письменных документов Солженицына.

«Открытое письмо IV съезду», образец огненной публицистики автора, обосновывало предложение об отмене цензуры в стране и включение в Устав перечня обязанностей Союза писателей по отношению к своим членам. Автор указывал на горький опыт прошлого: **«более шестисот** — ни в чем невиновных писателей<...> Союз писателей отдал их тюремно-лагерной судьбе». В Уставе должны быть обозначены гарантии защиты, с тем, чтобы «невозможно стало повторение беззаконий». В качестве живого примера Солженицын предлагал обсудить гонения, клеветы и преследования, которым последние годы подвергается он сам.

Во втором письме к Секретариату от 12 сентября 1967 года ставился более узкий и конкретный вопрос — о судьбе повести «Раковый корпус» и препонах к ее публикации.

Хотя Солженицын предстал перед многолюдным ареопагом лишь вдвоем с Твардовским, причем в роли отчасти обвиняемого за пособничество западной пропаганде, частью просителя за собственную рукопись, дуэль шла явно не на равных.

Федину было в то время 75 лет. Солженицыну — 48. В ответ на четкие, ясные, неотразимые, как бритва, доводы слышались неуверенные старческие бормотания. Не Солженицын, а Федин расписывал во вступительном слове якобы нанесенные мятежным писателем общему литературному содружеству многочисленные обиды и посрамления в его письме к писательскому съезду, а особенно в свежем обращении к Секретариату правления насчет собственных литературных публикаций. Хотя сами масштабы затрагиваемых явлений, казалось, были несопоставимы.

«Второе письмо Солженицына (о решении судьбы рукописи «Ракового корпуса». — Ю.О.), — почти жаловался, открывая заседание Федин, — меня покорило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива <...> Вторым письмом, — пытаясь, по обыкновению, примирить крайности и встать «над схваткой», говорил Федин, — продолжается линия первого, но там (в письме об отмене цензуры — ни много ни мало! — Ю.О.) более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным<...> Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его тон в непозволительную сторону...» и т.п.

Выходило волей-неволей, что требование об отмене цензуры в стране главу

писательского Союза как будто бы заботило меньше, чем настырное авторское желание во что бы то ни стало пробиться в печать и увидеть опубликованной свою повесть. Такой вот странный поворот! При всем своем жизненном и дипломатическом опыте, видно, никак не мог подавить Федин голос души.

Скрытая и явная цензура — вековая проблема развития искусства и духовной культуры в нашей стране во все времена. Оно, конечно, так. Но такого всевластия, как при советском режиме, она не достигала никогда. Ведь столько раз эти люди-невидимки с красными карандашами в руках, как выразился о них с трибуны один из делегатов съезда, уродовали собственные его, Фебина, произведения, лучшие его находки и откровения. Забирались в печень, вырезали то, что поближе к сердцу, выхолащивали живое. Убитого, загаженного и загубленного ими не сосчитать. И поделывать было ничего нельзя, пожаловаться некому. Поскольку официально цензуры в стране не существовало, а была лишь некая безликая организация под названием Главлит, ведавшая якобы лишь охраной военных и государственных тайн... Военных и государственных тайн? А головы срезали авторам вроде бы далеких от политики повестей о раке в больницах и очерков о сборе колосков на колхозных полях...

Но даже и тогда еще, когда наличие цензуры в стране официально считалось важным признаком пролетарской диктатуры, ему, Федину, запомнилось, как, будто битое стекло от валуна, отскакивали, например, его попытки на рубеже 30-х годов защитить публикацию двухтомника Ахматовой в Издательстве писателей в Ленинграде. А ведь тогдашний главный цензор был ученый человек, не чета нынешним...

И что же теперь? Нашелся смельчак, талантливый писатель, бывший зэк, который открыто выступил против этих цензурных самозванцев. Его дружно поддержали сто мастеров пера, в том числе и давних друзей Фебина, вроде Паустовского. И что же он, Федин? Теперь он должен защищать это ненавистное ведомство?! Этих гостиничных вышибал. Этих изуверских палачей. Этих паскудных невидимок. Зачем, спрашивается, почему? Нет, выступить напрямую в защиту цензуры не поворачивался язык. Но как-то надо было выкруливаться, выходить из положения. Умные поймут, а дураков все равно не научишь. Нужен какой-то пустой трафарет, некое плацебо, которое устроит всех... Например — «клевета западной пропаганды»... Ведь она существует, разве нет?! И пусть каждый вкладывает в это расплывчатое понятие, что хочет.

В итоге в своем вступительном слове и репликах о Солженицыне Федин ратовал за лояльность взаимных отношений. И единственное, предварительное условие, прежде всех публикаций, которое он выдвигал: *«Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма» IV съезду писателей*. Но в чем состояла эта западная клевета? Жестокая государственная цензура в СССР существовала... 600 писателей погибли в лагерях и тюрьмах, и тогдашний Союз писателей не только их не защитил, а помогал сажать... Журнальный набор «Ракового корпуса» рассыпали и, судя по настрою собравшихся, никто эту повесть печатать не собирался...

Председательствующий между тем, будто застольный манекен, вяло и не убежденно тянул одну и ту же ноту: *«выступить против западной клеветы»*. Казалось, ему самому скучно участвовать в затеявшейся канители. Он оживлялся лишь и начинал преувеличенно кивать головой и поощрительно улыбаться, когда кто-либо из выступавших находил вместо него острое и яркое слово.

Имелся, впрочем, человек, который тверже и искусней Федина отстаивал партийную линию. Это был его предшественник на том же посту А.А. Сурков, теперь оттесненный и передвинутый на роль секретаря по иностранным делам.

За десять лет до того это он был литературным мотором в исключении Б. Пастернака — автора романа «Доктор Живаго». Но Алексей Александрович и гордился тем, что знал, как разговаривать с волками в овечьей шкуре. Искушенный политик и златоуст, он принадлежал к плеяде людей старой закалки. Вот отчего одни считали Суркова истинным коммунистом, другие называли «гиеной в сиропе».

Суркову теперь было недостаточно возможной печатной оплеухи западной пропаганде со стороны Солженицына. Он требовал полного политического разоружения. «...Солженицын для нас опаснее Пастернака, — рассуждал Алексей Александрович в своем выступлении, стоя и почти ласково взглядывая сквозь очки поверх головы Солженицына, сидевшего неподалеку от него и быстро заносившего его речь в блокнот, — Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын с живым, боевым, идейным темпераментом, это — идейный человек».

Вот ведь даже и похвалить не преминул!

Значительно позже просочился из-за рубежа напечатанный в 1975 году в Париже мемуарный очерк «Бодался теленок с дубом» Солженицына. Книжка дошла до меня, когда самого Федина уже не было в живых. Только тогда я понял, вспоминая разговор с К.А., в какую раскаленную топку совал голую руку.

В «Теленке» задиристо и остроумно описано то самое расширенное заседание Секретариата правления СП СССР 1967 года. Солженицын подбирает выдержки из собственных записей и комментирует их: «Я уже давно вошел в ритм — пишу и пишу протокол. Лицо мое смиренно: о, волки, вы еще не знаете эзков! Вы еще пожалеете о своих неосторожных речах!»

На этом заседании Александр Исаевич, хотя и возражал продуманными, отточенными и меткими формулировками, но, в общем, держался сугубо покладисто и смиренно. Таковы были и диалоги, затевавшиеся с главным партнером — Фединым, которому он даже слегка льстил за его добрые намерения:

«Солженицын. — Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно *публичности* я и добиваюсь все время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи<...>. Спросил К.А.: "Во имя чего печатать ваши протесты?" По-моему, ясно: в интересах отечественной литературы <...> Это письмо (IV съезду Союза писателей. — Ю.О.) — о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила свое положение...»

А вот в каком облике собеседника в председательском кресле, литературного наставника молодости и недавнего доброжелателя, если верить позднейшей записи, видел вроде бы почти по-сыновьи державшийся автор. В «Теленке» Солженицын рисует не просто карикатурный, но, я бы даже сказал, зловещий в своей карикатурности образ:

«На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впечатались одна в другую, одна на другую <...> У Дориана Грея это все

сгушалось. На портрете Федина досталось принять — своим лицом. И с этим лицом порочного волка он ведет наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбления Востока. Сквозь слой пороков, избледневший его лицо, его череп еще улыбается и кивает ораторам, да не вправду ли верит он, что я им уступлю?»

Надо учитывать, конечно, что публицистический очерк, откуда взяты цитаты, писался в азартном ожесточении борьбы одиночки с могучей государственной машиной и на волне успеха. Автором, который, по выражению Твардовского, «прошел высшие испытания человеческого духа — войну, тюрьму, смертельную болезнь».

По полной выкладке в «Теленке» досталось не только Федину, но и почти всей редакции оппозиционного журнала «Новый мир» — заместителям Твардовского и его ближайшим соратникам. «Молодому карьеристу» В. Лакшину, «ушастому» цензору — заму А. Кондратовичу, «мутному» И. Сацу, ответственному секретарю М. Хитрову и многим другим.

Все они даже и представлены нередко если не обладателями волчьих оскалов-лисыих хвостов, то, как солдаты в строю, со слившимися в одно белесое пятно лицами. При малейших колебаниях идеологической стрелки ведут себя, как заводные куклы: «И на лице Лакшина — Хитрова — Кондратовича каменное едино: нет, мы вам не товарищи! Мы — патриоты и коммунисты!»

Даже и сам Твардовский изображен хотя и как крупный художник, но человек двойственный, часто пребывающий в пагубной слабости пьянства, чуть ли не коммунистический чиновник в душе. Готовый вскакивать и держать руки по швам при телефонном звонке воротил из ЦК. А ведь не будь Твардовского и его редакции, мир мог бы и не узнать о существовании писателя А. Солженицына.

Явный перебор в резкостях идеологических и человеческих характеристик и нападок на вчерашних друзей и помощников, допущенный в «Теленке», впоследствии ощутил и сам автор, когда пожил и осмотрелся на Западе. Во второй автобиографической книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов» (1988) Солженицын отчасти повинился в этом.

Однако же последующие коррективы в тексте «Теленка» не коснулись характеристики Федина. Резкость и даже неуклюжая карикатурность выражений сохранились (чего стоят «лицо порочного волка» и «улыбающийся череп»?).

Неумолимость гонимого писателя в последнем случае, возможно, объясняется еще и преувеличенным представлением о значимости позиции Федина. В высшем писательском ареопаге, при обсуждении повести, председательствовал он. Решающее слово вроде бы зависело от первого секретаря СП. «Раковый корпус», как тогда представлялось многим (мне в том числе), проникнут христианскими идеями и ничего прямо антисоветского в себе не нес. Если бы это крупное полотно было опубликовано, не исключено, так думалось тогда, что во многом по-иному могла сложиться и личная судьба самого А. Солженицына.

Отчасти сходные соображения высказаны в открытых письмах Федину А. Твардовского и В. Каверина, ходивших в литературной среде, получивших широкую известность и опубликованных на Западе.

Наиболее интересно письмо Твардовского. Свой текст он глубоко продумал и, судя по датировке («7-15 января 1968»), работал над ним восемь дней. Письмо

проникнуто уважением к адресату и апеллирует к той степени духовной близости, которая давно между ним и Фединым заведена и сложилась.

Выдержки из разных мест:

«...Я попытаюсь <...> говорить с Вами напрямую, как если бы мы говорили с глазу на глаз — по образцу наших бесед под барвихинскими кущами, или у Вас на даче, или еще где...» Далее приводятся отзывы Твардовского о лучших книгах Федина, вроде повести «Трансвааль», и положительные факты о поступках Федина и его литературной репутации за три десятилетия их личного знакомства («человек чести, человек, способный в любую минуту встать на защиту правого дела, прийти на помощь товарищу» — даже так он охарактеризован). Вспоминается факт, как член редколлегии Федин пытался отстоять Твардовского перед высшим начальством при первом его отрешении от должности и т.д.

Письмо Твардовского — это попытка переубедить колеблющегося, обрести хотя бы и неполного, но единомышленника, завоевать союзника.

Деловит и пунктуален Твардовский и в своих предложениях, которые ранее отчасти у них были обговорены с Фединым и даже сформулированы на бумаге. Он этот письменный текст и приводит: «Но вот мои тогдашние конкретные предложения, осуществление которых и сейчас еще, по-моему, могло бы послужить на пользу дела<...>»

Твардовский знает и понимает, конечно, как многое от Федина не зависит. В своем письме он указывает, например, что имя Солженицына запрещено упоминать в печати (одно из таких упоминаний только что вырезали в издательстве даже из его собственной книги), что решалось, разумеется, в ЦК и на Лубянке, а никак не Фединым. Но он призывает к риску, который, если держаться дружно и смело, будет способствовать оздоровлению литературной и общественной жизни в стране. Пусть хотя бы здесь, на их маленьком пятачке, как о каменную надолбу, разобьется волна наступающего сталинизма. Каждый, в конце концов, должен сражаться в своем окопе.

Практические и тактические действия по сопротивлению Твардовский берет на себя. Кроме собственного журнала (пункт №1 — публикация «Ракового корпуса»), конечно, лишь в тех пределах, в каких это ему будет доступно (пункты №2 и №3 — выпуск сборника произведений Солженицына в изд. «Советский писатель», с предисловием, правдиво освещающем биографию автора). Но флагманом сопротивления, но маршалом, пусть номинальным, но распорядителем, пусть формальным, должен стать тот, кто и возглавляет Союз писателей. Он, Федин, раз уж так получилось...

Однако союзник у Твардовского был как будто даже сочувствующий, доброжелательный, но хлипкий. «А что я могу поделать?» — эта типичная фраза Федина недаром выхвачена в письме Твардовского. Многое исходило, конечно, не от него. Но встать грудью против власти, идти против партийного и иного руководства страны, вступать в бой почти со всем остальным Секретариатом, жертвовать собой ради Солженицына Федин вовсе не собирался.

Вот отчего в ходе почти всего заседания восседавший в председательском кресле лишь вяло и заученно повторял, что Александр Исаевич должен дать достойную печатную отповедь клевете западной пропаганды. Клевете, клевете, клевете — и все... И тогда, дескать, все войдет в свою колею, все образуется... В результате заседание длилось более пяти часов, а решение было нулевым («Он

подумает» — вывод заседания под председательством Федина о Солженицыне). Ситуация заволокичена. Других решений принято не было. Но такой уход в вату тоже вполне устраивал цековское руководство эпохи застоя.

Разумеется, штормы и вихри событий — ничуть не оправдание для чьих-либо приспособительных реакций. Чтобы усидеть в кресле, глава советских писателей — «министр собственной безопасности» — в очередной раз услужил властям. В то же время вопреки нынешним радателям истины, на дальнейшие повороты судьбы Солженицына Федин особого, а, может быть, даже и никакого, влияния иметь не мог.

Тем более уж вовсе не имел никакого отношения к «высылке Солженицына за границу» шесть лет спустя, как гонит обличительную волну упоминавшийся автор статьи в «Биографическом словаре».

Реальная последовательность дальнейших событий такова. В 1968 году широко ходившую по рукам рукопись «Ракового корпуса» напечатали за рубежом. Как будто бы без ведома автора, по собственному его утверждению (если не считать, конечно, 300 экземпляров рукописи, запущенных при его участии в Самиздат). И в том же году сам Солженицын опубликовал там же непроходимый роман «В круге первом». За этим прицельным ударом по советской репрессивной системе последовала тайная передача на Запад микрофильма с рукописью трехтомника его выдающегося и главного публицистического труда — «Архипелаг ГУЛАГ».

Ответной карой по указке ЦК и Лубянки явилось исключение Солженицына из Союза писателей марионеточным решением рязанского отделения Союза писателей РСФСР в ноябре 1969 года. С немедленным утверждением этой акции управляемым, как перчатка, руководством СП РСФСР во главе с Л. Соболевым. Никакие прочие согласия тут не требовались. И дальше завертелись, покатались другие громкие события, сотрясавшие эпоху холодной войны...

Нобелевская премия А.И. Солженицыну по литературе в октябре 1970 года... Публикация «Архипелага ГУЛАГ» на Западе осенью 1973 года... Арест Солженицына и высылка его из СССР в феврале 1974 года...

А еще в 1971 году на Пятом съезде Союза писателей престарелый и больной Федин был перемещен на декоративный пост председателя СП СССР. От него теперь даже и номинально не зависело ничего.

Х. Как добивали «Новый мир»

В отношениях с Фединым был переломный момент, о котором было бы малодушием умолчать. 21 августа 1968 года советские войска вторглись в Чехословакию. Для меня это был крах всех надежд и иллюзий. До последнего дня я со сдавленным в груди сердцем верил, что этого не будет, потому что не может быть никогда. Чехам и словакам, Дубчеку и его единомышленникам, дадут построить демократический социализм, а там уж, глядишь, и мы, на наш российско-советский лад, потянемся, поплетемся — поковыляем за ними. Последняя вера и надежда шестидесятников была растоптана гусеницами танков на дорогах Чехословакии.

Тогда я еще вполне находился в плену марксистских догм. Какое-то время в моих глазах то был конец всему. Никогда уже в моей жизни нигде не будет социализма. Все пережитые за него страдания и миллионы павших напрасны.

Позже я побывал в Дании и прожил там несколько месяцев. Но произошло это лишь почти три десятилетия спустя. А в 1968 году я не понимал, что в той же Дании, например, где королева ездит в подержанной машине, а миллионеры восемьдесят процентов своих доходов отдают в налоги (не так, как у нас теперь — и курьер, и миллиардер по 13%!), где действуют неограниченные политические и парламентские свободы, всем доступно хорошо отлаженное образование и здравоохранение, а дети вообще живут, как райские птицы, что там гораздо больше социализма, чем во всех Коммунистических манифестах, вместе взятых.

Конечно, я давно не верил брежневской бюрократической клике. Но все-таки думал, что они, пусть и переродившиеся, но коммунисты. И на такое никогда не решатся. Все-таки эпоха сталинизма осталась позади. А они решились. Оказалось, что снова без удержу можно глотать не только отдельные человеческие жизни, но и целые страны. Я ходил, потрясенный, с туманом в голове. Иногда казалось, что дальше незачем больше и жить.

В «Рабочих тетрадах» Твардовский описывает подробно, как он пережил эти дни. Тот же Воронков отлавливал секретарей правления СП СССР, чтобы подписать коллективное «Открытое письмо» писателям Чехословакии с одобрением военного вторжения в их страну. 5 сентября его посланец привез проект письма и в Пахру, на дачу Твардовскому. Для маскировки еще кое с какими бумагами.

Бездельную бумагу Твардовский подмахнул, а по поводу «Открытого письма» тут же в переданной записке отчеканил Воронкову: «Письмо же писателям Чехословакии подписать решительно не могу, т.к. его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и совести советского писателя. Очень сожалею. Ваш А. Твардовский».

Вслед за копией записки он занес в рабочую тетрадь размышления насчет совершенного поступка: «Худо ли, хорошо, так или иначе, — записывал он, — по канату рубанул, который очень долго был натянут, аж "брунжал". Перерубил ли — неизвестно, во всяком случае, если сочтут, что перерубил, так тому и быть».

«Открытое письмо» отказались подписать также К.М. Симонов и Л.М. Леонов.

По каким-то аппаратным политиканским соображениям само письмо появилось в печати лишь почти полтора месяца спустя — 30 октября 1968 года. До этого Союз писателей, если иметь в виду его высшее руководство, как будто бы пребывал в спячке или на затянувшихся летних каникулах. Официальные властители литературных дум отмалчивались. По радиоприемникам вместо зарубежных передач слышался треск и свист глушилок.

Полтора месяца это верноподданническое послание где-то безвестно мариновалось. Лишь 30 октября 1968 года появилась газетная публикация. И многое расставила по своим местам. Воочию узнал я и о позиции Федина, что больно меня задело и на какое-то время отвратило от него. Нечем было дышать, а он вместе с другими отговорился от трагедии пафосной верноподданной фальшивкой.

В комментариях к «Рабочим тетрадам» Твардовского теперь можно про-

честь: "Открытое письмо писателям Чехословакии" подписали все действующие члены Секретариата СП (за исключением А.Т.<Твардовского>, К.М. Симонова и Л.М. Леонова), в том числе М.А. Шолохов, К.А. Федин, С.В. Михалков, Б.Н. Полевой, А.Д. Салынский, И. Абашидзе, Э. Межелайтис, О. Гончар, Ю. Смуул и др. Введение советских войск в Чехословакию объяснялось в письме угрозой делу социализма и оценивалось как необходимость, осознанная странами социалистического лагеря. Авторы письма выступали как "выразители мыслей и чувств многонациональной общественности", широко высказавшейся о событиях в ЧССР...».

Если «пражская весна» 1968 года была для всех нас временем надежд, то осень того же года была ступором тупика. Сама по себе солнечная и тихая, она дышала грустной безнадежностью. Навевала растворенные в воздухе флюиды будущих безвестных тревог и потрясений и даже мыслей о гибели. Об этом опять-таки тонко и хорошо написал Твардовский в одном из своих лирических стихотворений:

Безветренны, теплы — почти что жарки,
Одни другого краше дни — подарки.
Звенит чуть слышно золото листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой,
Каких ещё тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок вдох и выдох мой?

Я продолжал писать книгу по психологии творчества (эта монография под названием «Рождение книги. Жизнь. Писатель. Творческий процесс» появилась в свет в 1973 году в издательстве «Художественная литература». Среди тогдашних современных прозаиков на основе личных встреч там были представлены также «творческие лаборатории» И.Г. Эренбурга, Л.М. Леонова, В.Ф. Пановой и других писателей). Что касается К.А. Фекина, то, по давней договоренности, использовались материалы из его архива. Деловые наши встречи продолжались. Но чуткий психолог, К.А., видимо, заметил произошедшую во мне перемену. Тема Чехословакии не затрагивалась в разговорах, да в этом и не было ни нужды, ни смысла. Однако же прервалась и обильная прежде наша переписка. У меня нет ни одного письма или даже записки К.А., датированной позже 1968 года. Наши встречи, за редкими и немногими исключениями, стали деловитей, суше и формальней.

Расправа с «пражской весной» в августе 1968 года неизбежно обрекала на гибель и «Новый мир» под редакцией А. Твардовского. Это было нетрудно предвидеть. Оставались лишь сроки.

Аркадию Первенцеву, одному из тогдашних «автоматчиков партии», принадлежит устный шедевр: «Прежде чем вводить танки в Чехословакию, их надо было ввести в "Новый мир"». Шедевр потому, что с точностью выражает давние поползновения идеологического аппарата ЦК партии в отношении названного

«осинового гнезда». Просто танками эти начальники не владели и с введением их в редакцию запаздывали.

Внутреннее родство с идеями «социализма с человеческим лицом» редакция прочертила не только духом своих многолетних публикаций. Но вдобавок и поведением сотрудников. Отказом главного редактора подписать письмо с одобрением вторжения войск, заявлениями и действиями ряда членов редколлегии и т.д. Все это было достаточно известно и ждало лишь своего часа.

Как события происходили дальше? Недавно вышло второе, капитальное, уже без всяких усековений, в несколько сот страниц, переиздание «Новомирского дневника. 1967—1970» тогдашнего заместителя главного редактора А. Кондратовича (М., изд-во «Собрание», 2011. Появлению этого объемного текста в печати и его комментированию мы во многом обязаны энергичным усилиям и кропотливой работе Б. Панкина, В. Балашова и А. Туркова). Там история гибели лучшего нашего литературного ежемесячника зафиксирована шаг за шагом, день за днем, до мелочей.

Позиция Федина в данном случае интересна не тем, что первый секретарь Союза писателей СССР присоединился, в конце концов, к властям предержащим. А тем, как долго сопротивлялся он такому решению. Слишком болезненным и внутренне мучительным было оно для него.

Ныне, когда смотришь на эти события издали, перед тобой встают как бы два разных человека. Один — который всей писательской душой, сердцем художника был за высокую литературу, за вольнолюбивый и талантливый журнал. И второй — который, получив указание с самого верха, управлявшего страной, вдруг махнув на все рукой, капитулировал и стал неузнаваем.

В «Новом мире» долгие годы было два постоянных и неизменных члена редколлегии, остававшихся там при всех режимах — М.А. Шолохов и К.А. Федин. Оба классика как знаки качества украшали собой журнальную обложку и особо не вмешивались в происходящее. Положение решительно изменилось с 1958 года за двенадцать лет второго редакторствования А.Т. Твардовского. С нарастанием «оттепели» оживились и почетные соредакторы, в особенности Федин. Он поддерживает общую позицию журнала. А Шолохов через некоторое время, воспользовавшись удобным предлогом, как бы незаметно ускользает из состава редколлегии.

После ввода войск в Чехословакию все воинственной и агрессивной становится напор сторонников идеологического реванша в сталинском духе. Из очагов отечественной крамолы уцелеть не должен никто и ничто — ни театр на Таганке Ю. Любимова в прежнем качестве, ни экспериментальная студия «Мосфильма», ни тем более редакция «Нового мира»...

Один «кризис» следует за другим. Как же ведет себя в этой обстановке Федин? Долгое время он твердо отстаивает сохранение журнала с прежней редакцией.

В «Рабочих тетрадях» Твардовского, ныне опубликованных, есть запись в какой-то мере решающего на том этапе его разговора с К.В. Воронковым второй половины 1968 года. У оргсекретаря Союза писателей Воронкова существовали особые, в чем-то своиские отношения с Твардовским. Когда-то Константин Васильевич, тогда молодой и красивый, голубоглазый спортивного склада здоровяк, слегка форсистый, хорошо певший баритоном под гитару, нащипывая струны, инсценировал для театра поэму «Василий Теркин» Твардовского. За эту

инсценировку с поблажкой к начальственному сану он даже был принят в члены Союза писателей. Не раз встречались они вместе и в непринужденной домашней обстановке, может, даже сидели и за рюмочкой. Этим объясняется и особый доверительный тон его рассказа.

«Потом кризис как будто миновал, — согласно дневниковой записи Твардовского, с намеренной откровенностью сообщал тому Воронков о положении дел с журналом, — но стремление развязаться с вами не угасло отнюдь. (Шауро аппаратный верховод в этом деле — заведующий отделом культуры ЦК. — Ю.О.): "Он (то есть я) окружил себя разными..."».

Относительно Федина Воронков излагал ситуацию так: «Константин Александрович, — занял резко решительную позицию. Когда я навестил его в больнице (или в Барвихе) и сказал, как же будет с Александром Трифоновичем, если его снимут, он приподнялся на кровати и заявил: "Это значит снимут и меня. Я — не Шолохов. Разве вы можете себе представить, что я останусь членом редколлегии при другом редакторе?" И т.д.».

Надо отметить, что все это происходило уже после «открытого письма» А.Твардовского Федину по поводу «Ракового корпуса» и отношения к судьбе Солженицына, где было высказано много нелицеприятного и острого в его адрес. Письмо напечатала парижская эмигрантская газета «Русская мысль». Федин на все это впрямую ни устно, ни письменно не отозвался. Делал вид, будто никакого письма и не было. Тем не менее, теперь Федин, по его словам, считал для себя невозможным оставаться в редколлегии журнала, если уберут главного редактора. И вскоре по-своему это доказал на деле.

Новый, и гораздо более сильный, кризис вокруг «зараженной», «ревизионистской» редакции разразился летом 1969 года. В журнале «Огонек», выходившем в партийном издательстве «Правды» под редакцией А. Софронова, появилось письмо 11 видных писателей — «автоматчиков», обвинявших крамольный журнал во всех смертных идеологических грехах.

Так называемое «Письмо одиннадцати» тут же поддержали разнообразными собственными публикациями две газеты ЦК КПСС — «Советская Россия» и «Социалистическая индустрия», а также орган Союза писателей РСФСР «Литературная Россия» и даже московская областная партийная газета «Ленинское знамя». Это был одномоментный залп из орудий всех калибров, рассчитанный на полное уничтожение. Такого удара «Новый мир» Твардовского не должен был перенести.

Тогда Твардовский и его заместители решили напечатать свой ответ за подписью редколлегии. Ответ взвешенный, но без послаблений и уступок, четко утверждающий позиции редакции. Документ настолько серьезный, что с ним требовалось ознакомить всех членов редколлегии. И, конечно, Федина, в первую очередь.

С текстом редакционного ответа Кондратовича откомандировали в тот же санаторий "Барвиха" к Федину. Знали наперед, что в затруднительных случаях у того всегда в запасе оставалась дежурная лазейка для отговорки. Он — первый секретарь Союза писателей, обязан стоять над борющимися литературными группами и лагерями и не может декларировать приверженность к кому-либо одному.

Воспользуется ли он этой лазейкой в столь сложной ситуации? Но Федин не стал долго объясняться. Превозмогая летнюю жару, на тексте редакционного

заявления без колебаний начертал: «Нахожу ответ редакции справедливым и заслуживающим напечатания в "Новом мире". К. Федин ... 31 июля 1969». Тем самым сделал выбор. Поступком подтвердил то, что с больничной койки здесь же, в Барвихе, обещал Воронкову.

В «Новомировском дневнике» А.И. Кондратович вспоминает: «...Уже отъехав от Барвихи и с облегчением вздохнув, я подумал о себе: "Свинья я все же. А ведь старик сделал для нас сегодня очень большое дело. В известном смысле решающее". Там, наверху, — А.Т. об этом говорил мне не раз, — мнение Федина, сам Федин котируются необычайно высоко».

Действительно, Федин спас ситуацию. Атака на «Новый мир», как будто супротивники проглотили рыбью кость, захлебнулась.

Однако это и было все, что он из себя выжал. Стать подлинным борцом за идею он не сумел и не смог. Федин уступил, отступил и сдался, как только схватка из сферы спасения литературно-художественного журнала переместилась в куда более широкую область — политического противостояния и борьбы двух непримиримых идеологических позиций. Тут уж свою волю и хотения заявили власти предержащие, реальные хозяева страны, заговорила политика, а не искусство. А выступать борцом на этой площадке — это было не в расчетах и правилах битого и пуганого человека, старика, писательского министра...

Между тем передых последовал только до следующего года. За это время накапливались силы, перестраивались фланги, намечались новые мишени для решающего удара. И эти мишени вскоре отыскились.

В ноябре 1969 года под объединенным натиском КГБ, партийного аппарата и «автоматчиков партии» через марионеточное решение Рязанской писательской организации Секретариат Союза писателей РСФСР исключил из членов СП А.И. Солженицына. Тот ответил на это напечатанным за границей обличительным заявлением, начинавшимся библейскими словами: «Слепые, поводыри слепых!», а также разрешением на публикацию за рубежом романа «В круге первом» и переправкой на Запад микрофильма с «Архипелаг ГУЛАГ», о чем вскоре стало известно КГБ.

Почти одновременно секретными службами была затеяна провокация лично против Твардовского. Без согласия автора на Западе опубликовали ходившую в списках его острую публицистическую поэму «По праву памяти». С автобиографическим сюжетом — раскулачивание отца, самоотверженного деревенского труженика, и обобщенными картинками всенародных бедствий коллективизации. Антисталинская по духу поэма, она содержала сильный взрывной заряд для тяготящейся тоталитарной немоты брежневского застоя.

Два этих как будто бы не связанных события и создали предлог для нового кризиса вокруг редакции «Нового мира». На этот раз судьба журнала обсуждалась на самом верху, в секретариате ЦК партии. И в принятом решении мерцал контур аппаратного замысла бывшего секретаря по пропаганде ЦК Белоруссии В.Ф. Шауро, с его главной идеей, что Твардовский «окружил себя разными...». Вот этих-то «разных» и требовалось убрать! Можно представить себе, как скромно и лукаво ощерившись, втолковывал эту идею своим непосредственным начальникам посланец «партизанского края» Шауро. Сильно и беспроницательно в обоих случаях! Не просто мера по укрощению строптивого редактора, но и проверка на преданность члена партии А.Т. Твардовского. Последняя попытка

удостовериться, насколько тот готов превратиться в активного партийного борца (то бишь в «идеологический винтик» — с нормальной точки зрения). Одумается, перестроится — хорошо. А нет — так скатертью дорога...

«Линия Шауры» была одобрена и затвержена. Не знаю, кто и как разъяснял и толковывал Федину принятые решения. Известно лишь, что он ездил в ЦК для встречи на высшем уровне. Возможно, что этим «высшим уровнем» были М.А. Суслов и сам Л.И. Брежнев. Но только К.А. после этого, как редко с ним случалось, стал неузнаваем. Он сделал резкий поворот, крутой и не знающий колебаний выбор.

Итог печален. Одним из самых тяжелых и противоестественных для поздней биографии Федина поступков был именно этот — согласие на разгон «Нового мира», самого яркого и талантливого создания современной русской литературы. И как же он должен был к этому относиться, как себя прищипывать, с какой нервной встряской переживать? Да еще и частично исполнять своими руками?

Красивый, барственный, рассудительный и просвещенный литературный классик, неторопливо покуривающий трубку, стал не похож сам на себя. Им овладел пароксизм исполнительности. Страх перед слепой идеологией вкупе с ее хозяевами вновь подминал под себя тот самый «святой дух» творчества, который он в себе вынашивал, лелеял, которым более всего дорожил. Из писателя, из выдающегося художника он превратился в *Торговца Писчебумажными Товарами*.

Все происходило теперь стремительно, предельно кратко, четко и втайне. В короткие темные дни начала февраля 1970 года... Уволен был *штаб* журнала. Четыре главных сотрудника — единомышленники (В. Лакшин, И. Виноградов, А. Кондратович, И. Сац) нарочито заменены людьми случайными, а частью даже враждебными к главному редактору. Конечно, новоназначенцев подбирал не Федин, иных он даже лично не знал. Требовалось лишь канцелярски проштамповать «партийное решение». Но после этого прежний журнал существовать уже не мог.

Если говорить лично о Твардовском, то по существу это было политическое убийство. Полученные тогда стрессы не прошли даром. Меньше, чем через два года после гибели любимого детища могучего сложения и крестьянской закваски здоровяк умер в возрасте 61 года от рака.

Для теперешнего рассказа важно поведение пусть вынужденного и вымученного пособника. Высший голос из ЦК вдруг полностью загипнотизировал и парализовал первого секретаря Союза писателей. Страх от былых переживаний, когда угроза висела не только над карьерой, но и над жизнью, видимо, засел глубоко. И если Воронков еще стелился перед Твардовским и лицемерно выражал ему деланное сочувствие, то Федин вдруг обратился в подобие ускользающего налима. Для простоты не им заданной процедуры и экономии сил он попросту уклонялся от встреч с жертвой экзекуции и судьбоносное для журнала заседание секретариата провел за спиной главного редактора. Действовал за спиной!..

Из такого оборота событий сделал выводы и Твардовский. Кондратович записывал в «Дневнике» (второе, полное издание): «А.Т.: — А Федин подлец. Теперь, если я встречу его где-нибудь в коридоре, то задирать не буду, но и улыбаться не стану. Холодно поздороваюсь — и все. Пусть знает, чего он стоит».

Через несколько недель все было кончено. Бразды правления в редакции перенял новый редактор В.А. Косолапов, когда-то начинавший путь инструктора-

ром ЦК партии, человек жизнелюбивый и доброжелательный. Однако же в пределах чиновной либеральной нормы. Всю жизнь он старался жить по принципу — и волки сыты, и овцы целы. Это была его политика. А еще спустя какое-то время о прежнем журнале — боевом органе литературных единомышленников — напоминали главным образом голубая бумажная обложка и название.

Но Федин собственного зарок не исполнил. Он не ушел. Хотя в суматохе перетасовок, конечно, мог бы это сделать. В результате в членах редколлегии «Нового мира» он пробыл рекордный и, наверное, не знающий прецедентов срок — с 1941 по 1977 год.

XI. Неудавшийся шедевр

«Неудавшийся шедевр» — столь едким выражением Анна Ахматова сопроводила явление в литературном поднебесье расхваленных, однако же в целом несостоятельных творений. Именно с подобным литературным феноменом связаны почти три последних десятилетия жизни Федина.

«*Не пишется...*» «*Не выходит...*»... Говорил он о втором томе своего романа об Отечественной войне «Костер».

Так мстил за себя тот самый «святой дух» творчества, о частых внутренних насилиях и утеснениях которого автор писал когда-то в исповедях — признаниях своему ленинградскому другу М. Сергееву. Заветная, долгожданная книга, *книга жизни* не получалась.

Однако писание оставалось единственным его лазом в душевное спокойствие, в гармонию отношений с жизнью и с самим собой. Без этого существовать он не мог.

В одном из номеров журнала «Вопросы литературы» посмертно были опубликованы наброски Федина к дальнейшему продолжению второй книги так и неоконченного романа «Костер». «Поучительное чтение», — подытоживает Виктор Шкловский в своем большом мемуарном очерке. В романе «Костер» «...святость "Ясной Поляны" дана так, как ее не изобразил никто <...> Федин не дописал роман, но чутье художника привело его к Туле, к могиле Льва Толстого».

И вот такая книга, советская «Война и мир», не задалась, не исполнилась. Превратилась в «неудавшийся шедевр».

Почему? Как это вышло?

«Не пишется», — жаловался Федин. Улыбки в профессиональной среде вызывала растянувшаяся на несколько десятилетий работа над романной трилогией. Сдавало здоровье, все чаще заявляла о себе старость.

Работа явно не клеилась. Автор не знал, что делать дальше с фигурами большевиков, претендовавших на особые роли в повествовании о людях искусства. Не складывались батальные сцены — сам романист военных действий почти не пережил. Между тем в печати появлялись все новые главы. Роман о недавней войне «Костер» разросся в две книги. Трилогия обращалась в тетraloгию.

Еще с десяток, а может, и более лет до этого в обиходе стали проскакивать

спенки, к которым К.А. поначалу относился с веселым вызовом. Даже и сам упоминал о чем-то похожем. Происходило примерно вот что.

Улучив удобную минуту, подходит якобы к Федину раз некий иронически настроенный критик, эдакий «литературный волк», и заводит разговор с намеком:

— Как, Константин Александрович, — спрашивает, — «Костер»? Горит?

— Да... вот подбрасываю полешки...

— Наверное, много всяких отвлечений, общественные обязанности заедают? — деланно сочувствует притворщик.

— Да, хватает... совсем запредисловился, — вздыхает романист.

— Восхищаюсь вами... Наверное, нелегко столько лет держать в голове одну вещь? — льстит доброжелатель. — Если не ошибаюсь, кажется, еще до войны начали трилогию?

— Да, уже более тридцати лет сочиняю... — соглашается автор. — Но, знаете, Гете работал над «Фаустом» пятьдесят семь лет. Так что срок еще не вышел...

— Не люблю второй части «Фауста». Туманно, аллегорично, вымученно... — морщится критик.

— Но все-таки это «Фауст»! — победно изрекает романист.

Работа над «Костром» продолжалась... Федин перечитывал занимавшие почетные полки в его кабинете 90 томов Полного собрания сочинений Льва Толстого, покрывал тексты подчеркиваниями и пометками... Теперь эти тома показывают в саратовском Музее К.А. Федина. Но лучшим учителем является, конечно, сердце, а не книги.

«Wahrheit ist was uns verbindet» («Нас объединяет правда»), — говорил известный немецкий философ Карл Ясперс. «Кто кого переживет, тот того и промемуарит», — иронизировал Варлам Шаламов. «Промемуарит», то есть истолкует, украсит, прошпаклюет, а иначе говоря — солжет в свою пользу.

Я был шестидесятник со всеми иллюзиями этого направления и по некоторым особенностям житейской биографии — с замедленными темпами духовного роста. В конечном счете — либеральный коммунист. В «детях XX съезда» было много искреннего, честного, хотя изъяны этого течения общественной мысли ныне очевидны. Тем не менее, Алесь Адамович одну из последних своих книг, которую он мне подарил незадолго до смерти, озаглавил: «Мы — шестидесятники» (1991 г.). «Исповедь шестидесятника» — так назвал свои мемуары, написанные незадолго до кончины, образец искренности и честности, другой мой многолетний друг Юрий Буртин.

Тогдашний студент, дремучий комсомолец, я был бригадиром на стройке нового здания Московского университета, плакал, когда умер Сталин, и был одним из тех, кто спрашивал лучших друзей: «Как же мы теперь будем жить?» Молодым людям нынешнего поколения это трудно понять и представить.

Я начал быстро прозревать только после вторжения советских войск в Чехословакию в 1968 году. Да и то не до конца. Юрий Трифонов еще в 1973 году, когда у него вышла книга «Нетерпение», спокойно и слегка флегматично, глядя сквозь свои толстые очки, говорил мне: «Я против всяких революций». Тогда, да и долго еще потом, я не мог бы искренне вслед за ним повторить это заклятье, истину, которая столь очевидна для меня теперь.

Написать заявление о выходе из партии у меня хватило сознания и

решимости только в начале 1991 года, когда все уже разваливалось и до роспуска самой партии оставались считанные месяцы. Так что хвастаться тут особенно нечем.

...Памятью о последней нашей встрече с Фединым, которая состоялась в новогодние дни 1976 года, осталась дарственная надпись, сделанная на вышедшем тогда же сборнике его «Маленьких романов, повестей, рассказов» (М., «Советский писатель», 1975). Там есть такие слова, приуроченные к одной из моих тогдашних публикаций: «...На хорошую память от признательного автора, с чувством дружбы. *Конст. Федин*. 2 янв. 1976 г., на даче».

Этим томиком, где представлены любимая мной повесть «Трансвааль» и некоторые другие живописные, смелые и отточенные до стилистического блеска сочинения, внутренне дорожу. Оказалось к тому же, что мы виделись последний раз.

В ту встречу, 2 января 1976 года, Константин Александрович долго и много говорил об Иване Сергеевиче Соколове-Микитове, сверстнике, жизненном и литературном собрате с начала 20-х годов. О чем бы ни заходила речь, снова и снова возвращался к Соколову-Микитову.

Объяснил и причину:

— Иван Сергеевич был мой самый большой друг... Он ушел в этом, семьдесят пятом году. Хорошо помню, это было за несколько дней до моего дня рождения. И знаете, что было замечательного в этой смерти? — произнес Федин (меня поразило тогда это сочетание: «замечательного», применительно к смерти. Но он так сказал). — Жена его Лидия Ивановна, она была младше его лет на семь-восемь, женщина строгих домовитых правил, прошла с ним обок почти всю жизнь. И вот Ивана Сергеевича не стало. И знаете, что было? Ровно через сто дней умерла его жена. Лидия Ивановна его схоронила и потом через сто дней — в июне, значит — ушла сама...

Федин задумчиво и горестно помолчал.

Заговорили о современной литературе, о «ее величестве прозе», как выразился К.А. Назывались разнообразные имена прозаиков — авторов недавних книг, многие из которых ныне давно уже забыты.

Особенно оживился Федин, когда речь зашла о Юрии Трифонове.

— Да, Трифонов мой ученик. А где он сейчас, не знаете?

— Тут, в Переделкине, я его видел...

— Передайте ему, чтобы заходил... — Федин помешал ложечкой в стакане чая, отхлебнул глоток. — Чай — это хорошо! Много можно сказать, посидев за чашкой, посудачив просто... Жаль, что я не могу выходить, как раньше, а то зашел бы в Дом творчества, поговорил...

Таково было постоянство его привязанностей.

Всегда ощущавший преимущество с высокой письменной традицией, Федин принадлежал к тем стилистам, которые болезненно страдают от приближительного слова или неточного оборота, — в машинописи он вымарывал их намертво да подчас еще заштриховывал разноцветными чернилами или карандашами, так, что прочесть вычеркнутое было невозможно. Из беспорядочного бумажного вороха, из стопок страниц, пестрящих жирными вычерками, заплатками вклеек, цветными чернильными и карандашными вставками, и рождалось в конце концов искусство Федина.

— Мы знаем хорошие произведения с несовершенной или даже плохой композицией, — говорил Федин в одну из встреч. — Но хорошего произведения с плохим языком быть не может...

Примечательную историю рассказал он когда-то на конференции в Саратовском университете. Дело происходило в огромной, восходящей ярусами аудитории, где собрались студенты, преподаватели, гости из других городов. После выступления К. А. подали записки с самыми разнообразными вопросами. Ответы Фебина, изящно и непринужденно возвышавшегося за деревянной светло-коричневой круглой, с гранями, профессорской кафедрой, превратились в подробную беседу о художественном мастерстве.

Встреча растянулась, грозила стать бесконечной. Вот тогда К.А. и напомнил мудрую в своей простоте реплику старого живописца В.Н. Бакшеева на некоем заседании в разгар словопрений об искусстве... Ораторы говорили долго и отвлеченно, повествовал Федин. В зале, где собрались мастера кисти и карандаша всех жанров, по ходу выступлений умеренно волновалось то правое крыло, то левое. Бакшеев, глубокий старец (ему было уже лет под девяносто), передвижник, выставившийся еще с Репиным, Крамским и Маковскими, казалось, дремал на своем стульчике в президиуме. Но в разгар какого-то особенно бойкого выступления он вдруг очнулся и воскликнул: «Товарищи! Мазок забыли!..»

— Я кончу его словами, потому что лучше сказать не могу, — заявил Федин, — потому что — когда я говорю об искусстве — я помню, что такое искусство. Надо помнить мазок!

Именно таков бывал он и в тысячах повседневных мелочей.

Не боясь никаких преувеличений, можно сказать, что истинную страсть Фебина составляли сокровища человеческой культуры, запечатленные в письменах. У него есть пронзительные слова о книге. «Когда пройдет ваша молодость, — писал он, — когда вы убедитесь, что уже все достигнуто в вашей неповторимой жизни, вы будете искать друга. И знаете, его будет нелегко найти. Человек, доживающий свои дни, часто обременителен и скучен. Даже если ему оказывается почет, то это почет его прошлому. Лишь сами вы будете любить себя до конца своих дней. И лишь один вечный друг останется к вам неизменен — это книга».

Эти строки вызваны ясным сознанием одиночества каждого перед лицом физического разрушения. Воспроизводя их тут, я снова вижу Константина Александровича. Светлым январским днем 1976 года, на втором этаже его дачи в Переделкине. Он стал уже весь белый и прозрачный, как тот заоконный день, почти не спускался вниз, с трудом передвигаясь на костылях в пределах своего кабинета...

А на полках и стеллажах бесконечными рядами выстроились переплетенные свидетели его трудов, страстей и раздумий — предшественники, далекие и близкие, разноликие современники, его детища. Книги, книги, книги...

Он как бы вышел из этих книжных сокровищ и снова растворился в них, этот многосторонне проявивший себя человек, художник, академик не только по званию, но и по знаниям, дипломатичный и грешный наш репетитор.

¹ У Фебина в романе: «Делай, что должно, и терпи, что неизбежно». — Ю. О.

Александр Кушнер

Стихи и переводы



* * *

На петербургских старинных гравюрах
Снег не лежит на дворцах и скульптурах
И не идет никогда.
Вечнозелёные кроны густые,
А на Неве — мотыльки кружевные
И голубая вода.

Видно снесённую церковь Земцова,
Блещет закрытый канал.
Главного Штаба ещё никакого
Нет: вместо Штаба — провал.

Пушкин ещё не родился. Сгружают
Финский гранит, золотят, наряжают,
Щёголь глядит на возню.
Что-то ещё выпирает неловко.
Но присмотритесь: идёт подготовка
К майскому этому дню.

Едет читатель в карете куда-то
Цугом, с шутком и людьми...
Гоголь? Ещё для него рановато.
Пусть подождёт за дверьми.

Мойка, Фонтанка, Мильонная, Невский...
Улиц, где мог бы гулять Достоевский,
Нет. Значит, может не быть
Этих горячечных снов, преступлений?
Или, как дом, запланировал гений:
Строить здесь будут и рыть.

Что же до мест, где мы нынче гуляем,
Нет и в проекте их; где-то за краем
Рамки, гравюры, листа,
Там, где художник сорит и сдувает
Пыль, и само провиденье не знает,
Как повернёт и куда.

Автово, Дачное, Ржевка, Гражданка,
Купчино, хватит? Шушары, Ульянка
Вместо былых деревень.
Может, из этого ровного списка
Тоже ни слова не вынуть без риска,
Вычеркнуть чью-нибудь тень?

О, трудовая моя, типовая
Жизнь, ты сложна, как любая другая.
Внятны (поди, утай!)
Каждому встречному, как планировка
Трёх твоих комнат, и в них — обстановка —
Смех твой и слёзы твои.

«ДН», 1978, № 2

* * *

Полнеба заволок подробный материк
Вечерних дымных туч, и ветром прибывает
Отсталые дымки, как сны, к нему; старик
Сказал мне, что во сне он старым не бывает.

Волнение кустов, и смутный лёт стрижа,
И рваные края в дороге истрепало,
И так синее даль, как если бы душа
В сохранности вне нас счастливой пребывала.

И мёртвые — сказал — являются ему
Живыми... Хороша изрезанная кромка.
Так блещет полоса прибрежная в Крыму.
Не спит ли в нас кора, не дремлет ли подкорка?

И домики к земле под тенью грозовой
Прибиты, как листва; я снов своих не помню.
Должно быть, жизнь моя полна ещё тщетой
И счастьем, а на снах покуда экономлю.

* * *

И дару своему взрослеющий художник
Не радуется: дар, как долг, его томит.
И втоптан в глинозём широкий подорожник,
Как символ чьих-то бед безмерных и обид.

Быть может, зло с добром в таком соотношенье,
Что мы, себе с утра вымаливая день
Счастливым, всем другим готовим невезенье,
Нам — солнце, всем другим — одну сплошную тень.

Быть может, как расход сверяется с доходом,
Подводится баланс неведомый в ночи.

Быть может, под ночным промозглым небосводом
Сосчитан весь запас, все листья, все лучи.

О справочник щедрот, ночная картотека!
Что в детстве потрясло и в памяти живёт?
Что репинский, придавленный, как моль, калека
Спешит на костыле, вцепившись в крестный ход.

«ДН», 1980, № 7

* * *

И в следующий раз я жить хочу в России.
Но будет век другой и времена другие,
Париж увижу я, смогу увидеть Рим
И к невским берегам вернуться дорогим.

Тогда я перечту стихи того поэта,
Что был когда-то мной, но не поверю в это,
Скажу: мне жаль его, он мир не повидал.
Какие б он стихи о Риме написал!

И новые друзья со мною будут рядом.
И, странно, иногда, испытывая взглядом
Их, что-то буду в них забытое искать,
Но сдамся, не найду, рукой махну опять.

А та, кого любить мне в будущем придётся...
Но нет, но дважды нам такое не даётся.
Счастливей будешь там, не спорь, не прекословь...
Ах, если выбирать, я выбрал бы любовь!

* * *

Лет на семь раньше я родись — и жизнь иначе
Моя устроилась бы: я б стихи любил
Иные, с юностью б совпал моей горячей
Гнев государственный и коллективный пыл
Собраний в актовом, пахнущем пылью. Зале.
С языкознанием и крупной тяжбой в нём
При мне бы чью-нибудь моральную связали
Нестойкость, жгли б её железом и огнём.

Лет на семь раньше я родись... В чертополохе
Людском и сам бы я лилов был и колюч.
Дух обличительный, как пух... Продукт эпохи
Я, человек, от почв завишу и от туч,
Каким бы вымахал, подумать страшно, вроде
Тех, кто поглядывает искоса сейчас
На время мягкое и жаждет от мелодий
Звучанья громкого и непреклонных фраз.

«ДН», 1982, № 6

* * *

О, да! Как мошкара под ярким фонарём,
Последним фонарём на каменном причале...
Скажи, что мы не так беспочвенно живём,
Таинственно, темно, что сладко спим ночами.

Скажи, что знаем мы, куда летим во тьму,
Что страшный путь меж звёзд осмыслен и понятен,
Над бездной яркий свет последний — и к нему
Приток эфемерид, и море чёрных пятен.

И хлопанье воды, и клёкот горловой,
Неколебимых свай надёжный лес железный.
Скажи, что дорог нам счастливый миг живой,
Телесно-золотой, прекрасно-бесполезный.

Как мошки над огнём слезящимся. О, да!
Мы вынесены в ночь, мы выдвинуты в хаос.
И чёрная внизу шевелится беда
Солёной ночью нам достался верхний ярус.

Когда они почти вплотную к фонарю
Проносятся, сверкнув не точкою, а змейкой,
На маленькие их я молнии смотрю
С опаской и тоской горячей ночью клейкой.

* * *

В старом кресле, по тёмной обивке лучами
Разметавшись, как будто со шляпой в руках,
Солнце ждёт нас, как друг, что заехал за нами,
Чтоб поужинать где-нибудь на Островах.

Почему мы так тускло живём? Сожаленье
Промелькнёт. Почему бы и впрямь не махнуть
В ту приневскую глушь, в ресторан, в отдаленье
От забот и невзгод, пошловатый чуть-чуть?

Потому что, во-первых, и друга такого
Нет у нас, и закрыт ресторан, во-вторых;
Есть для этого даже особое слово —
Спецобслуживанье... так зовётся у них.

И, признайся, ты вычитал это желанье
Из какой-нибудь западной книги, у нас
Нет привычки каприз принимать во внимание,
Да и луч, посмотри, полчаса как погас.

«ДН», 1987, № 10

Имант Аузинь

С латышского. Перевод Александра Кушнера

О напряжении

Тому, кто в искусстве привык
К повышенной плотности чувств
И мыслей, так скупен язык
Обыденной жизни, и пуст

Обыденный миг для него.
О жажда страданий, страстей,
И стыдно ему своего
Желанья тревог, новостей.

Лишь в музыке, красках, словах
Возможен такой концентрат.
Ни солнц четырёх в небесах,
Ни бурь, возведённых в квадрат,

Не вынести в жизни. Она
С любовью, таящейся в ней,
Да будет ровна и прочна
На всём протяжении дней.

А вдуматься: так ли легко
Даются восход и закат?
И птицы летят высоко,
Следит с восхищением взгляд

За ними, и жёлтый янтарь
В прибрежном мерцает песке,
И жизнь и сегодня, как встарь,
На тонком висит волоске.

Легко ли ребёнок растёт
И яблоко зреет в саду?
Так много у жизни забот,
И все ли они на виду?

А требовать бури сплошной,
Желать напряженья и драм
Неистовых — что за слепой
Взгляд, жизнь не простит его нам.

«ДН», 1980, № 7

Алиса Ганиева

Мир абрагов



Чабуа Амирэджби. «Дата Туташиа»: Роман. С грузинского. Перевод автора. // «ДН», 1977, 3, 4.

Я принадлежу к тому поколению российских читателей, что мало слышало о писателе Чабуа Амирэджби. Может быть, кому-то из нас удалось посмотреть многосерийный фильм «Берега» по его сценарию. А кому-то, возможно, попадался тот самый роман, по которому сняли фильм. Но и то и другое — скорее случайность, чем закономерность. Классика бывших союзных республик в наших школах, как известно, не преподается, да и фигура Чабуа Амирэджби, умершего на излете прошлого года в возрасте девяноста двух лет, — неординарная, будто сошедшая со страниц большого исторического эпоса, как и самый знаковый его герой Дата Туташиа, — плохо укладывается в скупые строки биографической справки.

Впечатляет даже сухой перечень некоторых событий из его жизни. Участие в студенческом политическом заговоре, три побега из мест заключения, жизнь в Белоруссии по поддельным документам, продвижение там до должности директора завода, заграничная командировка и возвращение в СССР, несмотря на то, что во Франции жила родная тетя, представление к ордену и, вследствие этого, — разоблачение, новый срок, участие в восстании заключенных в Сибири, отправка штрафником на Колыму... После освобождения — писательская деятельность, работа сценаристом, редактором, журналистом, с начала «перестройки» и провозглашения независимости Грузии — депутатство и активная гражданская позиция. За три с лишним года до смерти — постриг в монахи с благословением на продолжение творческой деятельности и присвоением церковного имени Давида... Амирэджби сам становится романом.

«Дата Туташиа» — не просто эпическое полотно о дореволюционной Грузии и двух любящих друг друга двоюродных братьях, высоконравственных, чистых, ищущих правду, но оказавшихся по разные стороны баррикад, один — изгнанником и вечным беглецом, второй — служителем жандармерии и вечным преследователем. Текст писался автором сначала на грузинском, потом был им же самим переведен на русский язык. Критики справедливо и много рассуждали об открывающейся в романе широкой панораме грузинского общества, где мелькают и военные, и ремесленники, и интеллигенция, и духовенство, и о явственной символике грузинской языческой мифологии (в том числе — эпиграфических главок о духовных исканиях бога Туташиа, давшего имя герою), и о жанровой принадлежности текста (магический реализм), и многом другом, таком же существенном.

Но мне главным образом интересен сам Дата Туташиа — человек, решивший собственными силами искоренить зло и сызмальства вершащий суд и помощь во имя добра. По стечению обстоятельств оказавшийся по ту сторону закона и всю жизнь скрывающийся от его блюстителей, он продолжает творить хорошие и справедливые по сути поступки, которые тем не менее довольно часто имеют плохие последствия.

Туташиха превращается в ту силу, что вечно хочет блага, но иногда совершает зло (Воланд наоборот) и на какое-то время уверяется в том, что род людской не достоин его самоотверженной помощи. Но постоянные перемещения и не прекращающаяся внутренняя работа духа возвращают героя на прежнюю стезю неуловимого Зорро и Робина Гуда. Правда, в конце концов, после длинных перипетий Туташиха попадает в ловушку брата, всю жизнь лавировавшего между любовью, долгом и нравственным чувством, и гибнет от рук своего же юного сына.

На самом деле Дата Туташиха — трагический супермен. Он хочет, как лучше для общества, но общество выдавливает его за свои пределы, превращая в бандита-абрага. Абраг (то же, что абрек — на Северном Кавказе) — образ вечный, выламывающийся за рамки бытовой логики в экзистенциальные выси. Это изгой, ставший святым. Вершитель высшей правды, который преследуется слабым человеческим законом как бандит и разбойник. Неправый де-юре и правый де-факто. Отчаянный борец со вселенским злом, не понятый и не принятый официальной системой. По крайней мере так видится с одного, самого романтического ракурса.

Это очень опасный ракурс. В этом ракурсе абрагами безусловно являются лесные кавказские муджахиды, которые жгут бордели и подрывают взяточников, желая по их мнению установить мир справедливости и предписанных небесным посланцем порядков. Абрагами можно назвать восточно-украинских ополченцев, по искреннему убеждению воюющих против фашизма и вражеского гнета. В такие же абраги легко зачислить членов «Правого сектора», ратующих за прекрасные категории национальной гордости и единства. Абраги — революционеры и диктаторы, карающие сотни и тысячи людей во имя светлой идеи, абраги — террористы, подрывающие гастрономы как язвы капиталистической агрессии и одуряющего потребительства. Абраги живут среди нас, их много, и мы воспринимаем их по-разному, в зависимости от того, как их нам подадут. Возможно, как кошмарных и одержимых преступников, а возможно, — как мессий, святош, лучших из людей. Самое ужасное, что в каком-то смысле верно и то, и другое.

Оптика Амирэджиби, который сам прожил во многом геройскую жизнь, безусловно симпатизирует такой же геройской, но болезненно непреклонной, обреченной позиции Даты Туташиха. К примеру, так же смотрит на своего героя режиссер фильма «Таксист» Мартин Скорсезе. Если таксист Скорсезе устраивает кровавую расправу в притоне, чтобы избавить город от мерзости, то Туташиха убивает тех, кто оступился, совершил неблагоприятный поступок. И авторы восхищаются этими персонажами, хотя и понимают всю неоднозначность их идейных деяний. Таксист — один из первых в череде одиночек-антиглобалистов с неустойчивой психикой, Дата Туташиха — реинкарнация доброго языческого бога, настолько белого, что все, что не белое, считает черным.

Такое двуцветное восприятие присуще, кстати, не только этим героям, но и большинству из нас. Большинству кажется, что правда одна, что в каждой ситуации кто-то обязательно плохой, а кто-то хороший. На этом строится вся пропаганда во всех странах и обществах. Проблема в том, что на деле мир оказывается разноцветным, сложным и пестрым. Поэтому и справедливость в нем невозможна.

Чабуа Амирэджиби, конечно, это понимал. По сути — это очевидно всем, но люди, понимая головой, не всегда понимают сердцем. Так вот, Амирэджиби понимал и сердцем, но не мог не поддаться обаянию сказочно высокодуховного и высокоморального героя. На практике эта сказочная мораль принесла много горя, в первую очередь самому ее защитнику и носителю. Но появление таких защитников тем не менее радует — хотя бы тем, что некоторые из них — не реальные воины Правды, а литературные персонажи прекрасных романов. А еще тем, что, видимо, Кант был все-таки прав. И если звездное небо еще не каждый сейчас разглядит, зато нравственный закон внутри нас уж точно существует.

Надежда Сырых

Еще раз об Англии...

Всю зиму Британия пребывала в тревожном настроении. Причиной тому были вовсе не привычные заботы — обострение борьбы между политическими партиями в преддверии предстоящих через год выборов, проблемы с иммиграцией, новая жесткая политика по сокращению пособий, новый раунд критики системы здравоохранения и прочая, прочая. На этот раз бесцеремонно вмешалась природа и задвинула на второй план все остальное: значительная часть юго-запада страны оказалась под водой — сотни тысяч людей сидели в своих домах буквально по пояс в воде, отрубилось электричество, зависли в воздухе железнодорожные колеи, ибо под ними размылся грунт... Жизнь в деревнях напоминала венецианскую — передвигались на лодках или на руках у спасателей. Все это водное бедствие часто сопровождалось сильными ветрами и настоящими штормами на приморской полосе.

Наводнения в Британии совсем не редкость, может, поэтому-то и среагировали не сразу, тем более, что еще в ноябре метеослужба страны предсказывала необычно сухую зиму, особенно на западе страны. Давно здесь никто не верит долгосрочным прогнозам погоды, но такого подвоха не ожидали. Последняя зима оказалась самой дождливой с момента, когда в 1910-м начали регистрировать метеорологические данные.

Так что с реакцией припозднились сначала местные власти, потом и центральное правительство — все ждали, что вот-вот уровень воды начнет падать, а он все рос и рос. Забегали наконец, забили тревогу, начали обвинять разные ведомства. Больше всего досталось министерству по защите окружающей среды. Это оно якобы не занималось на регулярной основе возведением защитных сооружений. В районы бедствия направили армию, туда зачастили члены правительства, чуть не каждый день бороздил в своих сапогах-веллингтонах затопленные улицы премьер-министр Дэвид Кэмерон, который сразу заверил жителей, что «деньги — не проблема», сначала все будет сделано для возвращения к нормальной жизни, а потом будут выяснять причины и принимать меры на будущее.

Не этим ли объяснялось то, что люди, оказавшиеся в этой жуткой ситуации, не паниковали? Все выпуски новостей в те дни только о них и рассказывали, только их и интервьюировали. Да, горевали, сокрушались, критиковали, но не паниковали. Народ сохранял достоинство и спокойствие —

Надежда Сырых (по мужу — Кидд), переводчик и журналист, замужем за англичанином, живет в Лондоне 15 лет.

качества до сих пор остающиеся неизменными в английском характере, несмотря на радикальные перемены в жизни самой страны и вокруг нее. Оставаться со *«stiff upper lip»* (букв.: с жесткой верхней губой) — по-нашему: *«стиснуть зубы»* — в любой ситуации для англичанина просто норма жизни, да и их любимая *«cuppa»* (*a cup of tea*, чашка чая) в любой ситуации действует безотказно. Что-что, а держать удар они умеют.

Перелом в ситуации наступил в середине февраля. Стало понятно, что Англия «не уйдет под воду» окончательно и бесповоротно — «день рагнарека» (22 февраля), предсказание которого содержится в скандинавской мифологии, не случился. В воздухе запахло весной, погода вернулась в привычное английское русло. Дожди не прекратились, но пришли в норму, когда, сколько бы он ни лил, все равно на какое-то время прекращается и обязательно появляется солнце — остров все-таки, ветер без усталости гоняет тучи и облака, нигде, наверное, нет столь меняющегося рисунка неба. Сам собой появился *feel good factor* — фактор хорошего настроения. Посыпались поводы для приятных эмоций. Их добавила и Олимпиада — никогда еще маленькая Британия не получала столько медалей в зимних видах спорта. Вспомнили — а кое-кто и прочувствовал на себе — заявление главного казначея, что страна медленно, но верно перевалила рубеж и начался выход из экономического кризиса. На редкость спокойно, без проблем и шума приняли новый бюджет, и даже последний опрос населения показал, что 77% людей довольны жизнью.

Островитяне

Уже само это слово многое говорит об англичанах. Народ сам по себе, народ, изолированный от большой земли, народ — в каком-то смысле чужак. Это ли не причина, что Британия всегда вызывала к себе большой интерес — и недоверие, и восхищение, и любопытство со стороны других народов. Только ленивый не пытался рассуждать об англичанах. А как же? По ту сторону Ла-Манша якобы совсем другой мир, другие люди. То, что у нас направо, у них — налево и наоборот... Ох, нелегкое это дело — разбираться в чужой нации, особенно когда и сама-то нация не всегда себя понимает. Точно знаю: не следует доверять первым впечатлениям, но не думаю, что и после обретения определенного опыта жизни в Англии задача становится легче.

Тут уместно оговориться, что Британия — это не только англичане, но и шотландцы, валлийцы, жители Уэльса, у которых есть и свои собственные языки, и ирландцы, проживающие в Северной Ирландии. Так что, находясь среди этих народов, надо проявлять бдительность и не называть, скажем, шотландца англичанином, он, может, и не обидится, но поправит обязательно. Шотландец не хочет, чтобы его ассоциировали с англичанином. А в последнее время некоторые из них пошли дальше и яростно рвутся вообще выйти из состава Британии. Общество, и английское, и шотландское, разделилось — в зависимости от отношения к этой теме. В сентябре в Шотландии проводится референдум — вот тогда и узнаем, даст ли трещину, казалось бы, столь крепкий британский союз. Точнее, трещину-то он уже дал, а вот насколько она глубока, узнаем в сентябре. Так что в том, что мы, русские, зачастую называем всех британцев англичанами, есть определенная условность.

Без сомнения, островное положение приучило англичан думать о себе как об особом народе Европы. Изоляционные настроения усугублялись и в силу имперского прошлого. Британские колонии были раскиданы по всему миру, одно время она владела четвертью земной суши. Благодаря этому англичане и думали, что даже Бог говорит на английском и что так будет всегда, а за Ла-Маншем, или, как они его называют, за Английским каналом (The English Channel), находится пустыня жизни.

Многие и сегодня не забывают слова великого британца Сесилия Родса: *«Если вам посчастливилось родиться англичанином, считайте, что вытянули первый приз в лотерее жизни»*. А уж Сесиль Родс, один из богатейших людей в мире, британский колонист викторианской эпохи, именем которого назвали страну (Родезия), знал что говорил. Так было всегда, так в какой-то степени остается и сегодня.

Конечно, одним островным положением не объяснишь особый характер английской истории и культуры, но, несомненно, идея обособленности имела психологическое значение. Англичане всегда помнили, что существуют отдельно от Европы, и находили и, можно предположить, до сих пор находят в этом какой-то особый и даже тайный смысл. Существование пролива, отделяющего Святую Англию — зеленый сад и уютный дом — от греховного мира, где порядка нет (если его туда не принесли англичане), где происходят революции и войны, казалось англичанам глубоко осмысленной мудростью природы, позаботившейся об их благополучии.

Не этим ли объяснялось то, что, когда заходила речь о строительстве туннеля под Ла-Маншем, англичане изумлялись: кому могла прийти в голову такая вздорная мысль? Действительно, Ла-Манш не раз спасал Англию от нашествий иноземцев. Со времен Вильгельма Завоевателя так никто и не пересек пролив с войсками.

О джентльменах и клубах

Но все, как известно, кончается. То, что не удалось сделать армиям, сделали полчища туристов и предпринимателей. Англия капитулировала. Англия больше не остров. Уже не может английский сельский джентльмен, услышав сообщение о погодных условиях в Ла-Манше, сокрушенно (или, наоборот, с удовлетворением?) сказать: в Ла-Манше густой туман, континент отрезан.

Да и вообще, что случилось с этими сельскими английскими джентльменами и кого нынче можно отнести к этой категории? Есть ли они еще сегодня, когда все смешалось, переплелось в едином компьютерном пространстве? Туристы удивляются — в центре Лондона не только не заметишь джентльмена, но и просто англичанина-то не выявишь. Справедливо. Лондон давно уже не принадлежит Англии, Лондон стал столицей мира.

Но не все так безнадежно — джентльмены живы и по сей день являются важной составляющей чисто английского образа жизни. Вечерами, прогуливаясь где-нибудь в лондонском районе Сент-Джеймс, где сосредоточены остатки старинных джентльменских клубов, нередко можно заметить пожилого человека, подъехавшего на черном кэбе к своему клубу. В руках у него маленький чемоданчик на колесах, ибо приехал он из своего загородного поместья провести

пару дней в родном заведении. Он неприметно одет, он абсолютно не выделяется из толпы, но какая-то аура вокруг него, его взгляд, его, как здесь говорят, *body language* (язык тела), выдают происхождение.

Давно канули в Лету те времена, когда английский джентльмен был легко узнаваем в любой точке мира. Три вещи тогда были неотъемлемы и незаменимы в его образе: его лакей, его портной и его клуб. Портного передавали по наследству от отца к сыну точно так же, как семейные реликвии и чувство империи. Клуб, как правило, тоже выбирался по семейной традиции. Помните расхожий анекдот? Три иностранца оказались на необитаемом острове. Немец и француз построили себе по шалашу. А англичанин — три. Зачем ему столько, спросили его. Англичанин снисходительно объяснил: «Вот это мой дом. Вот это мой клуб. А вот это клуб, куда я ни ногой...» Да, настоящий английский джентльмен и его клуб — по сей день понятия совершенно неразделимые.

История лондонских джентльменских клубов — это социальная история английского высшего общества последних 250 лет. Чисто английское изобретение. Другие страны лишь подхватили и скопировали его. Пока существуют клубы, существует старая Англия. По принадлежности к клубу можно судить о пристрастиях джентльмена, его вкусах и даже характере — назови мне твой клуб...

Вспомните героев английских романов — в какой-то момент они обязательно посещают свой клуб, чтобы либо просто посидеть с газетой и расслабиться, либо проверить итоги скачек, либо обсудить дела. Да мало ли чем привлекает джентльмена клуб — второй дом родной, а для некоторых и больше, настоящее благословение Божье. Здесь находят уединение, развлечение, делают ставки, принимают решения.

Шпионские интриги истэблишмента вокруг членов «кембриджской пятерки», ядро которой составляли Берджесс, Маклин и Филби, тоже закручивались в стенах клубов, о чем весьма подробно поведали нам Йэн Флеминг, Уильям Хоггард и Грэм Грин. «Тихие беседы» и сейчас имеют место. Члены клуба в таких случаях любят пошутить: «Не прерывайте старика такого-то, он ведь до сих пор работает на секретные службы...»

Клубы и по сей день остаются воплощением цивилизации, которая породила их и оказалась такой же прочной, как клубные столы красного дерева, такой же комфортной, как кожаные кресла, такой же сияющей, как канделябры, цивилизации, которая, к сожалению, со временем подвергается все большей опасности.

Сокровища клубов, их дневники и легенды несомненно заслуживают с любой точки зрения — исторической, социологической или чисто ностальгической — самого глубокого уважения и почитания. У всех клубов одна цель — объединить людей с общими интересами, но каждый клуб при этом имеет свой особый характер, только ему присущий стиль. Аура эксклюзивности, если не сказать секретности, вокруг них всегда возбуждала интерес. Что там за особая жизнь за плотно закрытыми дверями, на которых даже нет вывески? Кто допускается в эти дворцы?

Конечно, современные эксклюзивные клубы меняются под натиском времени. Последние годы приносят много разочарований. К неудовольствию старых джентльменов, рушится последний бастион мужского шовинизма. На клубы обрушились не только феминистки, но и правительство, требуя покон-

чить с дискриминацией женщин. Но какая же это дискриминация? Ведь частные ассоциации для того и создаются, чтобы отделаться от нежелательных чужаков. Это добровольная изоляция. Право на такую изоляцию — краеугольный камень общества свободных. Но принцип одно, а практика другое.

В сугубо мужскую крепость просочились женщины. В одних клубах их принимают в качестве ассоциированных членов, выделяют им отдельные помещения, не особенно допуская в мужские гостиные, в других принимают как гостей, а в третьих они и вообще становятся полноправными членами. А ведь совсем, казалось бы, недавно один из самых респектабельных клубов «Carlton», клуб партии консерваторов, членом которого по традиции автоматически становится каждый премьер-министр страны, попал в весьма щекотливое положение. Когда премьером стала Маргарет Тэтчер, все растерялись, но решение все-таки нашли: сделали ее почетным членом клуба.

Как бы то ни было, можно предположить, что джентльменские клубы дышат на ладан. Из более чем двухсот клубов центрального Лондона осталось чуть больше десятка! Выживают самые крепкие. Но если уж выживают, то живут отнюдь не плохо. С некоторыми «пережитками старины» в стране уже почти покончено — упразднили наследственное членство в палате лордов, жмут на сельскую охоту. Когда-нибудь дойдет очередь и до старинных клубов. Вопрос времени. И тогда уж точно — прощай, старая Англия. А так не хочется с ней прощаться...

Хочу предложить вам в качестве иллюстрации к жизни аристократов одно интервью в сокращенном виде — разговор с лордом, представителем старинной династии, хорошо известной в Англии. Наша встреча состоялась некоторое время тому назад, но лорд Джон Питр и сегодня занимает тот же пост — представляет корону в графстве Эссекс, является, так сказать, наместником королевы (Lord Lieutenant of Essex).

Разговор с лордом...

Семья лорда Джона Питра (John Petre) вот уже на протяжении более 450 лет проживает в родовом поместье Ингэйтстоун-холл (*Ingatestone Hall*) в графстве Эссекс. В учебниках по истории страны эта фамилия встречается не раз. Настоящий столп английского истеблишмента, семья Питр на протяжении веков играла важную роль в истории Англии, из поколения в поколение верно служила монархам, занимая самые ответственные государственные посты.

Теперешний владелец поместья, восемнадцатый по счету лорд Джон Питр, в 2002 году был назначен лордом-наместником Эссекса, то есть личным представителем Ее Величества королевы. Должность эта появилась еще во времена короля Генриха VIII, в XVI веке. Тогда наместников назначал сам монарх, как правило, из числа пэров или крупных землевладельцев, они отвечали за состояние местной армии и занимались обороной. Роль военных губернаторов они со временем играть перестали, но традиция жива — они и теперь являются представителями короны на местах. Работа лорда-наместника никак не оплачивается (кроме расходов на канцтовары и бензин) — должность исключительно благотворительная.

Мы познакомились в Совете графства Эссекс на церемонии посвящения в гражданство, где лорд Питр во всей красе — в парадной военной форме, как и полагается по должности, приветствовал свежее испеченных британцев от лица королевы.

Лорд Питр сразу «уговорился» на интервью, согласился рассказать о семье, работе, прошлом и настоящем.

Встретились в его маленьком элегантном офисе в бывшем домике привратника при въезде в поместье. Потрескивают поленья в камине, лорд одет почти по-домашнему, сам готовит чай, расспрашивает о русскоязычной прессе, о русских в Англии. Многим вещам искренне удивляется: «Отрезаны мы здесь, в провинции (это он, конечно, преувеличивает!), даже про вашу Масленицу на Трафальгарской площади впервые слышу...»

Мне уютно и комфортно, в который раз подтверждаются мои прежние наблюдения — чем аристократичнее человек, тем более прост он в общении, доброжелателен, открыт и внимателен. Не надо ему «казаться», о его значимости достаточно говорят звания и титулы.

— Вы — представитель королевы в графстве Эссекс. Означает ли это, что она лично назначила вас?

— *На самом деле сейчас все делается на Даунинг-стрит, 10. В ведомстве премьер-министра есть отдел, который занимается назначением лордов-наместников, епископов, шерифов и прочая. Королева лишь утверждает и подписывает приказ.*

В случае со мной это был достаточно долгий процесс. Сначала спросили согласия на выдвижение в качестве кандидата. А когда я уже успел забыть об этом, вдруг сообщили, что прошла моя кандидатура. Вот тут-то я и осознал всю ответственность, конечно, заволновался и начал размышлять, как оправдать доверие. Звучит казенно, но именно так я себя чувствовал в тот момент.

Как ни удивительно, не было даже церемонии вступления в должность. Новые члены парламента, например, высокие шерифы и другие назначенцы проходят процедуру принятия присяги или чего-нибудь в этом духе. Я же получил по почте красивый приказ на пергаменте — приступайте, пожалуйста, — и на этом все.

— Должность ваша, как известно, военного происхождения. Обязательно ли иметь какую-то военную подготовку, чтобы быть назначенным?

— *Сейчас нет. Это раньше главная обязанность наместника состояла в том, чтобы возглавить милицию (так это называлось тогда) графства. Сейчас это скорее просто желание не утратить старую традицию, вы ведь знаете, как мы за них держимся. Главная обязанность в наши дни — сопровождать членов королевской семьи во время визитов в графство. Как понимаете, случается это совсем не часто. Кроме этого, могу сам определять, какие мероприятия посещать, в основном это традиционные церемонии открытия чего-нибудь, посвящения, приемы и прочая. Большая часть из них связана с благотворительностью. И, естественно, поддержание традиционных связей с армией, кадетами, военно-воздушными и морскими училищами.*

— Приходится ли иногда принимать неприятные решения или говорить «нет»?

— *Очень редко. Иногда случается уладить какой-нибудь служебный конфликт, иногда отказаться от посещения мероприятия, которое не кажется мне подходящим. Не идти же, скажем, представителю королевы на открытие супермаркета (смеется)! Приглашения поступают самые неожиданные. Одним словом, огромное преимущество моей работы в том, что все связано исключительно с положительными эмоциями — празднования, приятные мероприятия и события.*

— Служил ли ранее кто-нибудь из вашей семьи в качестве лорда-наместника?

— *Да, два моих предка. Первый лорд Питр был наместником еще во времена Армады. Тогда военная роль была основной. Он командовал милицией в Тилбери, с той стороны ждали испанского вторжения. Вторым был шестой лорд Питр, в XVIII веке. Он, правда, продержался недолго. Наша семья всегда принадлежала к римской католической церкви. Так вот, он был назначен королем Джеймсом II, который пытался вернуть Англию в лоно католицизма и, естественно, на все ключевые посты ставил католиков. После его свержения к власти пришел Вильгельм Оранский, католики оказались в опале, и милиция недвусмысленно заявила, что не будет подчиняться католику. Так что шестой лорд вынужден был уйти, прослужив наместником лишь несколько месяцев.*

— А до назначения наместником Эссекса чем вы занимались?

— *Работы всегда хватало, управление таким хозяйством дело нелегкое, это и фермерство, и сдача внаем домов, и содержание в порядке главного дома. Сейчас фермерством занимаемся только на контрактной основе — сдаем землю в аренду. Помогает мне старший сын Доминик, потихоньку передаю все в его руки.*

— Вы открыли ваш замечательный старинный дом для посещения публики. Чья это была инициатива? Не жалеете ли?

— *Это не задумывалось как бизнес с самого начала. Заставила жизнь: при условии, что мы открываем дом, нас освобождают от огромного налога на наследство. Мне кажется, будь жив мой отец, он никогда бы не пошел на это. А в принципе посмотреть есть на что — живые уроки истории. Приятно, что школьники у нас частые гости.*

— Вы окончили Оксфорд. Это семейная традиция?

— *Нет. Мне даже кажется, что многие мои предки предпочитали Кембридж, отец, например. Хотя мой далекий предок Вильгельм Питр в свое время возродил один из колледжей (Exeter) именно в Оксфорде, команда гребцов этого колледжа до сих пор носит его имя.*

— Если позволите, вернемся к церемонии принятия в гражданство, которая была введена несколько лет тому назад. Как вы думаете, это нововведение привнесло какой-то новый смысл, заставило ли людей по-иному себя почувствовать или это всего лишь бюрократическая процедура, потеря времени и денег?

— Мне кажется, это замечательное начинание со всех точек зрения. Я даже удивился, почему раньше этого не делали. В нашем Совете церемония проводится дважды в месяц, мы «принимаем в британцы» множество людей, и всякий раз я вижу, что люди искренне взволнованы и не скупятся на выражение благодарности.

— А после этого делается ли что-то для новых граждан Британии, чтобы облегчить их интеграцию в общество?

— Наверное, можно делать и больше. Основная работа проводится внутри разных диаспор — клубы, консультации, помощь в трудоустройстве и так далее. А если честно признаться, это мой первый опыт, так что знаю я об этом пока совсем немного.

— Признаюсь, меня это действо всегда трогает: и когда принимали в британцы меня, и когда прихожу на церемонию в качестве гостя моих друзей — церемония проходит очень тепло, искренне и в то же время торжественно и волнующе. Все-таки надо отдать должное — вы, англичане, непревзойденные мастера всякого рода церемоний.

— Это все, пожалуй, что мы теперь умеем... (смеется).

И еще немножко о джентльменах. На этот раз, пожалуй, больше с улыбкой, хотя и серьезности здесь достаточно. Респектабельный журнал Country Life («Сельская жизнь») в апрельском номере, накануне присуждения ежегодного звания «Джентльмен года», опубликовал десять заповедей джентльмена. Список заповедей современного джентльмена составляли по опросам известных людей — телеведущих, писателей, актеров.

Так, известный телеведущий Джереми Паксман утверждает, что джентльмены не дают советов, если их об этом не просят; Джоан Коллинз полагает, что джентльмены не надевают коричневые туфли на вечерние выходы; популярный автор романов о любви Джилли Купер считает, что «джентльмен сам доставит леди домой, если провел с ней ночь...»; актер Ричард Грант сказал: «Вежливость ничего не стоит, а грубость обходится дорого и никогда не забывается». И так далее, и так далее...

В итоге обсуждения свод золотых правил для «Джентльмена года» получился таким:

Джентльмен...

— легко чувствует себя в любой ситуации и так же легко заставляет чувствовать себя окружающих;

— никогда не опаздывает;

— одевается в соответствии с ситуацией;

— сексом занимается, опираясь на локти;

— иногда может крепко выпить, но никогда не теряет контроля;

— помнит о финансовом положении других.

Джентльмен НЕ...

— не носит завязанный заранее галстук-бабочку;

— не пьет «Малибу»;

— не покупает брюки цвета фуксии;

- не твиттует, хотя пользование Фейсбуком не возбраняется, чтобы держать связь с многочисленными крестными детьми;
- не пользуется косметикой для волос;
- не носит изделия с лайкрой;
- не пользуется шариковой ручкой;
- не разводит гладиолусов;
- не заводит кота.

Английский юмор — правда или миф?

Ну, вот и повод плавно перейти к английскому юмору. Шутить британцы любят, шутят много и в любой ситуации — в повседневной жизни, на службе, шутят даже, когда читают серьезные доклады на форумах, шутят во время горячих дебатов в парламенте. Смеются прежде всего над собой, над друзьями, над правительством, достается королевской семье, знаменитостям — легче, наверное, сказать, над чем они не смеются.

А вот можем ли мы, иноземцы, судить об особенностях и качестве того, что во всем мире считается чуть ли не одним из брендов страны, об английском юморе? Думаю, вряд ли. И дело далеко не в знании языка. Кроме языка надо понимать много других вещей — в основе многих анекдотов и розыгрышей лежат события, исторические факты, литературные герои. Часто идет игра слов, обыгрывается произношение. Даже самый лучший переводчик не всегда может передать скрытый тонкий смысл, если, конечно, он не рос с малых лет среди англичан. Поэтому-то нередко приходится слышать от русских, что шутки английские вовсе не смешные, а то и вообще «тупые».

Но ведь понятно, что это касается национальных особенностей любого юмора. Я, например, перестала рассказывать наши анекдоты англичанам — попробуй объяснить им, почему мы смеемся, скажем, над Василием Ивановичем и его командой... Анекдот рассказываешь минуту, а потом полчаса объясняешь, почему это смешно.

На здешнем телевидении очень много юмористических передач. Некоторые из них транслируются в других странах и, надо сказать, по понятным причинам не пользуются там такой уж популярностью. Не всякий юмор популярен и у самих англичан, а точнее, он очень разный, и, как везде, многое зависит от уровня образованности.

Стараясь хоть как-то постичь и эту сторону английской жизни, я грузила себя с первых дней — пыталась слушать и смотреть юмористические передачи на ТВ. До сих пор напрягаюсь — во-первых, как правило, говорят очень быстро, во-вторых, опять же смеются над реальными вещами, о которых ты, может, и не слышал. Но потихоньку-помаленьку мои усилия стали приносить плоды — начинаю разбираться, больше понимать и больше... смеяться. На фоне видимой эксцентричности нахожу много простого и доброго.

Говорят, англичане шутят с невозмутимым, постным, ничего не выражающим лицом, шутят «серьезно», без эмоций. Наверное, в качестве примера можно привести Стивена Фрая, весьма известного и в России английского писателя, телеведущего и актера. Вероятно, и за умение подавать английский юмор его уже который раз подряд просят вести церемонию присуждения кинопремии *Bafta*, на

которую собирается весь цвет мира кино. Представляет ли он номинацию, рассказывает ли о фильме, приветствует ли гостей, его речь одинаково торжественна и монотонна, но вдруг в какой-то момент зал просто взрывается от хохота — Стивен вставил всего-то одну фразу или даже пару слов, но как убийственно иронично они прозвучали!

Собственно, и почти вся английская литература — кладезь юмора. Даже в самых, казалось бы, серьезных, даже в трагических произведениях ему всегда находится место. Во всех шекспировских трагедиях есть шуты и комические сцены. В самых мрачных романах Диккенса и Вальтера Скотта всегда найдешь остроты, анекдоты и комических персонажей. Эта неистребимая склонность к юмору — свойство не только английского художественного творчества, но и породившего его народа.

Разумеется, это не означает, что каждый англичанин — несостоявшийся Оскар Уайльд. Но там, где в других странах в ответ на обидное слово может прозвучать брань, англичанин отпускает шутку. И даже если эта шутка не верх остроумия, она чаще всего разряжает обстановку и предотвращает ссору. И это можно считать еще одним проявлением широко известной английской вежливости. Бытовые остроты и шутки, чаще добродушные, чем злобные, слышишь часто, и они, конечно, проще для понимания. Думаю, вполне можно сказать, что у всех англичан чувство юмора — в крови.

И тут опять надо оговориться: было бы правильнее говорить о «британском юморе», ибо не меньше англичан склонны к юмору и шотландцы, и ирландцы, и валлийцы. Многие из тех, кто прославил на весь мир знаменитую фишку «английский юмор», как раз были ирландцами — Свифт, Шоу, Уайльд.

Одним словом, нам судить об особенностях английского юмора нелегко — все-таки рассчитан он на подготовленную аудиторию, каковой мы не являемся. Так что понятие «чисто английского юмора» для нас, иностранцев, во многом остается мифом. Но в одном все мы наверняка согласны с высказыванием жившего еще в конце шестнадцатого — начале семнадцатого века английского поэта и выпивохи Бена Джонсона: *«У кого есть чувство юмора, того не переспоришь»*.

Загородный дом, птицы и прочая живность...

Когда путешествуешь по сельской Англии на машине, поражаешься — сплошные зеленые просторы, холмы, изрезанные живыми изгородями, овцы, пасущиеся на лугах, одиночные домики, шпили церквей — эдакая пастораль. Спокойствие и умиротворение. Впечатление, будто это не небольшой остров, а обширные равнины континента. Между тем, по плотности населения Британия уступает в Европе только Голландии.

Коренное население предпочитает жить в сельской местности. Конечно, основная масса живет в городах, но идеал англичанина — загородный дом. Те, кто могут себе позволить, имеют и такой дом, и квартиру в городе, если того требует работа. Английские деревни — это отдельная цивилизация, люди живут в них не для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, а для того, чтобы наслаждаться природой. Хотя сегодня акценты в этом смысле смещаются — многие заводят на своих территориях огороды. Выращивание овощей становится

все более популярным занятием. Даже горожане при возможности берут себе участки-огороды где-нибудь на окраинах своих районов.

Прогулки с собаками, лошади, теннис, крикет, охота (последнее, конечно, далеко не для всех) и другое наследство старой земельной аристократии ныне доступно многим. Ну и, конечно, частные сады вокруг дома, безукоризненно ухоженные, располагающие к уединению и покою — вот он, настоящий английский рай.

В деревнях даже люди отличаются от горожан. Они не спешат, они приветливы, им чужды городская суета, заботы и замкнутость. Нет сомнения в том, что основы английского характера формировались в сельских местах.

Мы часто организуем для своих российских гостей поездки в провинцию — только там и можно увидеть настоящую старую Англию. Сами англичане тоже большие любители путешествий по стране, тем более, что посмотреть здесь есть на что. И совершенно неважно, какая стоит погода. В выходные на всех исторических объектах — в замках, поместьях, парках — толпы людей. Часто это семьи с совсем малыми детьми.

Охраной памятников старины занимаются две организации: Английское наследие и Национальный траст — это целая индустрия. Объекты идеально приспособлены для посещений, власти, например, никогда не дадут добро на открытие объекта, если он не имеет приспособлений для проезда инвалидов колясок, доступных по ценам кафе, современных туалетов. Членами этих обществ может стать любой гражданин, членский годовой взнос вполне приемлем для любого кошелька. Но посещать любые достопримечательности, разумеется, могут не только члены этих обществ, просто за вход на объект придется платить.

Есть еще одно любимое английское времяпрепровождение на природе — жители острова страстные любители птиц, точнее, страстные наблюдатели за птицами. Куда бы ни приехал, всегда можно наткнуться на группу людей с биноклями и даже с подзорными трубами — это наблюдатели за жизнью птиц. Благо, птиц на острове множество. Вокруг водоемов нередко увидишь специальные шалаши, мостки и прочие приспособления, на которых можно удобно устроиться, оставаясь невидимым. А о том, что в какой-то части острова была замечена редкая птица, немедленно сообщают газеты и телевидение. Вот уж тогда не позавидуешь жителям ближайшей деревни — туда устремляются толпы птичьих поклонников.

Нередко к переписи определенных видов птиц привлекают и население. Просят записывать, например, сколько раз в месяц человек видел в своем саду такую-то птичку. Вообще все более-менее заметные события в жизни птиц и насекомых становятся предметом широких обсуждений — почему, например, резко упала популяция пчел, или что происходит в нынешнем сезоне с улитками, или какие сельские дороги перекрыты из-за весенней миграции лягушек — не дай бог передавить их... Около каждого пруда в парках установлены картинки и указатели всех видов здешних водных обитателей. Хозяина, раскормившего своего домашнего питомца до размеров, угрожающих его здоровью и жизни, могут запросто вызвать в суд...

Ежегодная процедура пересчета-маркировки лебедей на Темзе тоже привлекает всеобщее внимание. Многие выходят на берег специально, чтобы понаблюдать за красочным зрелищем — на маркировщиках униформа разных цветов, в

зависимости от того, кого они представляют: либо королеву, которой принадлежат лебеди, либо двум гильдиям лондонского Сити, которые тоже владеют некоторым количеством лебедей. Над одной лодкой реет флаг с королевским вензелем и изображением лебедя, над другими — гербы гильдий, тоже с лебедем. О результатах переписи обязательно сообщают все газеты.

Не рады птицам лишь в одном месте — на главной площади страны, на Трафальгарской. Не только не рады, там была объявлена настоящая война с прежними ее обитателями — голубями, ибо было их такое множество, что гостям, оказавшимся на площади, доставалось по полной программе. Войну объявили в 2003-м. Запретили кормить голубей, запретили продажу корма и наняли на работу... сокола. Нет, не затем, чтобы он убивал невинных птиц — чтобы пугал и разгонял, что он исправно и делает по сей день. Работает нынешний страж, сокол Гарри, исключительно по утрам несколько раз в неделю, когда на площади практически нет людей, чтобы не травмировать добросердечных туристов, особенно детей. Зарплата у Гарри вполне приличная — около 60 тысяч фунтов стерлингов в год с учетом транспортных расходов: его сокольник (так, кажется, называют дрессировщика) везет его из другого графства, включены и расходы на угощение в виде цыплят. Да и профессия сокольника весьма редкая, а значит, и хорошо оплачиваемая. Для сравнения: зарплата, например, заслуженного учителя с большим стажем, менеджера среднего звена в банке или офисе, некоторых сотрудников городских Советов может равняться как раз шестидесяти тысячам. Хорошая зарплата.

Городские власти идут на такие расходы, тем более, что работает Гарри вполне эффективно: голуби тоже не дураки, об опасности помнят и, единожды подвергшись агрессивной атаке, стараются больше на площадь не заглядывать. И хотя это, наверное, самый невинный (но не самый дешевый!) способ борьбы с голубями (не истреблять же их какими-нибудь варварскими способами), с самого начала у него появилось много противников в лице защитников природы, коих на острове предостаточно. Это ведь Англия, где столь многое держится на любви к природе и живности. Ну как тут не позавидовать?

Как приятно быть вежливым

Русские порой принимают сдержанность и стереотипность поведения англичан за холодность и ханжество. Не стоит торопиться с выводами. Присмотревшись получше, начинаешь многое видеть по-другому и, самое интересное и, пожалуй, ценное — начинаешь меняться сам. Вот, скажем, толкают тебя невзначай, а ты (стиснув зубы, особенно поначалу, потом привыкаешь) не только улыбнешься, но еще и неизменное для таких случаев *«sorry»* (*простите*) скажешь. Самое большое мое достижение в этом плане — поведение на дорогах. Ох, как нелегко было отказаться от агрессивных московских привычек, забыть свое «боевое» водительское прошлое, когда скандалили и даже дрались в 90-е на заправках, когда однажды в каком-то акробатическом прыжке выбил мне стекло чересчур разволновавшийся водитель — якобы царапнула я его бампер, да мало ли чего было...

А теперь вот и я не упускаю возможности пропустить другую машину, да еще и улыбнуться — гордость за себя распирает, даже настроение улучшается,

ибо знаешь, что и с тобой обойдутся так же. Как, оказывается, приятно и легко быть элементарно вежливым.

Не забуду один случай из начала моей английской водительской практики. Ездила я тогда на представительском «ягуаре» компании, в которой работала. Так вот, представьте, умудрилась однажды выехать навстречу движению на круговой развязке! При этом, что я вытворила, дошло до меня не сразу. Водители сигналили, махали руками и наконец все как один остановились, один вышел из машины и, жестикулируя, храбро отправился мне навстречу. Шок. Схватилась за голову и ретировалась в ближайшую боковую дорогу. Меня провожали... улыбками и подбадривающими жестами. А я забилась на обочину, сидела и вспоминала Москву...

Терпимость, полутона в поведении — каким приятным делают они взаимное существование. Англичанин «не режет правду-матку» в глаза, он постарается обойти острые углы, он знает, что не обязательно вываливать всю правду, если она может кого-то огорчить. Как часто их фразы начинаются с «боюсь, что...», или «мне кажется...», или «не уверен, но...». Никаких категорических утверждений. Поначалу, помню, долго привыкала и даже несправедливо обвиняла мужа: «Да можешь ты наконец ответить четко: да или нет, а не ходить вокруг да около?..»

В компании не принято привлекать чрезмерное внимание к своей персоне, обсуждаются только нейтральные темы: погода, телевидение, путешествия. Никогда не слышала, чтобы кто-нибудь рассказывал о своей работе, причем, чем большего человек добился в своей карьере, тем меньше он будет об этом говорить. Только потом случайно выясняется, что сидел весь вечер в компании известного архитектора или пил чай с женой знакомого по ТВ парламентария.

Еще две темы не приветствуются для обсуждения — политика и религия.

В смешанных компаниях, в которых я часто оказываюсь, это табу нарушают только политизированные русские — затевают обсуждения, утверждают, доказывают. После одной такой встречи в нашем доме друзья-англичане прислали благодарственную открытку (есть тут такой обычай), в которой, поблагодарив за приятный вечер и вкусную еду, добавили: «Нам очень понравился ваш друг Владимир», вот так мягко намекнув на неуместную горячность В., который весь вечер переводил разговоры на политику.

Какие вы, англичане?

А какими представляют себя сами англичане? Какие они? Буквально на днях были в гостях у близких друзей в исключительно английской компании. «Ну, господа хорошие, как вы определите самые заметные черты типичного англичанина?» — задаю я вопрос в качестве как бы шутки. «О, мы очень хорошие, — смеются они и явно задумываются. — А если серьезно, то, наверное, мы живем по правилам, мы очень законопослушны...» — «А если вы такие хорошие, почему столько конфликтов между соседями и все в основном из-за границы, иногда буквально из-за каких-то десяти сантиметров?» — «О, это потому, что мой дом — моя крепость, тут надо быть твердым...» — отшучиваются они.

Конфликтов таких действительно хватает, причем с самыми серьезными

последствиями — таскают друг друга по судам, порой в поисках справедливости все состояние уходит на юристов.

Я и сама попала в неприятную переделку с соседями, когда восемь лет назад мы переехали в тихую улочку-тупичок, где всего-то располагалось с десяток домов-бунгалов. Все шло как нельзя лучше, получили открытки от всех соседей — дескать, добро пожаловать. Общались, знакомились, муж часто помогал по саду ближайшей соседке-старушке. Гром в виде письма от юриста грянул, когда мы обратились за разрешением на расширение дома в местную администрацию — решили сделать небольшую пристройку. Есть здесь такое вполне разумное правило: мало ли чего вы там наворотите, может, лишите ближайших соседей красивого вида или свет перекроете... На любые пристройки-перестройки, пусть и на своей земле, надо получить разрешение.

Вот вам и «добро пожаловать» — наши гостеприимные соседи, которых местный совет официально извещал о наших планах, пользуясь законным правом, наняли инспектора (surveyor), который будет следить за ходом строительства и в случае любых несогласий или, не дай бог, нечаянного ущерба, решать возникающие проблемы. Это, видимо, чтобы самим соседям не пришлось портить с нами отношения? Ну, а самое интересное в этом деле то, что работу инспектора оплачиваем мы, то есть застройщики — так почему бы не нанять? Все продумано.

Ох, как я возмущалась, стыдила соседей, убеждала мужа, что это «нож в спину» после всех улыбок и хороших отношений, и дома-то наши не стоят вплотную, и, случись что, мы ведь сами и исправим, и почему не посоветовались?.. Муж, может, и соглашался где-то внутри, но оставался спокоен — раз есть такое право у соседей, им и решать, воспользоваться ли им. Да, законопослушные, ничего не скажешь. Не упустят эти англичане случая соблюсти букву закона, даже когда в этом и нет необходимости.

Годы прошли, все как будто бы утряслось, соседи с обеих сторон по-прежнему улыбаются, может, вообще забыли о моих нападках. Я свою обиду пытаюсь зарыть поглубже, тоже улыбаюсь и обсуждаю погоду, но не совсем у меня получается — среди приглашаемых на чай и кофе никогда нет соседей справа и слева. Разный менталитет? Конечно. Осадок остался, но не заслонил, слава богу, и хорошие впечатления.

О досуге и прочем времяпрепровождении

Англичане крайне самоорганизующаяся нация. Они не ждут, что кто-то постучится в дверь и пригласит, скажем, на выставку или на встречу с писателем. Они сами организуют свой досуг. Местные газеты регулярно сообщают о работе разных клубов по интересам. Их множество — объединяются любители шахмат, танцев, бриджа, музыки, искусства и пр. Участие в большинстве этих клубных коллективов совершенно бесплатно, организуют их энтузиасты, которые занимаются этим на, так сказать, общественных началах. Поражает, как много людей здесь трудится исключительно «за идею», получая лишь моральное вознаграждение.

Отлично сформировалось это общество, в котором столь многое держится на самоуправлении и самодисциплине. Каждый находит свою ячейку, соответ-

ствующую возрасту, статусу и интересам. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю, искать примеры не приходится, они рядом и их множество. Не хочешь примыкать к обществам, есть и другие сферы. Половина моих соседей-пенсионеров добровольно работает, например, в благотворительных магазинах, некоторые — в музеях, другие — выступают с лекциями по разным клубам.

А сколько людей занимается коллекционированием — начиная от марок и монет и кончая детскими паровозиками! У коллекционеров своя жизнь — регулярные встречи, обмен информацией, ярмарки. Один наш близкий приятель англичанин, например, всю жизнь собирает советские фотоаппараты. Собственно, мы и познакомились когда-то на московском рынке, он тогда в очередной раз приезжал в надежде пополнить коллекцию. Это сейчас редкие модели можно найти через интернет, а раньше ему приходилось постоянно совершать такие вояжи или задействовать знакомых. В конце концов он собрал лучшую в стране коллекцию и в течение многих лет вел в интернете «Клуб любителей советских камер», взимал при этом только плату за пересылку материалов, остальное все делал бесплатно. Нагрузка росла, клуб пополнялся членами со всего мира, и Дэвид решился на закрытие клуба, но до сих пор переписывается с другими собирателями. А деятельность его перешла в новое русло: теперь он регулярно выступает с лекциями, на которых демонстрирует уникальные фотокамеры. И спрос на его знания все растет, ибо информация передается из уст в уста, а интерес к советским фотоаппаратам, среди которых есть и те, что использовались КГБ, оказался высоким среди обычной публики. Выступает он в основном по разным клубам и, представьте, все это делает опять же бесплатно! Соглашается только на оплату проезда, да остается на бесплатный ленч после выступления.

Кстати, есть примеры, когда из таких вот любительских коллекций вырастали музеи. Смотришь дневные телепередачи — и порой кажется, что вся страна поголовно что-нибудь коллекционирует. О собирателях старины и антиквариата особый разговор. В сущности, каждый англичанин в какой-то степени антиквар — он не привык выбрасывать то, что досталось ему от родителей, при этом хранит не только ценности, но и всякую мелочевку. Да и телевидение подогревает интерес, устраивая съемки на местах: эксперты-антиквары «выезжают в народ» — делают оценку товаров, дают профессиональные советы. Неудивительно, что такие вылазки очень популярны. Правда, иногда приходится просидеть в очереди до трех часов. Но опять же, все четко организовано, никто не толпится, на всех хватает сидячих мест. Нередко ожидание стоит того — какая-нибудь неприметная ваза, хранившаяся на чердаке, оказывается раритетом. Вот уж тогда — прямиком на аукцион!

Есть еще одна возможность найти «сокровище». Летом начинаются карбуты, то есть *car boot sales* — люди привозят свой товар в багажнике авто и, не отходя от него, распродают. Явление это чисто английское. Первый такой базар-барахолка прошел в 1980-м на территории одной из ферм в графстве Кент. И вот уже на протяжении более чем тридцати лет карбуты остаются любимым времяпрепровождением для многих англичан. И не только англичан. Все чаще здесь слышится иностранная речь. Неудивительно — где еще можно за копейки купить все необходимое для устраиваемой на новом месте жизни? Здесь есть действительно все: домашний скarb, посуда, одежда, обувь, книги, инструмен-

ты, видео, электроника и даже мебель, причем, как правило, в прекрасном состоянии.

Народ чистит чердаки и подвалы и за символическую плату готов расстаться с накопленным годами добром. Случается, что среди этого старья обнаруживается и что-то такое, что вполне сможет составить гордость коллекции. Правда, за последнее время такие шансы заметно уменьшились. Многочисленные ТВ-программы хорошо просвещают — народ стал грамотнее. Многие теперь, прежде чем нести вещь на карбут, стали обращаться за оценкой к специалистам. А вдруг? Шанс уменьшился, но он по-прежнему существует! И тысячи людей устремляются в выходные на ближайшую барахолку. Для многих это не только купля-продажа, но и приятная атмосфера, общение, вылазка на природу — карбуты обычно проводятся на больших открытых территориях, принадлежащих фермам.

Я полюбила карбуты давно и, наверное, надолго. Наступает воскресенье — и ноги сами несут, особенно, когда погода хорошая. Каждый раз нахожу оправдания: посмотрю рассаду, да мало ли что попадетсЯ... Какой-никакой, а экскурс в историю. Не зря же местные русские придумали для карбутов и другое название — Британский музей.

Ну а уж если собиратель оказывается склонен к эксцентрике, а таких здесь тоже множество, ибо сама раскрепощенная атмосфера жизни тому способствует, то тут вообще никаких ограничений в проявлении коллекционных вкусов. Он может жить в типовом террасном английском домике, но его крохотный садик за домом становится воплощением мечты: один устанавливает там работающую модель железной дороги с вокзальчиками, туалетами, кассами и прочими атрибутами, зачастую изготовленными собственными руками, другой привлекает кабину самолета, третий, не желая расставаться с давней мечтой стать скульптором, лепит и устанавливает статуи... К слову, террасными дома называются потому, что построены рядами, без пространства между ними, то есть с двух сторон они имеют общие стены с соседями. Это типовые скромные городские домики: три спальни наверху, кухня и гостиная внизу, но английскость и тут сохраняется — у каждого владельца есть маленькие садики — перед домом и на заднем дворе. И правда, какой же ты англичанин, если у тебя нет сада? Хотя тут нужно оговориться: в городах строится все больше многоквартирных домов. Население нынче растет такими темпами, что места на постройку индивидуальных домиков уже не находится. В некоторых зеленых зонах строительство вообще запрещено, в других нельзя строить, потому что эти места подвержены затоплениям и тому подобное.

Здравоохранение и мы

Самое трудное, к чему приходится привыкать русскому, переехавшему в Британию, это, безусловно, здешняя система здравоохранения, *NHS (National Health Service)*. С ностальгией вспоминается четкая советская схема: заболел нос — идешь к лору, желудок — к гастроэнтерологу. Здесь все по-другому. Видимо, начавшись во времена, когда бал правили и вполне справлялись с нагрузкой семейные врачи, современная система до сих пор работает по старой схеме: что бы у тебя ни заболело, первое обращение за помощью — это визит к участковому врачу (единственное исключение: к дантисту попадают напрямую).

Одно из первых английских слов, которое запоминают вновь прибывшие в эту страну, это аббревиатура *GP (general practitioner)*, то бишь твой участковый терапевт. Без него никуда.

И вот тут-то начинаются проблемы. На прием к GP обязательно надо записаться заранее. В зависимости от того, где живешь, ожидание может занять от нескольких дней до двух недель. Здесь так и говорят: многое зависит от твоего почтового индекса, то есть адреса, — есть районы, где процесс идет быстрее, чем, скажем, на густо заселенных рабочих окраинах. И не надейтесь вызвать врача на дом, даже если вас свалила температура в 39 градусов! В это я лично поначалу просто отказывалась поверить, ибо была убеждена, что все в Британии основано на здравом смысле. И когда слегла с болью в спине и практически не могла двигаться, так надела на мужа — дескать, ты живешь в этой стране и не знаешь правил, да быть не может, чтобы невозможно было вызвать врача, — что мой бедный брит больше часа просидел на телефоне: рассказывал всем по цепочке, просил и наконец требовал... К ночи победа — врач прибыл: огромного роста веселый темнокожий эскулап еле протиснулся в нашу дверь, выслушал историю, осмотрел проблемное место, потрогал, вселил оптимизм, но даже не сделал обезболивающего укола, потому что я до его прихода уже приняла несколько таблеток диклофака, а других препаратов при нем не оказалось. Полечилась, одним словом.

В экстренных случаях выход, конечно, находится: скорее, чем к своему GP, можно попасть к дежурному врачу или медсестре или своим ходом идти в ближайшее отделение «скорой помощи», но это для самых терпеливых. Там окажут квалифицированную помощь, но просидеть в зале ожидания можно несколько часов (по существующим нормам, не более четырех, но эти нормы нарушаются). Опять же работает почтовый индекс! Везде по-разному. Без очереди принимают людей с переломами или болью за грудиной.

Но вернемся к нашему GP. Шансы на то, что он направит вас к специалисту, невелики, ну, скажем, 50 на 50. Сначала выпишет привычный парацетамол (предмет шуток среди русских) и заверит, что ничего страшного не происходит. Британские доктора стараются придерживаться принятых стандартов лечения при любом недомогании, поэтому нам их подход кажется казенным, они не хотят брать на себя лишнюю ответственность и отклоняться от курса. Это, мягко говоря, удивляет иммигранта. Мы-то ведь привыкли к более-менее индивидуальному подходу.

Следующий раунд ожидания наступает, если GP все-таки решит направить вас к узкому специалисту. В течение дней десяти вы получите письмо уже от консультанта, с указанной датой приема — здесь ожидание опять может растянуться на недели.

Избалованы мы советской медициной, трудно привыкнуть к новым правилам. Вот и хулит английскую медицину наш брат иммигрант. Англичане на нашем фоне — просто настоящие стоики: не бегут к врачу при насморке, температуре и других легких недомоганиях. Тем более, что и без бюллетеня пропустить несколько дней на работе не возбраняется (свои правила в разных заведениях).

Думаю, что в значительной степени наша критика устройства здешнего здравоохранения несправедлива. Причиной скорее являются социально-культурные различия. Надо привыкать, брать лучшее и... выживать. Я работаю в

здравоохранении в качестве переводчика, насмотрелась изнутри, прониклась, зауважала и пытаюсь объяснять соотечественникам, что все не так плохо, как им кажется. Вполне можно научиться общаться с GР, готовиться к консультациям, высказывать свои опасения и обосновывать просьбу направить к специалисту, нужно уметь быть твердым, но обязательно оставаться вежливым. Со временем многие меняют свое мнение, особенно, как я говорю, если попали в систему, то есть имеют серьезные хронические болезни или прошли через операции.

Наверное, с этого надо было начать: медицинское обслуживание в Британии бесплатно (кроме стоматологии), включая и операции любой сложности. Во многих случаях бесплатны и лекарства, например, для тех, кто состоит на учете с серьезным заболеванием, для детей и пенсионеров. А альтернатива для несогласных всегда есть: страховая платная медицина, к тому же в последнее время открылось много платных поликлиник, где работают русские врачи.

Но еще больше достается NHS от самих британцев. Если честно, то вполне можно сказать, что сегодня здравоохранение просто трещит по швам от напряжения — и не только от неконтролируемого прироста населения, то есть от иммигрантов. Главная причина — все увеличивающееся количество пожилых людей. В больницах 7 из 10 коек занято пенсионерами. Больницы превратились в скоростной конвейер: пациентов не держат долго даже после серьезных операций, порой отправляют домой и среди ночи — надо принимать следующих. Все чаще слышим о скандалах, когда пациенты умирают по причине недостаточного ухода.

Парадокс времени: за последние 25 лет количество койко-мест в больницах упало на треть, а количество пациентов растет и растет... Никто всерьез не готовился к такому «нашествию» седовласой гвардии и даже сегодня, когда против этого факта не возразишь, воспринимают его как большой сюрприз. Директива Европарламента, ограничивающая часы работы докторов, только усугубила ситуацию. Не дай бог, если вам понадобилась серьезная помощь в выходные или в нерабочие часы — может не повезти: просто-напросто не окажется в наличии квалифицированного врача. Считайте, что вам не повезло, если незапланированную операцию пришлось делать в пятницу — опять же из-за отсутствия врачей вполне можно не заметить осложнений.

Это, к сожалению, факты, но я никогда не рискну встать на тропу критики NHS, слишком много я уже от нее получила за время, прожитое здесь.

А демография страны в последние годы действительно изменилась до неузнаваемости. Судите сами: те, кому перевалило за 65, составляют сегодня одну шестую часть населения. Но это только начало. К 2030-му ожидается, что из 60 миллионов населения около миллиона будут те, кому за 80, и примерно треть сегодняшних детей смогут дожить до ста лет.

Впечатляющие цифры. Никогда в истории человечества настолько значительная часть населения не состояла, как бы это помягче сказать, из столь старой гвардии. Старики были всегда, и они были заметны в обществе, прежде всего потому, что их было намного меньше. Получается, что сегодня, не говоря уж о завтра, быть старым в Британии становится нормой. И сколько бы мы ни слышали дискуссий о плохом содержании в домах для престарелых, о невнимании со стороны NHS, урезании пенсий и так далее, в этой стране правительство делает много для своих стариков. Собственно, эти горячие дискуссии тоже показывают обеспокоенность и стремление к улучшению. Богатое государство

может и должно многое себе позволить в заботе о стариках. В конце-то концов, все понимают, что стать старым и немощным — судьба каждого.

Иметь более здоровое старшее поколение выгодно всем. Пенсионный возраст уже начал увеличиваться. Пенсионеры хотят работать после 65-ти, многие работают. Недавно был принят закон, отменяющий обязательный возраст для ухода на пенсию. Но закон этот принес больше недовольства со стороны работодателей, чем радости со стороны пенсионеров, — а захочется ли вам продолжать трудиться в компании, если вы знаете, что вас там не хотят, но вынуждены терпеть?

Короче говоря, опять все упирается в здоровье. И у правительства нет выбора — нужны кардинальные меры, нужна заметная перестройка NHS.

Для политиков есть и другой аспект. Дружить с растущей седовласой гвардией приходится не только из сострадания — шестая часть населения, да к тому же самая активная во время выборов, вполне способна изменить соотношение голосов, то есть повлиять на судьбу каждого политика и страны в целом.

Старая добрая Англия или... как живут пенсионеры

Старая добрая Англия, на которую я постоянно ссылаюсь, к счастью, все еще не канувшее в Лету понятие. Хотя и являемся мы с вами ежедневными свидетелями крушения, казалось бы, таких прочных традиций, наблюдаем, как низвергаются вековые каноны, и откровенно волнуемся за судьбу этой страны, жизнь, тем не менее, показывает, что не все так печально. Да, традиционная Англия сдает позиции перед разрушительной силой времени, но одновременно как нигде в другом месте мирно уживаются здесь и старое, и новое.

Примерно так размышляю я всякий раз, когда приходит очередное рождественское письмо от Ричарда, старинного друга и первого начальника моего мужа.

Традиция рождественских писем появилась задолго до появления открыток. Писали членам семьи, родственникам, описывали свою жизнь в течение года, делились новостями и мыслями. И до сих пор многие предпочитают отправить такое письмо, а не открытку. Старая идея и одновременно, при нынешних-то компьютерах, принтерах да ксероксах, такая современная. Подготовь одно письмо, а потом — знай вписывай разные имена.

Предлагаю вам прочесть письмо от Ричарда (со значительными сокращениями). Решила поделиться не потому, что описывает он необыкновенные истории, напротив, рассказ его спокоен, обыден, для кого-то, может, и скучен. Ричард давно-давно пенсионер, дай бог каждому такую старость... Для меня лично его рассказ вполне оптимистичен, во всяком случае, на размышления наводит и стимулирует.

«Провожая еще один год и с приятными, и с печальными воспоминаниями, год, насыщенный событиями. Надеюсь, что еще в начале года закончу свою работу над историей семьи Тревер (материнская линия моего деда), но все время какие-то дела отвлекали.

Во-первых, решил привести в архивную форму и пристроить мою коллекцию фотографий фермерских ворот (field gates), которую собирал с 50-х годов. Тогда все началось просто как увлечение во время деловых поездок по стране.

В те времена все ворота делали из дерева, сейчас — в основном из стали, деревянных практически не осталось. Думаю, что надо сохранить коллекцию для истории.

Один из моих сокурсников (посещаю курс по антиквариату в Keele University), известный коллекционер старинных часов и карт, посоветовал обратиться в English Heritage (*Английское наследие*. — Н.К.). Это, как оказалось, было правильное решение. В их миллионных архивах фотодокументов такая категория отсутствовала совсем, поэтому они очень заинтересовались. Так что масса времени ушла на составление каталога, описание, размещение негативов и снимков в альбомах. Конечно, я остался очень доволен.

Что касается моего исследования истории ветви Тревер, то тут открылось много интересного...

В течение года совершил несколько поездок, в основном с клубами и обществами, в которых состою. Это были автобусные поездки — единственный способ, которым я и могу путешествовать сейчас. Забирают прямо от дома, туда же и возвращают. Ездили на экскурсии в разные галереи и на выставки. Поездка в Бирмингем особенно запомнилась — вчетвером мы застряли в лифте! Но сумели выбраться через верх кабины на пол следующего этажа до приезда бригады!

Мой друг Винсент организовал мне поездку в Dalkeith, Carnwarth и Loanhead — с посещением церквей, кладбищ и местных музеев. Поездка оказалась весьма полезна для моих поисков, нашел дополнительную информацию по истории семьи и сделал много снимков на могилах предков. Наверное, Винсенту было не так интересно, но он не подавал виду!

Чтобы закончить на оптимистической ноте, расскажу, что удалось сделать небольшой ремонт в квартире, утеплить лофт, заменить окна. Немножко модернизировал кухню — установил новую плиту, очень доволен, все тепло держится в поддоне, не теряется, значительно ускоряется разогрев. Купил комбайн для производства джема. Всегда, как знаете, любил джем, поедая его в больших количествах, магазинному не очень-то доверяю — напичкан химикатами и искусственными красителями. В комбайн встроен термометр, не надо стоять и часами размешивать в медном тазу, помните, как мы делали это в старые времена? Так что облегчил себе жизнь на кухне.

На этот раз не еду во Францию к родственникам на Рождество. Все-таки на юге Франции в это время года значительно холоднее. И вовсе не из-за "global warming", а потому что Гольфстрим не захватывает Бискайский залив — мешает Испания.

Здоровья и процветания вам всем в новом году (если банки и правительство позволяют)! Ваш Ричард.»

Это лишь малая часть послания, Ричард подробно описывает встречи с людьми, называет новорожденных и умерших, рассуждает, строит планы.

Вот она, настоящая старая добрая Англия, не правда ли? И еще одна маленькая, а, может, наоборот, самая значительная деталь в этой истории — на момент написания письма Ричарду исполнилось 96 лет!

Элита, пролетарии и другие

Ох, далеко не все живут так, как пенсионер Ричард или, тем более, как лорд Питр. Есть и другая Англия, где семьи еле сводят концы с концами, где копят деньги на отпуск, а для многих семей с детьми это вообще непозволительная роскошь. Проблем хватает у всех слоев общества: и у тех, кто работает, и у тех, кто в поисках работы, и у тех, кто работать не может. Государство, конечно, поддерживает — существует система пособий, которую в последние годы активно пересматривают, особенно в отношении иммигрантов. Иммиграция вообще расколола общество — кто-то утверждает, что без нее страна пропадет, работать будет некому, кто-то, напротив, жалуется, что много рабочих мест отнимается у коренных жителей. Боюсь даже, что результаты следующих парламентских выборов будут сильно зависеть от того, какие платформы выдвинут кандидаты по вопросу об иммиграции. Как бы то ни было, все понимают, что страна не справляется с непрогнозируемым притоком.

И самый показательный пример тому — система здравоохранения и образования. Переполненные классы в государственных школах, нехватка школ и учителей, снижающиеся стандарты обучения. Можете себе представить, что в некоторых городских школах английский язык не является родным для большинства школьников? Вот недавно сообщили, что одна школа в Лидсе начала преподавать английский как второй язык — менее четверти учащихся этой школы родились в Англии. Вот такая ситуация.

Наверное, нет другого настолько классово разделенного общества, как Британия. Но если раньше класс определяли по состоянию, профессии и образованию, то сегодня добавился еще и культурный аспект. Традиционное деление: элита, средний класс и рабочий класс сохранилось, но при этом понятие «средний класс» сильно изменилось и теперь включает не одну группу.

Одно осталось неизменным: огромная разница в уровне жизни верхних слоев общества и людей, проживающих в так называемых «*council estates*», народных кварталах (жилье предоставляется государством). Страной правят выпускники элитных частных школ. Одну из них (Итон) даже называют фабрикой по производству премьер-министров. В какой еще стране о человеке могут судить по тому, как он говорит? «Своих» определяют сразу, иногда даже могут сказать, какую школу и какой университет он окончил. Да, в стране правят демократия и равенство, но попасть в правящий истеблишмент со стороны практически невозможно — он всегда был заполнен представителями элиты, их детьми, их родственниками и друзьями и, похоже, меняться не собирается, да и надо ли?

Как я люблю наблюдать дебаты в парламенте (постоянно транслируются по ТВ), особенно по особо горячим вопросам! Да, не зря родители вкладывали деньги в образование своих детей — многому научили своих лучших выпускников частные школы: какая речь, сколько эмоций, сколько критики оппонентов, сколько юмора!.. Но никогда, слышите, никогда, даже в самых отчаянных ситуациях, когда температура дебатов зашкаливает, когда спикер отчаянно выкрикивает свое «*Order! Order!*», но не может навести порядок, никаких личных оскорблений — потерять контроль над собой это так не по-английски. «*Stiff upper lip*» — это впитано с молоком матери. Замечательный театр, есть чему поучиться.

Понятно поэтому стремление родителей, принадлежащих к среднему классу, тоже отправлять детей в частные школы. Делается это часто ценой невероятных усилий, строжайшей экономии, отказа от любой роскоши и удовольствий. Трудно, но стоит того — ничто так не определяет судьбу британского подростка, как правильный выбор частной школы.

Волнует ли публику этот социальный раскол? Не думаю. И есть тому простое объяснение — в этой стране думают обо всех, эта страна создана для людей и об этом не забываешь ни на минуту. Именно англичане придумали «права человека» и стали их соблюдать. Британия и по сей день свободная и цивилизованная страна, которая защищает меньшинство и подчиняется законам. Не зря во всем мире ее считают самой законопослушной.

В этой стране можно подать в суд хоть на правительство и рассчитывать на честное разбирательство. Здесь правит закон. Много ли таких мест в мире?

Не зря же российские олигархи устраивают судебные разборки между собой именно здесь — рассчитывают на справедливость, пополняя этим, кстати, государственную казну, ибо судебные издержки выливаются в миллионы, не говоря уж о налогах в здешнюю казну.

Приезжие обращают внимание на большое число инвалидов на улицах городов. Заметно это прежде всего потому, что в стране все делается для того, чтобы инвалиды могли вести полноценную жизнь: все общественные места приспособлены для инвалидных колясок, включая практически все станции метро. А если водитель автобуса видит на остановке инвалидную коляску, он выпускает специально приспособленный пандус для ее въезда, и ни один пассажир не выкажет недовольства по поводу задержки, наоборот, посторонятся, помогут, поддержат улыбкой. Все муниципалитеты и прочие административные здания тоже обязательно оборудованы для приема инвалидов.

И еще про заботу о народе. Недавно столкнулась с поразительным фактом. В английских тюрьмах открываются рестораны для публики (уже три открыто). На прошлой неделе и мы оказались среди посетителей. Запись на посещение организована онлайн, пока ежедневно принимают ограниченное число гостей, хотя ресторан в Брикстонской тюрьме на юге Лондона, в котором мы отобедали, рассчитан на 100 человек. Планка поставлена высокая, уровень ресторана (обслуживание и еда) не ниже, скажем, престижного ресторана в любом четырех-пятизвездочном отеле.

Так вот, главный смысл: весь обслуживающий персонал, включая шеф-повара, — заключенные, которым осталось сидеть, ну может, около года. Заключенных готовят к выходу на свободу с профессией в руках, причем владение профессией соответствует принятым национальным стандартам. Благотворительная организация, ответственная за проект (он далеко не единственный), ставит своей задачей свести к минимуму уровень повторных правонарушений, и надо сказать, что результаты уже впечатляют. Первый ресторан в тюрьме открылся в 2009-м, среди его «выпускников» уровень «повторов» существенно ниже.

Меня всегда поражал объем благотворительности в этой стране, а после похода в Брикстонский ресторан, после разговоров с заключенными вообще хотелось молчать и думать. К проекту привлекают самых известных людей из ресторанного бизнеса — они безвозмездно отдают свое время: готовят персонал, организуют мастер-классы... А движущей, то бишь материальной силой проекта

стала молодая английская леди Эдвина Гросвенор, дочь самого богатого землевладельца страны, шестого герцога Вестминстерского. Открытие одного такого ресторана обходится в миллион фунтов стерлингов. К 2017 году их планируют открыть десять.

Леди Эдвина так определяет свою миссию: *«Я борюсь с предрассудками по поводу заключенных, с тем, что клеймо остается с ними на всю жизнь. После освобождения им трудно найти работу — это несправедливо. Сейчас работодатели не имеют права отказывать в приеме на работу инвалидам или, скажем, гомосексуалам. Этот принцип должен в одинаковой мере распространяться и на освобожденных из заключения. Принимать на работу нужно исключительно по деловым качествам...»*

Комментарий не требуется, не правда ли?

Вполне понятно стремление людей обосновываться именно на Британских островах, и не потому, что здесь раздают хлеб с маслом, поверьте, трудностей и проблем хватает, а именно потому, что каждый человек, работающий честно, надеется на определенную защищенность и справедливость и чаще всего получает их. Так что классовость классовостью, а места и условий для достойной жизни в этой стране хватает всем.

Есть еще один трогательный момент, который объединяет и уравнивает всех в этой стране — их королева. Британцы любят свою королеву, она, пожалуй, единственный человек в стране, который может себе позволить думать только о своем народе. Она не борется за власть, не вступает в корпоративные игры, не лоббирует крупный бизнес, не продвигает своих людей, от нее исходит тихое достоинство. Такой человек один, но это так много!

62 года безупречной службы, 62 года, наполненные событиями, трудными и радостными, бурными и спокойными — день ото дня рядом с народом, что бы ни происходило. Воистину — старая добрая Англия и ее королева. Понятно, почему с такой преданностью и нередко со слезами на глазах исполняют слова британского гимна сегодняшние подданные королевы, слова, которыми закончил свое выступление на инаугурации королевы 62 года назад тогдашний премьер-министр Черчилль: *«GOD, SAVE THE QUEEN...»* (Богже, храни королеву).

Лондон
Апрель, 2014

Николай Божков

Сказы хутора Сторожевое

Николай Иванович Божков родился спустя два года после окончания Великой Отечественной войны на небольшом хуторе в нескольких километрах от поселка Прохоровка, около которого в июле 1943 года состоялось грандиозное танковое сражение, которое считается одной из крупнейших в военной истории битв с применением бронетанковых сил. Ему было уже за пятьдесят, когда он начал записывать рассказы односельчан и свои детские воспоминания.

Это был его долг перед матерью, которая до последнего дня надеялась, что в один прекрасный день приедет из Москвы писатель, который опишет, что испытали люди, по чьим в самом буквальном смысле домам и дворам прокатилась страшная машина войны, и какую жизнь им, жителям хутора Сторожевое, довелось прожить. Она умерла, никого не дождавшись. И тогда сын ее, Николай Иванович — работник народного образования, ставший к тому времени фермером и пасечником, — понял, что никто и не приедет. Никогда. И если ему дорога память о прошлом родины — то надо записать все самому. Так фермер стал писателем.

Картошка

В июне 1942 года, после боя, немцы пошли в наступление. Фронт, после длительного стояния по линии хутор Сторожевое — Прохоровка, покатился на восток в сторону Воронежа. Канонада еще не стихла, когда хуторяне, большая часть которых в это время ютилась в Прелестненских хуторах, стали думать о возвращении в свои хаты.

Моя мама, с дядей Тимой, которому исполнилось тогда пятнадцать, пошли в разведку. Среди солдат, поселившихся в доме моего деда Павла Николаевича, оказался совсем молоденький немченок, такой же рыжий и голубоглазый, как и Тимофей. Он сразу подошел нему и спросил по-русски с акцентом.

— Как тебя зовут?

— Тимофей Павлович.

— Я Ганс, по-русски Иван, — представился он и протянул руку.

Потом, заглядывая в немецко-русский разговорник, начал щеголять русским языком, выдавая фразы, типа: «Школько километров до Сталинграда?» Говорил, что знает способ, как на войне оставаться живым.

— Мой отец сказал, чтобы я не стрелял в людей. Я буду стрелять вверх, —

показал он, направив винтовку выше Тиминой головы, — и вернусь домой живым.

Потом он произнес целую речь, в которой предлагал Гитлера и Сталина столкнуть лбами, а всех солдат отпустить по домам.

Подразделение, где служил Ганс, впервые попало в прифронтовую полосу, в боях не участвовало и, на тот момент, еще не озверело. Так что жители вернулись домой спокойно.

Этот Ганс оказался деятельным типом. Ясли в сарае — корову немцы быстро съели — он переоборудовал в подобие унитаза и тут же обновил. Тимофей увидев это, побежал к маме сообщить, что немец роется в коровьих яслях. Дело в том, что к приходу немцев народ готовился, и все самое ценное зарыли в землю. Полиэтилена тогда еще не знали, поэтому вещи старались прятать под крышей. Бабушкин сундук был зарыт как раз под яслями и то, что там оказался люфт-клозет, спасло его от разграбления. Голодной зимой 1942 года большинство уцелевших вещей поменяли на хлеб, но вещи фронтовиков, их парадные гражданские костюмы, хранились в неприкосновенности до Дня победы, до возвращения героев. Сберегли и приданое моей бабушки, где были нарядные вязанные наволочки, подузорники, вышитые крестиком праздничные самотканые полотенца. Теперь их берегут уже правнучки. Сохранился и чемодан с документами, довоенными фотографиями и другими бумагами.

Ганс был неумолим: он нашел где-то веревку, указал Тиме, что ее надо закрепить в самом верху сарая, где под соломенной крышей сходятся стропила, сам запил край у дощечки и получились качели.

Сначала Тима раскачивал немца, а когда тот накачался вволю, предложил и дяде Тиме попробовать. Потом пробовали качаться вдвоем.

Но сколько километров до Сталинграда, немец Ганс так и не узнал, — погиб от разрыва снаряда. Однажды с двумя напарниками чистил он оружие, и то ли с наших позиций шальным снарядом их накрыло, то ли сам Ганс, играясь, уронил снаряд, но все трое погибли и были захоронены прямо под стеной хаты.

Вскоре появились битые немцы из-под Воронежа. Эти были уже озлоблены. Вот как об этом рассказывает моя сестра Таисия, ей было тогда пять лет.

«Первое, что немцы сделали, когда пришли — расстреляли нашу корову, телочку и овец. На рождество устроили "елку", отобрали у кошки, удавили и развесили во дворе на вишенке, как игрушки, моих любимых котят. Потом всех жителей загнали в погреб и выставили часовых.

Я поймала осиротевшую кошку, спрятала за пазуху и уже спускалась в погреб, думая, что спасла, и тут увидела направленный на меня автомат и услышала лающую брань. Я бросила кошку, она побежала, и тут же фашист дал по ней очередь. Полетели клочья шерсти, серый комок прокатился по земле и замер. Я забилась в дальний угол погреба и долго беззвучно плакала. Это было мое первое безутешное горе, а война у нас только началась. Никто не думал, что в погребе продержат три дня, еды не захватили, воды тоже не было, питались сырыми овощами. Соседка тетя Шура сумела незаметно пронести кусок сала. Его делили на всех и ели без хлеба. Вкуснее еды я с тех пор не пробовала...»

Через три дня всем жителям, а было их тогда около двухсот человек женщин, детей и стариков, было велено уходить на запад.

«Мама, — рассказывала сестра, — надела на меня два пальто, старое и новое, валенки, шапку и платок. Сама взяла на руки трехлетнего брата, на руку

повесила узелок с хлебом и ножницами, дала в руки мне подол своего пальто и сказала: "Дочь, держись крепко", — и мы пошли. Мне нестерпимо хотелось спать. Я отрывалась от маминого пальто, падала в снег и засыпала, а может быть, сначала засыпала, потом падала. Поняв, что я упала, мама продолжала какое-то время идти, потом клала братика на снег и возвращалась за мной. Потом снова подол маминого пальто, падение в снег и так все девятнадцать километров».

Голод в немецком тылу был невероятный. Ели траву, желуди, зимой почки с деревьев, гнилые овощи, но никто не умер. Да еще немцы приезжали со своей «продразверсткой». По хутору от двора к двору двигалась телега, а рядом шли вооруженные солдаты крича:

— Матка, кура, яйко, млеко!..

«Матка» разводила руками. Нет у меня уже ничего...

Тогда, оттолкнув ее в сторону, заходили во двор и рылись, в погребах и сараях, выгребая последние крохи. Во дворе матери шестерых детей Ксении Михайловны Харитоновой, светлая ей память, съестного не нашли. Да там и искать было нечего. Тогда вошли в хату, обшарили пустые углы, заглянули в печь, под печь, — ничего. Стали сгонять с печки детей. Когда прыгнул последний, обнаружилась в углу сумочка с просом. Заглянувший в нее фашист довольно улыбался.

Мать, осознав, что у детей забирают последнее, обрекая их на голодную смерть, вцепилась в сумочку руками. Здоровый немец сумку удержал. «Отдай, гад!» — крикнула мать и изо всей силы одной рукой вцепилась в фашистскую морду. Дети с плачем бросились к матери, оттесняя ее от немца. Тот щелкнул затвором. Очередь прошла святой угол хаты: это его напарник успел дернуть автомат за ствол...

А в 1942 году они вернулись из немецкого тыла на пепелище. Сожжено было все. Есть было совершенно нечего. Ни хлебных карточек, ни даже самого мизерного пайка на оккупированных территориях не полагалось. Старшие ребята научились из трофейной маскировочной сетки делать ловушки для воробьев. Но от голода это не спасало. Все, что Ксения где-то добывала, отдавала детям, а самой, как она рассказывала, есть не хотелось и она этому очень радовалась. Потом увидела, что ноги остекленели, двигаться она уже почти не могла, и поняла, что умирает. Страх за детей обуял ее. Нашла Ксения в себе силы встать. Выжила сама и спасла детей.

Через много лет после войны позвали ее однажды к умирающему соседу:

— Хочет, — говорят, — покаяться.

— Соседушка, — прошептал он, всхлипывая, — прости за то, что поджег в войну твою хату. Я тогда пришел в Виноградовку первый, все хаты, смотрю, сгорели, а твоя стоит. Обидно мне стало...

В Сторожевом родительский дом тоже не сгорел и даже кое-какая мебель сохранилась, только после полугодового квартирования вражеских солдат дух стоял тяжелый. Мама решила хату побелить. Из травы начала вязать щетку, брата послала на откос за мелом. Белила развели в брошенной каске. Взявшись на шаткую скамейку, она начала белить потолок. Неожиданно в хату влетел Тима. Глаза его сияли. В руках он держал пригоршню картофеля.

— Смотри, что я нашел!

— Где ты их взял?

— В погребе.

— Так я же смотрела, немцы там все выгребли подчистую.

— Они в щели за бревна завалились, их не нашли. Давай супчик сварим, я мигом дров соберу.

— Знаешь, что, — подумав, сказала мама, — сейчас лето, супчик я лучше из крапивы сварю, а картошку давай посадим. Нам, похоже, придется под немцем еще зиму зимовать.

В огороде бурьян стоял почти в рост человека. Ни косы, ни лопаты не было. Но на месте сожженного стога сена трава не росла. Тима нашел подходящую острую железяку, и мелко порезанный по числу глазков картофель был посажен по пепелищу. Удивительно хороший урожай был собран той осенью. Я думаю, вся «война народная» состояла из таких вот бесчисленных фрагментов. Только по эпизодам можно узнать войну. И картошка 1942 года навсегда осталась в памяти нашей семьи.

Зимой 1945 года Тимофею исполнилось восемнадцать лет. Он был призван, попал на фронт под Кенигсберг и в первом же бою получил страшную контузию. Домой он вернулся немым, только через год стала возвращаться речь. Потом женился, вырастил детей, в сорок лет поступил в Харьковский ветеринарный институт, защитил диплом и до пенсии работал в Прохоровском Агропроме. Умер рано: контузия все-таки сказалась.

На том берегу

Корову Лиду в шутку называли «фронтовичкой». По рассказам, она дважды пересекала линию фронта, а в 1943 году перед наступлением наших войск на Курской дуге эвакуировалась в тыл, волоча тачку с вещами, продуктами и старшими, довоенными мамиными детьми.

Частые обстрелы, бомбежки и даже легкие ранения, по-видимому, повлияли на характер «фронтовички». Она не подпускала к себе чужих людей, а бывало, что доставалось и своим. В мирное время бодливых коров долго не держали, но когда не на чем было пахать колхозные земли, а зимой возить из леса дрова, на поля навоз, то тут уже было не до бодливости и даже не до молока. Пасли коров утром, до наряда, немного в обед и вечером после работы. Кроме травы подкормить было нечем. Какое уж там молоко?

Но телят Лида приносила регулярно, а это была копейка в семью колхозников, получавших за свою работу только «палочки» в бумагах учетчиков. Каждой осенью подросших бычков и телочек вели сдавать в заготконтору. Там, помурывив сдатчика пару дней, чтобы не кормленная скотина побольше потеряла в весе, их все же принимали, а через какое-то время выдавали и деньги.

Трудно даже представить себе, насколько непредставима была крестьянская жизнь без коровы совсем недавно. Я помню еще, как дежурил у пасущейся за огородом Лиды. Уже несколько дней в ожидании отела ее не пускали в стадо, держали на привязи. Родители ночью по очереди навевывались в сарай, а днем я помогал. За огородом была небольшая изрытая зигзагами траншей поляна, а

дальше лес. Сидя на груше, у сорочьего гнезда я и заметил, что Лида лежит как-то странно и из нее что-то высунулось.

Пока я слезал, крича, пока бежал, пока бежали обратно мы с мамой, Лида уже облизывала черно-пеструю телочку. А поскольку больше всех при этом суежилась, стрекоча над ними, сорока, новорожденную нарекли «Сорокой».

В «царствование» Сороки прошло отрочество. Тогда, помогая отцу, я научился убирать навоз, чистить шерсть железной щеткой, обкусывать специальными клещами коровьи копыта, которые постоянно растут, как и человеческие ногти. А если их регулярно не «стричь», они будут болезненно заламываться.

Ежегодно ножовкой спиливали кончики рогов. У Сороки они росли не в стороны вверх, как у большинства коров, а вперед вовнутрь, загибаясь ко лбу.

В середине лета начинался овод. Мухи прокусывали крепкую коровью кожу, пили кровь и откладывали яйца. Через некоторое время из яиц появлялись личинки, которые быстро росли, а в зной начинали активно двигаться под кожей, приводя коров в бешенство. Задрав вверх хвосты и выпучив глаза, они начинали хаотически бегать со страшным ревом, а потом и разбегаться в разные стороны в поисках тени и места, где можно почесать спину. Это явление называлось «зык». Справиться с ним пастуху невозможно. При малейшем признаке начала зыка стадо спешно гнали домой. Даже укрывшись от жары в сараях, коровы продолжали некоторое время буйствовать. Рвали цепи, ломали ясли, калечили себя и хозяев.

Мой отец поступал так: на вздувшееся место коровьей шкуры наставлял горлышко бутылки и резко ударял кулаком по ее дну. При этом личинка овода выдавливалась из-под кожи в бутылку. Корова, по-видимому, испытывала при этом облегчение и сносила процедуру спокойно. А я помогал отцу находить под шерстью эти вздутия.

При Сороке был куплен первый ручной сепаратор. После каждой перегонки молока, — разделения его на сливки и обрат (обезжиренное молоко), сепаратор разбирали на два десятка деталей, тщательно мыли, сушили и снова собирали. Из обраты получали творог, часть доставалась телят и поросят, сливки опускались в подвал, а через несколько дней, когда они скисали в сметану, из них сбивали масло. Для этого в доме была специальная маслобойка, — деревянная кадка литров на пятнадцать, похожая на цилиндр очень большого насоса, в котором двигался вверх-вниз деревянный поршень с отверстиями. Масло получалось, если сметану прогоняли через эти отверстия пару тысяч раз. Процесс занимал до часа времени. Маслобойку тоже каждый раз мыли и детали развешивали по забору для просушки. В сельских семьях эту работу обычно выполняли старшие дети. За право крутить сепаратор бывали даже драки.

В памяти детства остался и ласкающий ухо ежедневный вечерний звон, доносившийся из распахнутых дверей коровника. Это звенел под тугими струями молока подойник. На звук прибегала кошка с котятами. Они укладывались вокруг лежащей на земле старой алюминиевой миски и смиренно ждали порцию молока. Когда я возвращался с улицы, наловив фуражкой целую банку майских жуков для кур, я тоже получал свою долю прямо из висевшего на сучке

груши бидона, в котором мама охлаждала процеженное молоко. Бывало, что в темноте натыкался на ежика, который с завидной пунктуальностью проверял кошачью миску — а вдруг, не допили...

То утро начиналось красиво. Стадо сонно брело на восток, где уже ясно обозначилось место восхода. Лог был залит таким плотным туманом, что казался белой молочной рекой. Входящие в него коровы исчезали по частям. Сначала пропадали из виду ноги, потом постепенно туловище, хвост и рога.

Но когда мы с Мишкой сами окунулись в туман, впечатление было такое, что попали мы в холодильник. Одежда сразу намокла и прилипла к телу, но, главное, что не было видно коров. Правда, вскоре они сами дали о себе знать громким хрустом кукурузных стеблей и початков.

До сих пор живо во мне ощущение полной безысходности, которое я тогда испытал, бегая с диким криком по мокрой от росы двухметровой кукурузе, стегая палкой налево и направо по спинам коров, которые не реагировали ни на крик, ни на палку, пока не наелись от пуза.

Тут было сразу два опасных момента: потрава колхозных посевов, за которую могли наложить большой штраф, а еще страшнее — «обдutie» и массовый падеж скота при переедании мокрой зелени. За это родители не смогли бы расплатиться никогда.

Солнце стало пригревать. Туман рассеялся. Стадо мы выптали на открытое место и положили. Опытные пастухи знают, что для этого надо корову-вожака обогнать два раза вокруг стада. После этого отдышались, отжали одежду, вместе с обувью разложили ее на припеке сушить и развернули завтраки.

Слава богу, все обошлось. Никто ничего не заметил, обдутых коров не оказалось. Но после такого испытания я стал твердо настаивать, чтобы годовалую телку Милку родители сдали. Зачем такая мука и такой риск?

Той же осенью ее отвели в заготконтору. Мать, сопровождая процессию с хворостиной, проплакала все десять километров. И рассказывала потом она об этом всем, поминутно вытирая платком мокрые глаза. Говорила, что и у Милки тоже всю дорогу текли слезы.

— Скотина, а все понимала...

Хаты

Когда отец вернулся с войны, мама уже сумела сама построить хату. Как можно было на сплошном пепелище, оставшемся после танкового сражения, голыми руками решиться строить дом — для меня до сих пор остается загадкой. Самое удивительное, что почти все женщины-солдатки к концу войны тоже построились. На краю хутора даже образовалась новая улица Столбянка, названная так по способу строительства. Из столбиков, оклинцованных и обмазанных с двух сторон глиной, делались стены хат и даже потолки. Стояли они — « типовые » хаты ровным рядом, все, как одна, крытые ржаной соломой, залитой сверху раствором мела с глиной, с аккуратно подрезанной остро наточенным обломком косы стрехой.

Внутри все тоже было одинаковым. Кухня с русской печью в левом от входа углу, и плитой (грубкой), разделявшей хату пополам. Духовка выходила

в зал на два окошка. Хотя оконных рам для хаты требовалось немного, хлопот тогда с их изготовлением хватало. Всех известных в округе столяров забрала война. Случайно, в поисках работы на хуторе оказался один старичок из-под Корочи. У них деревни пострадали значительно меньше наших, и работы там для него не было. Несмотря на то, что столярничал он примитивным инструментом, и использовал бросовый материал, почти все рамы и двери на хуторе, сделанные его руками, служат по сей день.

За стеклами для нашего дома моя тетя вместе с одной дальней родственницей на товарных поездах ездили аж в Харьков. Им дали смерки, деньги и сундучок для стекол, поручили также купить две тетради для моей старшей сестры, которая пошла в первый класс.

Жулья в Харькове тогда было не меньше, чем теперь. В трамвае ехали стоя, плотно лицом к лицу, так как по слухам, тем, кто глазеет по сторонам, воры карманники резали бритвами лица. Стекла купить они сумели, правда, сундучок, который и без стекол был тяжелым, поднять не смогли. Волоком тащили до вокзала, потом толкались в товарняках, но все стекла довезли целыми. А вот тетрадки у них «урки» срезали вместе с карманами. Видно по ошибке приняли их за деньги.

Известно, что хата с окнами, но без печи — еще не хата. Для печей нужен был кирпич. Добывали его — где придется. Собирали по огородам разбросанные снарядами обломки от довоенных построек, носили с железной дороги, где на разъезде немцы разбомбили казарму, возили на коровах из дальних сел бывший церковный кирпич.

Печника своего не было. Ходили разговоры, что есть где-то печник и скоро должен появиться на хуторе, но он все не шел. Тогда мать взяла пучок хворостин, пошла к единственной уцелевшей на хуторе печи, сняла с нее мерки и сама взялась за кладку.

Еще не успела выложить свою печь, как выстроилась очередь. Так что добрая половина хуторских печей — работа моей мамы.

Пол у всех был земляной, смазанный свежим коровяком с цветной глиной.

Строились еще и сени, но не «кленовые — решетчатые», а совсем маленькие, с одним окошком. Поэтому звались они не «сени», а «сенцы». Из них можно было при желании попасть на затянутае пыльной паутиной помещение под крышей, где, по преданию, жил домовый.

Недавно мне пришлось разбирать один из таких домов. Больше всего удивляли гвозди. Почти все они были самодельными, всевозможных форм и размеров. Мелкие, для крепления хворостяной дранки, были нарублены из проволоки; более крупные для крепления жердей и лат, напоминающие своей формой подковные, по-видимому, сработал кузнец. Стропила и балки (матицы) скреплялись железнодорожными костылями.

С поистине солдатской смекалкой использовали женщины в хозяйстве военные трофеи. Почти в каждом дворе от калитки до крыльца была проложена дорожка из танковой гусеницы, а само крыльцо представляло собой башенный люк. Для печных загнеток использовали люк водителя. Курятники были покрыты алюминиевыми плоскостями от самолетов, даже бальзамины и герани на подоконниках росли в коротких гильзах от снарядов.

В то время на прохоровских полях металла было предостаточно, но ведь дома-то строили деревянные. Добыть несколько крепких бревен для хаты можно было только в лесу. Однажды зимней ночью мама с соседкой пошли в лес на добычу «стройматериалов». Ушли далеко, чтобы лесничий, обнаружив следы порубки, искал злоумышленника не на хуторе. Выбрали в логу два дубка, спилили, обрубили сучья и попробовали тащить. Снег был глубокий, а подъем крутой. С превеликим трудом, по очереди, вынесли они оба бревна на опушку леса и на них же присели перевести дух. Неожиданно соседка спросила: «Как ты думаешь, если наши мужики вернуться с фронта живыми, будут они нас как до войны бить, гонять, матом "крестить"?»

— В моей голове, — говорила мать, — сразу замелькали страшные эпизоды войны: бомбежки, голод, холод, издевательства немцев. Я тогда и мысли не допускала, что после всего пережитого у кого-то рука поднимется или язык повернется. И пока я соображала, что сказать, соседка тяжело ответила, как обречла: «Бу-у-у-дут...»

Эти женщины до самой смерти помнили и могли рассказать с мельчайшими подробностями историю каждой жерди, стропила. Так трудно они им давались. Рядом с хутором было небольшое урочище Плотавец, проще, Плотавинка. От него буквально не осталось ни куста, ни деревца — только пеньки. Но они дали поросль. Она поднималась у меня на глазах, можно сказать, что росли мы вместе. Только у меня теперь лысина, а там шумит могучий дубовый лес.

Недавно одна из женщин, умирая, поведала мне связанную с тем временем тайну. Постигло ее великое горе. У нее четверо детей, а она заболела. И надеяться можно было только на Бога. Послал Он ей сон, в котором велел сделать доброе дело для чужого человека и чтобы об этом никто не узнал. Тогда как раз случился пожар. У одной вдовы сгорела хата.

— Надо, — решила женщина, — помочь погорелице.

Встала она ночью, взяла топор, пилу и пошла в дальний лес. Спилила там дерево такое, что едва можно было тащить. К рассвету приволокла его на погорелый двор. Беременная. А болезнь ушла.

Церкви тогда стояли без пения, но, видно, сильна была ее одинокая молитва...

Бабушка Федора

Не знаю, сколько церквей было в Прохоровском районе в послевоенное время. Да и были ли они вообще? В детстве, в юности я ни одной не видел. Между тем, всех, рожденных на хуторе, своевременно здесь же крестили, покойников отпевали. Все обряды по православным канонам вершила бабушка-Федора, по прозвищу «Богомолка». Она крестила моих дочерей, меня не раз приглашала в качестве крестного отца.

Однажды на хутор заехал священник. Поскольку в православии нет женского священства, я поинтересовался у него: являются ли федорины обряды действительными? После того, как священник уточнил все подробности, ответил утвердительно:

— В данном случае, являются...

А подробности жизни бабушки Федоры таковы. Родилась она в 1894 году в семье крестьянина Кривчикова Николая Трофимовича четвертым ребенком. До нее родились Павел, Тимофей и Прасковья, а младшего звали Иваном. В юности ей повезло: в 1917-м засватал ее Чурсин Фрол Леонтьевич из Прохоровки.

Федора попала в очень крепкую Прохоровскую семью. У ее мужа Фрола было два брата: Михаил и Алексей, сестры Мария и Анна и мать Елена. Семья имела несколько лошадей и занималась извозом. У них была даже крытая повозка — фаэтон, на которой со танции развозили по дальним селам, и даже в Корочу, прибывающих на поезде пассажиров. На второй день после свадьбы Федора встала раньше мужа и братьев, накормила, напоила вороных коней, привела в порядок упряжь, а самым удивительным было то, как она, баба, относилась к лошадям и лошади к ней. У нас было принято, что кони — это удел мужиков.

По праздничным дням Федора на паре лошадей в фаэтоне приезжала к родственникам в Сторожевое и в Малояблоново. Привозила подарки всем и своей крестнице Соне.

В том же самом фаэтоне везла Федора невесту для возвратившегося из плена брата Ивана. Свадьба была в мясоед. Всю ночь перед венчанием валил снег, утром мело. Невеста Марфа Титовна жила в Жимолостном, а церковный приход жениха был в Малояблоново. Когда мужики, проснувшись, выглянули на улицу, то решили свадьбу отложить, но оказалось, что Федора лошадей уже запрягла и ждет. Когда подъехали к дому невесты, увидели, что он полностью занесен снегом. Сваты посчитали, что в такую пропасть никто не придет, поэтому спали. Невесту пришлось откапывать самим. По сугробам с трудом добрались в Малояблоново. К свадебному столу в Сторожевое приехали, когда уже стемнело.

Несмотря на голодное время, по рюмочке водки гостям поднесли. Присутствовал на торжестве и приглашенный фокусник. Сначала он насыпал Федоре в подол горсть золотых пятирублевых монет, которые таинственным образом тут же исчезли, а потом попросил часы у моего деда Павла, на глазах у всех покроявил их молотком, но потом вернул в целости.

В 1930 году началась коллективизация. Брат Федоры Иванок вовремя отдал колхозу двух коров и конную крупорушку, от которой он имел хороший доход и безбедную жизнь. Это спасло его от раскулачивания. А федорина семья в колхоз идти отказалась. В 1932 году к ним пришли представители власти и потребовали в двухдневный срок уплатить налог. Сумму указали невозможную. За неуплату забрали Федору и мужа в милицию. По ночам сердобольные милиционеры отпускали Федору домой. Она успевала топить печь, варить детям суп, а к утру возвращалась в камеру.

В декабре 1932 года их раскулачили. Конвой усадил семью Фрола на сани, и по морозцу повезли. Ни теплых вещей, ни продуктов с собой не дали. Эшелон столыпинских вагонов для кулаков отправлялся в Карело-Финскую республику. У Фрола и Федоры к тому времени было четверо детей: всех разместили в бараках. Взрослые работали на лесоповале. Женщины наравне с мужчинами. Потом перевели в рыболовецкий колхоз, стало лучше с питанием. Письма отправлять и получать не запрещалось.

В семье брата Павла появилась традиция. Ежегодно на Пасху семья

собиралась за столом, и все вместе сочиняли для Федоры письмо, дабы не упустить каких-либо подробностей. В другое время письма тоже отправляли, но на Пасху обязательно. Ответ приходил не раньше Троицы, где Федора писала, что снег у них стоял еще не весь...

За годы ссылки у Федоры умерли от голода маленькая дочь, муж, свекровь. Старший сын, Николай, погиб на войне. В 1944-м с двумя оставшимися в живых детьми, Дусей и Митей, Федора решила возвратиться домой. В путь пустились нелегально, не имея ни денег, ни продуктов. Как они добирались, сколько были в дороге, чем питались, не знаю, только однажды ночью постучались в дом сестры Прасковьи на станции Гостищево. А уже на следующий день, оставив утомившихся в дороге детей у сестры, поехали с племянницей в Сторожевое.

К дому подошли вечером, люди еще работали, кто в огороде, кто по хозяйству. Племянница Рая, любительница шуток и розыгрышей, подошла к моему деду Павлу Николаевичу и спросила:

— Не пустите на ночлег эту девочку?, — и указала на Федору.

Дед действительно увидел худенькую девочку лет четырнадцати, как ему в сумерках показалось. Родной сестры он в ней не узнал. В то время народу по нашим местам бродило много. Кто возвращался из эвакуации, кто искал родных, кто просто странствовал, не имея пристанища.

— Переночевать-то можно, солома есть, и уголок в хате найдется, да вот только с питанием у нас плохо, — сказал он. Может быть, ты пройдешься по хутору, пока не стемнело, — обратился дед к молчавшей до этого Федоре, — соберешь милостыню, да и мы что-то добавим. Вот и поужинаешь.

Тут нервы гости не выдержали.

— Братка, — это же я, сестра твоя, — Федора, — проговорила она сквозь подступивший к горлу ком, — и бросилась со слезами брату на грудь.

Слез было много, разговоров еще больше. Не виделись они к тому времени уже 11 лет.

С этого дня в дедовом полуразрушенном доме поселилась еще одна, уже пятая по счету фамилия — Чурсины. Жили там и предки мои — дед Павел Николаевич с бабушкой Василисой Ивановной, трое их детей, зятя, невестки, трое внуков, приблудившийся старик со странной фамилией — Черный, итого шестнадцать душ в одной комнате и кухне.

Федора прославилась на хуторе тем, что умела все. Лечила панариций (внутренний нарыв пальца руки, в народе именуемый «волос»), причем безоперационно. У детей вычитывала испуг. По форме живота у беременной могла безошибочно определить пол ребенка. К ней вели заболевшую скотину.

В трудное послевоенное время, когда еще в хлеб добавляли лебеду, когда негде было жить и не во что одеться, только глядя на Федору, вспоминали люди о Боге. Она сумела убедить хуторян огородить кладбище, где по заросшим могилам пасся скот. Не стеснялась пристыдить тех, кто не ухаживал за могилами предков. Ни один человек не смел при ней сквернословить.

Знала Федора старославянский язык, свободно и с пониманием читала псалтырь. Знала наизусть все христианские молитвы и церковные песнопения. Святила воду. По библии предсказывала будущее. Поддерживала связь с каким-то монастырем на Украине, к ней постоянно приезжали монахи.

Заставленный иконами святой угол ее хаты напоминал церковный алтарь,

там почти всегда горела лампада. Когда монастырь во времена Хрущева закрыли, к ней привезли три сундука старинных церковных книг. Потом эти книги вместе с иконами монахини куда-то увезли. Мне от бабушки Федоры досталась только одна пропитанная копотью церковных свечей книга, с которой она не расставалась всю жизнь и даже пронесла с собой через сылку: это «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа» на славянском и русском языках, напечатанный в синодальной типографии Петрограда в 1915 году.

Благодаря феноменальной памяти, помнила Федора Николаевна всех наших предков с момента переселения их из-под Тулы во времена царствования Алексея Михайловича. Будучи студентом, я на каникулах купил общую тетрадь в девяносто шесть листов, озаглавил «История рода Кривчиковых» и даже написал по памяти два предложения: «Когда боярские дети братья Кривчиковы впервые прибыли в указанное место, будущее село Малояблоново, то увидели большой яр, по краю которого росли громадные дикие груши, а в их кронах — гнезда орлов. Сами же птицы грациозно парили над яром».

Тогда мне казалось, что впереди еще уйма времени, и когда-нибудь, когда совсем нечего будет делать, я пойду к бабушке и все запишу.

Теперь об этом можно только сожалеть...

Место моего рождения по паспорту — хутор Сторожевое, что соответствует действительности. Это место я могу указать с точностью до квадратного метра. Родился я в апреле 1947 года в крестьянской хате. Из утробы матери приняла меня бабушка Федора, она же и завязала пуповину.

Любовь

Две старухи без зубов
Говорили про любовь...

Рассказывала мне Варвара Тимофеевна про любовь с первого взгляда.

После войны в лесхозе работала Озерова Маруся. Потом она уехала в Харьков. Квартиру там сняла, на работу устроилась. Работает, работает, а домой не едет — все дела, дела, в выходные постирать надо... А мать ее — Настя — жила на хуторе в Сторожевом — стала сердчать. Что ж такое, уехала и нос не кажет! Огород надо полоть, то, се. Приехала бы, да и помогла. Хоть бы не обещала, а то: буду приезжать, буду помогать... Только письмо прислала — как ты мама там живешь? И все.

Сама огород прополола, выбелила хату, все перестирала, полный порядок навела и думает: «Дай-ка я напишу ей письмо, что так заболела, что конец света мне, что, может, меня живой уже не захватишь. Хочу, мол, тебя в последний раз повидать».

И накатала такое письмо... Примчалась Маруся поездом, со станции — тогда она называлась Куски — бегом. Прибежала и видит, что кругом полный порядок, все чисто, подметено. Заходит в хату, там зем (земляной пол — *авт.*) подмазана, уголки подведены охрою, наволочки на подушках постираны, отглажены, все красиво убрано, по-хозяйски. А мамы нету. «Наверно, — думает

Маруся, — соседи постарались к похоронам, помогли. А мать уже схоронили». Выскочила на двор, стоит сама не своя. Глядь, а мать с огорода с тяпкой идет.

— Мам?! — обомлела, — да что ж ты меня так напугала!

— Как же тебя не пугать, когда ты глаз не показываешь, не едешь к матери. Приехала бы, о себе рассказала, у меня бы расспросила, как я тут.

— Да я только устроилась, только работать начала, сама еще ничего не поняла, а тебе уже расскажи. Тебе любопытство, а я бегом бежала, сердце останавливалось, разве так можно?

— Ладно, выговаривать, садись лучше есть.

— Да я так настрадалась, что и есть не хочу.

— Все, забудь. Я тебя увидала, ты меня тоже, значит все хорошо. У матери все поделано, отдыхай.

— Нет, мам, отдыхать нельзя, я завтра утром должна ехать, меня директор отпустил на похороны, а не на отдых.

Мать собрала продукты, яиц на дорогу сварила.

Почти всю ночь разговаривали — мать свое рассказывала, Маруся свое. Уснули под утро. Утром в поезд села. Ну, думает, сейчас яичко очищу, да съем. Только разбила яйцо, к ней парень подошел. Спрятала она это яйцо. Молодежь: неудобно при парне жевать. Сам — солдат, едет домой из армии. А она — совсем девчонка хуторская — смущается. Пересела она на другое место, он опять подошел, сел.

— Почему вы не хотите со мной побеседовать? — говорит.

— А о чем я должна с вами разговаривать?

— Да разве не о чем? Я, вот, солдат, служил, три года дома не был, мирную жизнь забыл. Мне все интересно. Что у вас нового, как вы сейчас живете?

— Я, — отвечает она резко, — вас не знаю, вы меня — тоже, нечего мне с вами разговаривать.

В Дергачах пересадка. Из пригорода тогда много возили в Харьков мяса продавать. Кто вез поросеночка, кто теленочка. В колхозах денег тогда не платили, а обуться-одеться всем надо, вот и возили.

При пересадке Маруся попыталась спрятаться за мешками, думала, солдат ее из виду потеряет. Нет, не потерял. «Вот, — думает, — наглый какой, куда я — туда и он».

Вагоны меняла, в другой поезд пересела. Вот наказание, что делать? Видит она, что солдат не отстанет.

А он и впрямь не унимается:

— Девушка, как вас зовут?

— Лена, — соврала она.

— А где вы живете?

Леной звали хозяйскую дочь. Маруся дала ему адрес этой Лены и даже фамилию сообщила. Под чужим именем Маруся-Лена осмелела, поговорила с солдатом, а в Харькове каждый сел на свой трамвай — и они разъехались. Как она надеялась, насовсем.

Прошла неделя. Маме Маруся написала, что доехала благополучно, если не считать, что в поезде пристал солдат, так что за всю дорогу не дал яйца съесть: голодная и приехала.

В очередной выходной Маруся у хозяйки взялась за стирку. А девка она очень видная была — волосы черные, кудрявая, стройная.

Слышит, стучит кто-то в дверь. Хозяйка вышла.

— Здесь живет такая-то?

— Здесь, — отвечает хозяйка.

— Можно ее видеть?

— Пожалуйста. Лена выйди, к тебе пришли!

Выходит Лена, на Марусю совсем не похожая — волосы светлые, рост меньше и фигура сутуловатая.

Посмотрел на нее солдат и спрашивает:

— А в вашем доме случайно другой девушки нет?

— Маруся, — зовет хозяйка, — а ну-ка выйди, покажись!

Выходит Маруся — от стирки румяная, красивая, рукава высоко завернуты, руки крепкие.

— Ну, вот, — говорит солдат, — хоть ты и схитрила, я тебя нашел.

— погоди, солдатик, — вмешалась хозяйка, — я ей тут вторая мать, если ты парень серьезный, то заходи в дом, будем разговаривать.

— А я за тем и пришел, чтобы сказать, что полюбил Марусю с первого взгляда и намерен жениться...

На другой день пишет Маруся письмо матери: «Тот солдат, что приставал в поезде, так навязался на мою душу, что хочет уже посватать. Просит, чтобы ты приехала в Харьков знакомиться с его родителями. Вот их харьковский адрес...»

Только мать прочитала письмо, приходит Шура, сестра.

— Шур, — говорит она, — Маруся пишет — с родителями знакомиться... Что делать?

— Поехали, только собраться надо, не с пустыми же руками.

Чемоданов тогда не было. Набили продуктами плетеные корзины. Все, как положено: молочка, сметанки, творогу, огурцов-помидоров, лучку-чесночку, картошки хорошо накопили. Связали корзины парами, чтобы вешать через плечо, в руки по сумке — и поехали. Приехали в Харьков и стали искать. Думали, что у первого дома спросят, где Коля Иванов живет, и им покажут. Но как бы не так. Уж вечер подошел, что делать? Не найдут — и все.

Подходит милиционер.

— Гражданочки, вы кто такие?

Долго ли, коротко ли, рассказали они ему все, он их в отделении спать уложил, а наутро все вместе поехали жениха искать.

По адресу почти сразу нашли улицу, дом.

Постучали.

Выходит парень в фартуке, глиной перемазанный, видно, что занимается ремонтом.

Милиционер спрашивает:

— Вас разыскивают эти две гражданки, вы их знаете?

Парень рот раскрыл, а Шура и говорит:

— Вы-то нас не знаете, а мы вас знаем. Есть у меня племянница Маруся, с нею в поезде солдат познакомился, потом на квартиру приезжал. Вы его, случаем, не знаете?

— Знаю, а вы, — обращается к Насте, — наверно, ее мама?

Очень Маруся была на мать похожа.

— Да, мама.

— Ну, — говорит хозяйка, — тогда пожалуйста, проходите в квартиру.

Милиционер откланялся:

— Жениха я вам, вижу, нашел, так что, гражданочки, до свидания. А вы, — говорит жениху, — потом обязательно проводите гостей к поезду и посадите, чтобы они смогли попасть домой.

И уехал.

Оказалось, что жених уже готовил к свадьбе комнату для совместного проживания с молодой женой. Разделил помещение в доме. Выломал грубку и сделал перегородку, чтобы комнаты были отдельными, и кухонька. Делал все сам. За работой печником его и застали гости.

— Ему бы погодить, — пожаловалась мать солдата, — погулял бы после службы. А он — жениться. Как увидел вашу дочь — слышать ничего не хочет. Сватовство в тот же день состоялось, стол накрыли, сватов угостили чем бог дал, посидели, все обговорили и вскорости свадьбу справили.

Так вышла Маруся замуж. Уже пятьдесят девять лет прошло с того дня, когда эта любовь с первого взгляда случилась. И тем, кто говорит, что такой любви не бывает, не верьте — бывает. И даже, пожалуй, у многих на этот случай найдется, что рассказать.

Дикие груши

В современном мире царствуют технологии: это касается даже такого древнего занятия, как садоводство. А мой дед Кривчиков Павел Николаевич, не доживший до эпохи технологий, приматывал привой к подвою пенькой да рогожей. Неудачных операций у него не было. Говорили, что рука у него легкая, а я думаю, что дело не столько в руке, сколько в любви к тому, что делаешь.

В то время дед постоянно общался с пчеловодами и садоводами-любителями, проходя пешком десятки верст в поисках редких сортов яблонь, груш, вишен. Садоводы тогда щедро делились друг с другом прививочным материалом, поэтому часть принесенных почек оставалась свободной. Ими дед прививал дикорастущие яблоньки и грушки в окрестных лесах и перелесках.

В пору моего детства по опушкам леса встречались уже взрослые деревья, у которых одна половина веток была дичкой, а на второй зрели настоящие садовые груши или яблоки. Уже тогда мальчишки обклевывали их, как птицы. До войны садов на хуторе было не так уж много, но немцы вырубili и их. Им нужен был обзор вокруг домов.

Так что нам, послевоенным хуторским ребятишкам, повезло, — мы могли вволю лакомиться грушами и яблоками в лесу, а вот в тех селах, где близко лесов не было, дети в то голодное время и дикого яблока не ели.

Однажды лесничий застиг таких вот мальчишек за сбором груш и повел их к нам, чтобы на хуторе составить протокол. Ребята не растерялись, бросили груши и разбежались в разные стороны. Раздосадованный дядя Коля выпил предложенный отцом стакан и уехал, а наша мама схватилась за голову.

Это какое сердце надо иметь, — сокрушалась она, — чтобы у голодных детей отнимать!

Через соседей она выяснила, что ребята эти из Правороти, до которой около шести километров, почти все они — дети солдатских вдов. В тот же день маме удалось через пастухов передать в Правороть, чтобы пришли за грушами.

В прошлом году ехал я на своем «Москвиче» из Беленихино полевой дорогой и настиг незнакомую женщину, нагруженную тяжелыми сумками. Дорогой она рассказала, что живет в Белгороде, а недавно они купили в Виноградовке дом с усадьбой. По рассказу я понял, что она теперь соседка бывшего нашего лесничего. И действительно, когда мы подъехали, то на противоположной стороне улицы на большом бревне в тени под раkitой сидел дядя Коля, — седой старик лет восьмидесяти. Я поздоровался и сел рядом.

Он меня узнал, обрадовался, расспросил об отце, вспомнил молодые годы, прослезился.

Когда я, отжавшись, наконец спросил его, помнит ли он тех ребятшек с грушами, то он, сразу поняв, о чем речь, с укором сказал:

— Милый, ты же знаешь, как все было строго: у меня был план, а план — это закон. По плану я должен был собрать столько-то груш, яблок, желудей, орехов и в том числе без трудовых затрат, — это значит отобранных у населения; должен был конфисковать у браконьеров столько-то пил, топоров. Я тогда вынужден был ходить по деревне и выпрашивать у людей негодные ржавые инструменты, точить вручную на камне топоры, чтобы были похожи на настоящие, делать к ним топорщища и сдавать по инстанции, как отобранные...

Он помолчал минуту, потом вдруг рассмеялся и сказал:

— Эх, милый, какой случай у меня один раз был. Привозит ко мне районный начальник ревизора из области. Показывай, говорит, свое хозяйство. Оно тогда считалось одним из лучших в области. Три дня ревизор меня мурыжил. Но в целом остался доволен. В день отъезда наш начальник мне говорит: понравились ревизору твои груши. Отбери ему мешочек самых лучших, да смотри, чтобы были все одна к одной.

А как раз перед этим я поймал трех женщин с мешками в Поповике. Помнишь, какие груши там тогда были? Ну, думаю, бабы — это же не пацаны. Что после них перебирать? Мешки были исправные, так я их вместе с грушами, не пересыпая, и отдал.... Как я тогда не полетел с работы! Оказалось, что у одной из этих женщин случилось, как теперь говорят, критические дни. Спрятать свое хозяйство ей, видно, было некуда. Она завернула его в лопухи и сунула в мешок под груши... Ох, и горя я тогда хлебнул! Это теперь смешно...

Вспоминал дядя Коля суровые службы послевоенных лет, а я вспоминал, как когда-то за моей детской спиной храпела лошадь объездчика, ноги путались в колхозном горохе, а плечи больно обжигал кнут. Но я не помню обиды на тех лесничих и объездчиков, на те «знаменитые» порядки. Все осталось в длинном ряду романтических приключений детства, без которых не о чем было бы и вспомнить.

Комод

Наше время иногда именуют эпохой потребления. Сейчас вряд ли найдется человек, который сможет перечислить все принадлежащие ему вещи. Я же застал еще то время, когда вещи в доме можно было буквально пересчитать по пальцам. Из посуды у нас было три миски алюминиевых — две больших и одна маленькая, кружка медная литровая, сковорода, три чугунок разного объема, нож, сделанный из косы, пять алюминиевых ложек.

Стояла железная кровать, на ней спали родители, — без сетки, застеленная досками, на которых лежала перина и три подушки — две больших и маленькая — «думочка». У обеденного стола в кухне стояла большая скамейка со спинкой и подлокотниками. К подлокотнику мама привязывала марлевый узелок с творогом, сыворотка из которого стекала в подставленный чугунок. Как-то мы с братом прогрызли в узелке дыру, и через нее таскали творог. За это нам влетело, но не из-за съеденного творога, а за испорченную марлю.

Поскольку мы держали корову, то была маслобойка, возле русской печи стояли два ухвата-«рогача», чапельник или «чапля» — длинная съемная ручка для сковороды, деревянная лопата, с помощью которой в печь сажался хлеб и большая кочерга. Рядом стояла деревянная лоханка — «дежа», в ней дважды в неделю мама замешивала тесто.

У отца было ружье, а у мамы — ножная швейная машинка, шить на которой я научился еще до школы. В 1947 году — в самый год моего рождения — в стране проводилась денежная реформа. Ходили слухи, что старые деньги обмениваться не будут и просто пропадут. Отец собрал все до копейки, поехал в Белгород и купил два красивых стула с высокими спинками и патефон. Патефон потом попал в клуб, да там и остался. Еще были керосиновые лампы. Их было две — десятилинейная и семилинейная. Что означали цифры, я точно не знаю, но у десятилинейной фитиль был шире, горелка и стеклянная колба — крупнее, светила она ярче, но и керосина потребляла больше. Ее зажигали по необходимости, например, когда приходили гости играть в карты. Колбы ежедневно очищали от копоти мятыми газетами, фитиль поправляли ножницами, так как середина его выгорала быстрее, и пламя из язычка превращалось в раздвоенный змеиный язык и начинало коптить. Колбы при чистке или от резкого нагрева часто бились, но они всегда были, как товар первой необходимости, в магазине «У Великого». Так, по имени заведующего Великих Степана Свиридовича, звался тогда единственный в районе хозяйственный магазин.

В святом углу висела икона Николая Чудотворца с лампадкой, а по стенам в деревянных рамах грубой работы — довоенные портреты молодых родителей, сделанные мастером фотоувеличения с дорисованными карандашом костюмами. И была красивая цветная репродукция в раме из золотого багета, где на лесной поляне гуляли Сталин и Молотов с детьми. У Васи Сталина на запястье сидела яркая бабочка, которую он внимательно рассматривал, а маленькая Светлана держала в руках сачок. Картину купили в 1949 году на «материнский капитал», который мама получила по рождению четвертого ребенка — моего брата Михаила. После XX партсъезда отец вырезал из газеты новый состав политбюро во главе с Хрущевым и наклеил его Сталину на спину. Как и у всех хуторян, на подоконниках, в коротких гильзах от снарядов цвели бальзамины. У нас этот цветок звался «каприз». Позже появились два фикуса и китайская роза.

Но самой диковинной вещью в нашем доме был красивый комод ручной работы с отделкой из резных и точеных деталей. Слово «комод» пришло к нам из Франции — там прилагательное «commode» означает — «удобный». Действительно, в сравнении с традиционными сундуками и ларцами — комод — вещь удобная. У нашего комода было 4 ящика. Два больших — там хранились от Пасхи до Пасхи нарядные, расшитые красным и черным крестиком самотканые

кружевные полотенца, которыми под праздник оборачивались висящие на стенах рамы с фотографиями и зеркало над комодом. Еще было два маленьких: там хранились документы, военные награды родителей, опасная бритва отца и всякая мелочь.

Куплен был комод еще до войны, когда наши родители только поженились, и это было их первое совместно нажитое имущество. Жили они тогда в Белгороде на частной квартире. Когда отец ушел на фронт, мама с двумя детьми уехала к своим в Сторожевое. Комод остался в доме хозяйки. Вместе с домом он пережил бомбежки, фронт, оккупацию и освобождение города и по счастливой случайности оказался цел и невредим.

И вот, зимой 1944 года мама получила от хозяйки письмо с просьбой забрать комод. А как забрать? Ни о машине, ни даже о лошади с санями мечтать не приходилось: вся техника и гужевая сила тогда были на фронте. Видя горе сестры, тетя Соня предложила привезти комод на санках. «Вдвоем — не одной, — сказала она. — Как-нибудь дотащим».

У деда Кривчикова Павла Николаевича были санки, на которые садилось на горке четверо больших парней. В Белгород доехали поездом: с трудом — платформы тогда не было — затащили в тамбур санки. Ясно было, что комод в тамбур не войдет. К вечеру сестры были у хозяйки, там переночевали, а утром вытащили по частям комод, погрузили на санки и тронулись в путь. День был погожий, дорога укатана, и первые тридцать километров до поселка Яковлево дошли без проблем, «только столбы мелькали».

Следующие тридцать километров оказались тяжелее: по дороге прошел трактор с санями и оставил две глубоких колеи. Тренированные спортсмены-марафонцы в спортивной обуви и налегке к сороковому километру иногда падают в обморок. А сестры в телогрейках и валенках по бездорожью прошли уже пятьдесят. У них уже не слушались ноги, не поднимались руки. Наступала ночь, усиливался мороз. Ясно было уже, что домой им не попасть, ночевать в поле — верная гибель. За время войны расплодились волки и их голодные стаи рыскали даже по дворам.

При свете луны заметили они невдалеке от дороги хутор и решили идти туда. Время позднее. Собаки лают, а огонька нигде не светится. Постучали в окно крайней хаты — не открывают. Только в третьей — на стук засветился огонь и приоткрылась дверь. Женщина сказала, что впустить не может, в хате только что отелилась корова. Можно заночевать только в сенцах, на соломе. Деваться было некуда и тесно прижавшись друг к другу, обессиленные сестры мгновенно уснули.

В конце концов комод они дотащили. Тетя говорила, что последних километров она не помнит вообще. Ни как пришли, ни кто встречал, ни кто заносил комод. По рассказам узнала, что, покормив, их уложили спать и спали они целые сутки. Удивительно — не простудились, ни обморозились.

К сожалению, комод не сохранился. В нем завелся жук-точильщик. Отец пытался с ним бороться. Но все равно снова и снова на полу обнаруживалась свежая кучка древесной пыли. Комод сожгли. Почему-то мне жаль его. Старые вещи переплетают времена, они — связь времен. Кстати, и пластинки от несуществующего патефона я зачем-то храню.

Отпетая

У моего прапрадеда Трофима Яковлевича была сестра. Замуж она вышла в Тетеревино. Детей Бог не дал, и когда умер муж, старая женщина осталась одна. Ухаживать за нею там было некому, и брат привез ее на хутор. Однажды утром сестра не проснулась. Как положено, ее помыли, одели, положили на топчане, гроб сделать еще не успели. Ночью сидели у изголовья две дочери Трофима — Наталья и Ганя и невестка Февронья — жена моего прадеда Николая Трофимовича. Наталья читала псалтырь. После полуночи Февронья с Ганей решили прилечь.

А Наталья под утро слышит вдруг голос:

— Ната, ты считаешь, что я мертвая. А я проснулась уже давно, только заговорить не могла, напугать вас боялась. Слышала, как вы меня оплакивали, особенно понравилось, как Хавроша голосила.

Ну, тут уж все в доме проснулись, и хотя был небольшой переполох, но больше было радости и удивления. А умерла она только через сорок дней. Тут уже, как положено, выждали три дня и только потом похоронили.

Пчелы

У плохих людей пчелы не водятся.

Вот уж кто умел рассказать о пчелах — так это мой крестный отец, Дмитрий Павлович, которого я люблю и на которого всегда старался быть похожим. Когда я однажды попросил его вспомнить все, что у него осталось в памяти о войне, то даже этот рассказ он начал с пчел — ими и закончил.

На хуторе звали его Митяка: у всех хуторских фамилия была одна — Кривчиковы, так что прозвища были у всех. Чтобы различать Василиев, например, были придуманы Васеня, Васенок, Васик, Васяка, Васек, Василек, Васечка. И каждый из них был чем-то похож на свое имя. По крайней мере, неразберихи в именах никогда не было. И Митяку никогда не путали ни с Митей, который был ему двоюродным братом, ни с Митюком.

Впрочем, отличался он не только прозвищем. Из двенадцати родных его братьев и сестер никому, наверно, не досталось столько злоключений, сколько выпало их на долю Митяки.

Когда ему было от роду один год, он, заглядевшись на маленьких поросят, которых зимой внесли в дом и упал на них с печи.

В два года, помогая отцу сбивать рамки для ульев, проглотил гвоздь, который потом, слава Богу, благополучно вышел. Ему не исполнилось еще трех лет, когда он, уйдя вслед за старшими в лес, заблудился. Искали его весь день, а нашли только поздно вечером, стоящим под кустом. Одной рукой он держался за веточку, а во второй держал букетик цветов и улыбался. Как-то ранней весной пришел с гулянья по снегу босиком — его лапотки так завязли в грязи на проталине, что их пришлось там и оставить.

Его воспитанием больше занимался отец, поскольку мать их Василиса была вынуждена постоянно хлопотать по хозяйству. Любил отец природу, животных,

мог подражать вою волков так, что зимней ночью они начинали ему отзывать. Дети это знали. Когда однажды они собирали в лесу опенки, отец спросил: «Волка позвать?» Старшие дети в испуге закричали: «Не надо!» И только один Митяка спокойно сказал: «Позови, а то я его никогда не видел».

В голодном 33-м году, после того, как Митяка долго не давал матери работать, прося все время есть, она дала ему кусочек хлеба, налила в миску старой прогорклой патоки, а сама ушла на огород.

После такой еды страшно захотелось пить, а воды Митяка в доме не нашел. Решил сам достать воды из колодца. Сделал все грамотно: воды зачерпнул ведром не много и поднял его веревкой без особого труда. Но когда, перевалившись через сруб, попытался дотянуться до дужки, не удержался и вслед за ведром полетел в колодец. Взрослые увидели его уже стоящим посреди двора, мокрым, с разбитым лицом. Митяка сказал, что упал в колодец. Ему не поверили, но следы крови по всему углу сруба подтверждали его слова.

На другой день отец повез бедолагу в больницу. Прохоровский фельдшер Тимофей Сидорович накладывал без наркоза на рассеченный лоб четырехлетнего малыша Митяки швы. Митяка не плакал.

Митякин отец Павел Николаевич заведовал колхозной пасекой, которую довел до ста двадцати ульев. Так как помощников ему колхоз не давал, а одному человеку такая работа не по силам, то Митяка уже в десятилетнем возрасте начал всерьез помогать отцу. Июньским летом сорок первого года стояли они на кочевке в балке небольшого перелеска. После жаркого полудня пошел проливной дождь. У изгороди пасеки образовался затор из прошлогодней листвы и веток. За ним собралась вода. Когда Митяка заметил это из окна сторожки, то сразу сообразил, что, прорвав затор, вода может снести и ульи. Он разбудил отца. Ульи были тяжелые, скользкие. Надевать маски и закрывать летки было некогда. Потревоженные пчелы жалили. Отец и сын едва успели вынести ульи из опасного места на взгорок, как хлынула вода. Измокшие, уставшие и искуанные они отправились домой. У школы стояли хуторяне, слушая приехавшего верхового. Так они узнали, что началась война.

Сорок первый год был урожайным, пасека дала почти шесть тонн меда. Когда его разделили, получилось по три ведра на двор. А потом пришли немцы. Отцову пасеку в двадцать ульев разграбили, мед поели, а пчел поморозили. Митяка в ту зиму простыл, и у него началось воспаление легких. Когда немцы расквартировались, его старшая сестра решила схитрить и сказала офицеру, что в их доме находится больной туберкулезом мальчик и селиться к ним опасно.

— Это не важно, — ответил фашист, — мальчика мы застрелим...

В первую зиму войны хутор оказался во фронтовой полосе, так как соседнее село Правороть немцы не взяли. Поэтому 17 января вечером они погнали всех хуторян, а их было тогда более двухсот человек, в свой тыл. Ночевать семья остановилась в Прелестном, на Юдинке у Лазаревой Анны. Там остались до весны.

Старших детей немцы определили на работы, а двенадцатилетний Митяка с младшим братом Павликом ходил побираться по окрестным селам: Карташовке, Курлам, Прицепиловке, Ильинке, Кочетовке. Кормили всю семью. Хлеб им доставался редко. Чаще подавали горсть ячменя или овса, корень свеклы,

картофелину, морковку, в некоторых дворах не давали ничего. И хотя ребята знали наперед, где не подадут, все равно заходили.

Когда пришла весна, начали тайком ходить на хутор, доставать припрятанные там семена, вскапывать землю и сеять. Благодаря этому, хоть и прожили вторую военную зиму под немцем, уже не побирались, хоть и недоедали. Но главное — вернулись в родной дом! Вместе с семьей зимовали и спрятанные в окопе два пчелиных роя. В феврале 1943 года хутор был освобожден Красной армией. А перед началом танкового сражения под Прохоровкой на пасеке стояло уже пять ульев.

О том, что над самым хутором Сторожевым столкнутся невероятные силы войны, разумеется, никто не знал. Знали о создающихся линиях обороны, видели, что солдаты готовятся к бою — но на войне это ведь дело обычное. 11 июля 1943 года военные стали просить всех жителей срочно покинуть прифронтовую полосу и уходить на восток. А то, мол, скоро «начнется». Задержалась только мать Митяки Василиса Ивановна — солдаты с полевой кухни дали ей муки, а поскольку время было голодное, она тут же замесила тесто и растопила печь. Митяка пошел было со всеми беженцами, но матери все не было и не было и он решил возвращаться на хутор. По дорогам на запад двигались войска. Несколько раз налетали немецкие бомбардировщики. Вечером, уже на подходе к Сторожевому, Митяку задержал патруль. Сколько ни умолял Митяка пустить его к матери, дальше прохода не было. Выручил подъехавший на «Виллисе» генерал. Он посадил Митяку в машину и подвез к самому дому, предупредив, чтоб уходили по-быстрому.

Начали спешно собираться. Посадили в мешок курочек, на тачку сложили вещи. Впопыхах не заметили, что короткая летняя ночь уже сменилась рассветом, а печь еще только разгорелась.

Митяка побежал накопать молодой картошки, а мать — в погреб за тестом. В это время немецкий снаряд пробил стену дома и взорвался в печи. Соломенная крыша вместе с потолком и стропилами упала в огород, придавив Митяку. Впрочем, ему опять повезло.

Слышалась уже канонада сражения. Мать хотела подхватить котелок с тестом и бежать, но тут бойцы забрали тачку, чтобы отвезти в медсанбат раненого командира. Бежать было поздно.

В бурьяне возле дома, между кустами смородины, была отрыта глубокая щель. Узкий окоп быстро накрыли сорванной снарядом дверью, бревнами и всяким хламом. Вход закрыли крышкой от улья. В окоп успели взять кур в мешке и котелок с тестом. Сначала еще были различимы крики команд, стоны раненых, потом все переросло в сплошной адский рев. В каждую секунду рвались сотни снарядов, мин и бомб, ревели моторы танков, были самолеты, железо скрежетало о железо, заглушая пулеметную и винтовочную стрельбу. Земля в буквальном смысле слова ходила ходуном.

Хутор несколько раз переходил из рук в руки, несколько раз над ним схлестывались волны наших и немецких контратак. Поразительно, что и в этом аду куры, которых мать подкармливала тестом, неслись. Кроме яиц и теста еды в окопе не было. К утру 18 июля гул канонады стал стихать и удаляться, снаружи слышалась родная речь, поседевшие за шесть дней обитатели окопа выбрались из укрытия. От живописного еще неделю назад хутора не осталось и следа.

По проселку шли солдаты, обозы, двигалась техника. Для большинства молодых солдат это был первый освобожденный населенный пункт. На перепавшей взрывами земле, среди разбросанных останков строений, разбитой обгорелой техники и множества трупов их встречали пожилая женщина и мальчик-подросток. Кто-то из солдат постелил перед ними на земле обрывок маскировочной ткани и положил кусочек хлеба. Вскоре из продуктов выросла небольшая горка, но есть не могли. Голод почувствовали лишь через несколько дней, когда понемногу пришли в себя и привыкли не пугаться убитых.

На месте пасеки остались щепки да обломки рамок, а невдалеке на ветке смородины, в ожидании помощи, висели роем уцелевшие пчелы...

Телочка

Летом 43-го военные предупредили население хутора, что вот-вот начнутся страшные бои. Олечку уговорили вернуться в Новоселовку и увести с собой телку. Вася взялся помочь. Он повел скотинку за поводок, а Оля хворостинкой погоняла. В Новоселовке уже полно было войск. Оле с Васей они велели идти дальше. Пройдя километров десять, прибились к какому-то хутору за Подольхами. Вася пошел поискать хлеб и место для ночлега, Оля осталась на лугу выпасать скотину. И тут налетели немецкие самолеты. С первым разрывом бомбы телочка сорвалась и понеслась прочь. Оля за ней. Догнала она ее не скоро, поводка на телочке не было. В сумерках они долго бродили по логам и полям, пока девочка не нашла кусок веревки для ошейника. Напуганная бомбежкой телочка сначала не давала себя поймать, потом не хотела идти на поводке.

Хутор, в котором они расстались с Васей, был полностью сожжен. Даже спросить о нем было не у кого. Поплавав, пошла куда глаза глядят. Ночевала, прижавшись к телочке, в каком-то рву. Две недели питалась тем, что обмолачивала в подоле юбки поспевающие в полях колосья уцелевшей ржи. Зерна казались ей сладкими, как конфетки. А телочка в это время паслась. За время скитаний она успела так привязаться к девочке, что шла за ней даже без поводка.

Когда через неделю звуки боев начали стихать, войска пошли на Запад, а вслед за ними Оля. Когда достигли Прохоровки, снова попали под бомбежку, снова телка, испугавшись, сорвалась. На этот раз поймать ее помогли солдаты. Но, чем ближе к дому, тем сложнее было идти. Все поля за Прохоровкой, от Лутово до Сторожевского леса были прорезаны глубокими многокилометровыми траншеями, преодолеть которые телка не могла. Родной хутор был уже рядом, а они все бродили и бродили меж траншеями, как в лабиринте, и слезы отчаяния душили девочку. Под Сторожевым убитые лежали, как снопы, висели на кустах, на колючей проволоке.

Когда, наконец, прибыли на хутор, то на месте дома Олечка увидела огромную воронку. От хутора в сорок дворов осталось только две целых хаты и те без крыш. Потому, наверное, и не сгорели, что солому с них взрывами сбросило. Свои нашлись в чужой полуразрушенной хате «трехстенке», — четвертую стену вырвало снарядом.

Дома их уже считали пропавшими. Сколько было радости! Олечка, главная помощница в семье, жива и телочка, — будущая кормилица — тоже дома. Легли

поздно, а мама решила не спать, — сторожить телку. Когда уже стало светать, она зашла в дом погреться. Буквально через минуту кто-то из детей вышел пописать и увидел, что телки на месте нет. Тут уже все проснулись от крика матери:

— Телочку украли!

Кто-то видел, что ее увели наши бойцы, пришедшие за водой к стоявшему невдалеке колодцу. Мать знала, где лагерем в лесу стояли солдаты — и бегом туда.

— Как тебя зовут? — спросил ее бравого вида капитан.

— Александра.

— Так вот что, Шура, хватит голосить. Шкура уже в земле, а мясо в котле.

Когда гражданские власти к вам сюда вернутся, я лично распоряжусь, чтобы тебе выдали корову. Поняла? Вот и иди домой с богом.

Судьба

По телевизору шло очередное ток-шоу. Разумного вида люди горячо обсуждали вопрос: «Может ли утонуть тот, кому судьбой начертано повеситься?» Какая-то артистка пылко рассказывала, как она трижды в жизни находилась на краю гибели и осталась живой только потому, что «не судьба». Послушав, Павлик — он же Павел Павлович, начальник столярного цеха местного домостроительного комбината — телевизор выключил. Что такое Судьба, каждый мальчишка, переживший войну в наших краях, знал хорошо.

Когда летом 1942 года немцы, оставив хутор, двинулись на восток, народ обнаружил, что на большом поле, между прудом и дорогой на Правороть, поспевает озимая пшеница, посеянная колхозом еще до оккупации. Ее, конечно, надо бы убрать, но вот незадача: поле немцы заминировали. На сходе колхоза решили так: поле разделить на пай, а уж там каждый пусть убирает, как сможет.

Одиннадцатилетнему Павлику с братом Тимой выпало собирать пшеницу. Дело оказалось несложное: сначала надо найти проволочные растяжки, потом, не спеша, по растяжке не касаясь ее, дойти до мины. В каждый из двух торчащих из нее рожков — вставить по заранее припасенному гвоздю или по куску нарубленной проволоки. Теперь, если даже боек сработает, до взрывателя он не достанет. Его можно смело выкручивать, а растяжки сматывать в рулоны.

Ценными трофеями, которые, собственно говоря, и привлекали мальчишек, являлись блестящие шарики, что были внутри мин, проволока, и самое ценное — взрыватели. Их взрывали торжественно, привязав к колышку и дергая за вставленную на место проволоку.

Братья уже укладывали трофеи, когда подошел сосед по наделу Николай. Спросил, как надо разминировать. Братья были знатоками своего дела, объяснили все досконально, но тот, видимо, чего-то недопонял, и первая же мина рванула прямо у него в руках в десяти шагах от братьев.

Упали на землю, было слышно, как сыплются шарики. Потом встали, осмотрелись. Оба целы. Подошли к Николаю, — он был бледен и перепуган, но тоже цел. То, что все трое остались живы — было чудом. А делянка Николая, как и часть других, так и осталась необранной.

В войну и сразу после нее, «минерами» были все мальчики от пяти до восемнадцати лет, потому и в живых их осталось на хуторе только треть и то, — кто без пальцев, кто без рук, кто без глаз. До сих пор в памяти Павлика сохранилась страшная картина тех лет.

Солнечный день, свекловичницы привычно переругиваясь, прорывают всходы, и вдруг, в ближайшем перелеске взрыв. В небе воют осколки, а женщины, побросав тяпки, бегут наперегонки к перелеску с одной мыслью: «Чи сегодня?» А там, у воронки трое или четверо мальчиков. Старшие, как правило, наповал, а меньшие, их близко к «делу» не допускали, — чаще ранены.

В сорок третьем году, летом, перед наступлением, на хуторе стояли наши войска. Павлик с соседом Лешкой в обеденный перерыв пасли в логу своих коров. Вообще-то коровы были мобилизованы на колхозные работы, на них пахали и впрягали в телеги вместо лошадей. Пасли их до работы и после. Но Лешкина корова была стельная, приближался срок телиться и ее от работ освободили. Обед заканчивался, и Лешка начал свою корову отделять от стада. Пастухи стояли в 10 метрах от коровы, когда она наступила на противотанковую мину. На глазах Павлика корову разорвало пополам так, что передняя ее часть полетела влево, а задняя вправо. Весь черный Лешка стал подниматься с земли.

— Ребята, я живой? Не вижу ничего...

Тут было уже не до коров. Лешку взяли под руки и повели к хутору. На пути оказался военный лазарет. Один глаз спасти не удалось, другой потом немного видел.

Павлик с Женькой на этот раз отделались испугом.

А осенью — тиф. В Мартыновой хате был лазарет, туда свозили тифозных. Отец был председателем колхоза и велел Павлику со старшим братом Митей запрячь в телегу свою корову и съездить в лес за дровами для лазарета. Дров ребята привезли, но Павлик в лазарете заразился и вскоре слег.

— Это он в школу не хочет идти, — сказал Митя.

Но школа была ни при чем. В тот же день к вечеру Павлик впал в кому. Из лекарств были только парное молоко да довоенный мед, который до прихода немцев зарыли в саду и отыскивали случайно, когда стали под зиму копать огород. Медом с молоком смачивали кусочек марли и клали больному в рот. За время, пока он лежал, на кладбище появилось три десятка новых могил — тиф не знал пощады. Очнулся Павлик только через два месяца. В кухне, где стоял его топчан, никого не было, а из соседней комнаты доносился разговор. Павлик пытался звать, но от слабости голоса не было. Тогда решил идти, но тут же грохнул на пол. На шум сбежались все.

— Ты зачем упал? — спросил Митя.

— Я к вам хотел, — еле слышно прошептал Павлик.

Уже через неделю отвели Павлика в школу. Первое время он не различал надписи на доске, все сливалось. Потом стало проясняться, буквы стал видеть, учился заново говорить, писать, считать. Долго не слушалась одна нога, ходил с костыликом.

Вышел он как-то во двор полюбоваться выпавшим снегом, а сестра Нюра в этот день ездила на корове в Прохоровку за удобрениями для колхоза. Павлик слепил снежок и захотел проверить свою былую меткость. Лучшей мишени, чем

белое пятно на лбу коровы, он не нашел. Бросок оказался точным, но увернуться от коровы сил не хватило. Вмяла его корова своим рогатым лбом в сугроб, и если бы не палка в руках у Нюры, неизвестно чем бы все закончилось.

А ранней весной с другом Женькой пасли за огородами телок. Согревались «кадилом». В большой железной банке пробивали штыком частые дыры и привязывали, как ручку, кусок проволоки. В банке зажигали сухой бурьян, на который укладывали кизяк. Брали за конец проволоки и раскручивали как кадило над головой, пока она не становилась красной от жара. Ее ставили на землю и грели руки. Однажды к ним на огонек подошел сосед Илюшка, держа в руках шрапнельный снаряд. Головку со взрывателем он уже вывернул, а свинцовые шарики, — главный трофей, внутри светились, но не высыпались из-за какой-то динамитной пленки.

— Ребята, — сказал Илюшка, — дайте-ка огоньку мне эту пленку выжечь, — шарики не высыпаются...

Павлик сунул в «кадило» сухую палку, а когда она загорелась, протянул Илюшке. Только он поднес огонь к снаряду, как раздался оглушительный взрыв. Все попадали... Когда пришли в себя, начали осматриваться. Руки целы, ноги целы, голова, хоть и шумит, но на месте. У Илюшки в крови черное осмоленное лицо и та рука, в которой он держал огонь. Невдалеке валялся дымящийся снаряд. К счастью, его не разорвало, он просто выплюнул все свое содержимое, разорвав у «минера» палец, выбив глаз, и оторвав козырек с картуза.

Судьба... Можно сказать, она берегла Павлика. В 1944 году в колхоз пришли трактора, начали пахать. Мать Павлика готовила обеды, а он разносил трактористам. За колхозным садом пахал Праворотский Илюха, он был сильно близоруким — на фронт не попал. Голодный тракторист не ждал обеда и Павлику очень был рад. Не отходя от работающей машины сел, опустив ноги в борозду, и начал быстро уплетать еду. Закончив трапезу, встал и пошел к инструментальному ящику — «бардачку».

— Смотри, какая хреновина, — Илюха протянул Павлику немецкую гранату на длинной деревянной ручке. А это, интересно, что такое? — спросил он, выдергивая из нее белое колечко с красивым шнурочком.

— Бросай!!! — закричал Павлик и кинулся в борозду.

Илюха ничего не понял, но на всякий случай сунул гранату за тракторное колесо.

Взрывом разметало только стоящие за трактором ведра, да побило банки с машинным маслом. Ни тракториста, ни Павлика не поцарапало, а трактор даже не заглох.

— Это хорошо, что ты оказался, — говорил, переводя дыхание, Илюха, — а то я несколько раз сам попробовать собирался, да все некогда было. Если бы один попробовал, обед точно сэкономил бы...

Соловьи для Арины

Братскую могилу у нас на хуторе весной сорок второго вырыли немцы. Правда, не сами — пригнали военнопленных. Всю зиму с сорок первого на сорок второй год хутор находился во фронтовой полосе. Несколько раз наши солдаты пытались отбить его у немцев, но все атаки захлебывались под пулеметным огнем. А весной из снега начали вытаивать убитые бойцы, трупы животных. Ну, а самым массовым оказалось захоронение лета сорок третьего года, когда во время танкового сражения хутор переходил несколько раз из рук в руки.

Одним из первых в освобожденный хутор вернулся тогда мой дед Павел Николаевич Кривчиков. Только на его огороде лежало двадцать пять убитых. Указаний он не стал дожидаться, вырыл в конце огорода могилу, похоронил погибших, поставил столбик и прибил к нему звезду. Документы потом передал властям, но оставил себе список похороненных с домашними адресами. Через какое-то время он отправил письма родственникам всех погибших, но ответ получил только от одного бойца, который сообщил, что жив, а документы оказались в шинели, которой он укрыл раненого друга...

Стало традицией 12 июля в день святых Петра и Павла организовывать у могилы поминальный стол. Но с каждым годом земляков к столу приходит все меньше и меньше. И только соловьи продолжают ежегодно здесь гнездиться и выводить потомство. А над братской могилкой, в паузах между их трелями, звенит для меня, как бы растворенная в воздухе, известная песня Владимира Высоцкого:

На братских могилах не ставят крестов
И вдовы на них не рыдают...

И правда ведь — не было возле могилы заплаканных вдов. Это знали мы точно. Из окон дома моих родителей братская могила была видна. Каждой весной, когда расцветали подснежники, мы обязательно шли в лес, и каждый набирал по четыре букетика. Первый оставляли на гражданском кладбище, которое ближе к лесу, — раскладывая цветы на могилки родных и близких. Второй относили тем солдатам, что покоились у нас в огороде, третий — на главную братскую могилу и только четвертый несли домой маме.

Солдатских вдов только на нашем мелком хуторе оказалось семнадцать. Разные женщины, разные, иногда невероятные судьбы. Общим было лишь то, что почти все они были в свое время засватаны в окрестных селах — Правороти, Жимолостном, Красном. На хуторе им пели величальные свадебные песни, в которых обязательно называли по отчеству, после чего все хуторяне без исключения продолжали невесток только так и величать. Я тоже звал их при жизни по отчествам: Кизилова Александра Ивановна, Кизилова Фекла Сергеевна, Король Александра Ивановна, Кривчикова Александра Илларионовна, Кривчикова Евдокия Федотьевна, Кривчикова Ксения Васильевна, Кривчикова Мария Ивановна, Кривчикова Мария Петровна, Кривчикова Мария Трифоновна, Кривчикова Олимпиада Игнатьевна, Кривчикова Федора Стефановна, Смородина Федора Ивановна, Шеховцова Александра Ивановна, Шеховцова

Соломея Васильевна, Шеховцова Федора Федоровна, Шеховцова Ксения Петровна, Чернова Арина Фроловна. Четыре раза перекатывался через них фронт, жгло их и голодом и холодом, возвращались на пепелище, иногда вслед за «похоронкой» на мужа теряли последнее — детей, погибших, игравших с бомбами или со снарядами, которыми наспигована была земля после войны...

Только в семидесятые годы, когда стали приезжать на братскую могилу уже взрослые дети погибших солдат, пролились над ней первые слезы...

Вот если бы кто-нибудь освободил наших вдов от рабских колхозных работ, детей и хозяйства, они, наверняка, пошли бы пешком, за сотни километров, без средств — к родным, милым сердцу могилам и там, конечно, дали бы волю слезам...

Я не художник, но если бы меня спросили, какой памятник должен стоять на нашей братской могиле (его пока нет), я бы предложил установить обыкновенный, плохо отесанный деревянный столб, на котором должна быть подковными гвоздями прибита грубо вырубленная из развернутой гильзы от снаряда крупного калибра пятиконечная звезда. А с противоположной, западной стороны могилы должна стоять склонившаяся в рыдании вдова с держащимися за юбку детьми — символ всех женщин, не сумевших при жизни сделать то, что были обязаны «перед Богом и собою»...

В 1987 году зима была необыкновенно снежная, морозная и долгая. На Пасху, чтобы пройти к могилам, рыли в снегу траншеи, а Пасха в тот год была не ранняя. Я после долгого отсутствия в конце апреля приехал на хутор. Ярко светило солнце, блестел оплавленный снег, запахи детства — хлеба и припека — нахлынули на меня и я почувствовал вдруг необыкновенную радость от возвращения в родные места. И тут — как будто не несколько лет прошло, а только вчера я отлучился ненадолго — услышал я, как кто-то зовет меня со двора. То была Арина — солдатская вдова, вырастившая без мужа двух сыновей, Бориса и Ивана, и даже успевшая последнего похоронить.

Я остановился.

Бабушка Арина стояла на крыльце и оглядывала снега.

— Подойди, Коля, я хочу тебе что-то сказать.

Я перебрался через сугроб и лужу талой воды, протиснулся во вмерзшую в лед калитку.

— Коля, я вот что хотела у тебя спросить, — серьезно сказала Арина, — как ты думаешь, в этом году соловьи прилетят?

Я рассмеялся...

Мы поняли друг друга и обнялись.

В душе ли, в сердце ли у нее гнездились эти соловьи? И что они значили в ее жизни? Теперь никто не узнает. Но в ту весну для Арины они прилетали.

Нина Северикова

Философ в битве за Москву

Среди сотен тысяч добровольцев, объединенных желанием отстоять страну в годину великого бедствия, был Федор Игнатьевич Хасхачих, декан философского факультета МИФЛИ, затем первый декан философского факультета МГУ. В грозные для Москвы дни он возглавил в Сокольниках Первый истребительный батальон, состоявший из студентов и преподавателей Московского института философии и литературы имени Н.Г. Чернышевского (МИФЛИ), боевой задачей которых было тушение пожаров от зажигательных бомб на окружной железной дороге — особо охраняемом участке столицы.

В его личном деле есть запись, датированная 1940 годом, о предоставленной ему отсрочке «от призыва в военное время до особого распоряжения», однако ученый отказался от этой возможности. Да и позже, в 1942 году, когда был введен в действие Указ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина о возвращении с фронтов людей, имеющих ученую степень, для продолжения научной и преподавательской деятельности, Ф.И. Хасхачих, которому предлагали в Москве ответственную должность, твердо ответил: «Пока моя Родина в опасности, мое место на фронте, я не имею права покинуть своих боевых друзей». В то время он был уже известным ученым: его книга «Курс диалектического и исторического материализма», изданная еще в 1940 году, пользовалась большим спросом среди студентов и преподавателей общественных наук.

Некоторые ценные факты биографии ученого удалось восполнить благодаря рассказам дочери философа-воина Леры Федоровны о своем отце. Федор Игнатьевич Хасхачих родился 21 марта 1907 года в Приазовье — в селе Чермалык Мариупольского уезда (ныне Приморский район Донецкой области). Семья греческого переселенца крестьянина-бедняка была многодетной, и после смерти кормильца двенадцатилетнему Федору пришлось не только ходить за плугом и выполнять разную крестьянскую работу, но и нянчить младших братьев и сестер.

С ранних лет, отличаясь особой любознательностью, он пристрастился к чтению. Мать, Мария Евстафиевна, учила своих детей любить людей и дорожить их дружбой, прививала высокие нравственные качества, но в школу Федор Хасхачих пошел только после Гражданской войны — и сразу в пятый класс. Учителя вспоминают, что умный, пытливый ученик выделялся из

одноклассников своей начитанностью, серьезным отношением к учебе, самостоятельностью в суждениях и огромным интересом к истории, литературе и поэзии.

Семилетку он закончил в 1924 году и поступил на второй курс Мариупольского педагогического техникума; затем юношу направили в Москву для получения высшего образования. Будучи студентом факультета советского права Московского государственного университета и приезжая на каникулы в родное село, он выступал перед земляками с лекциями и докладами, разъясняя политику Советского государства: только объединенными усилиями беднота может выбиться из состояния нищеты и упадка. Вместе со своим братом Дмитрием (впоследствии замученным в застенках гестапо) явился организатором первой в области сельскохозяйственной артели под названием «Начало». Сохранился протокол № 1 Организационного собрания крестьян села Чемарлык: Ф.И. Хасхачих сделал доклад о политике партии в области коллективизации, а его старшего брата избрали тогда председателем артели. Впоследствии эта артель выросла в один из крупнейших передовых колхозов Украины — «Гигант».

Одновременно с учебой в МГУ Ф.И. Хасхачих вел занятия по диалектическому материализму в Техникуме изобразительных искусств и Механико-машиностроительном институте имени Н.Э. Баумана. После окончания МГУ в 1931 году он был направлен на работу в Ростов-на-Дону. Молодой ученый возглавил кафедру диалектического и исторического материализма в университете, а позже — в Новочеркасском политехническом институте и в Институте зерна. В 1937 году он успешно закончил аспирантуру философского факультета в Москве и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Познаваемость мира и его закономерности». К своим тридцати годам он стал уже признанным специалистом в области теории познания, ведущим лектором Института Красной профессуры и Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б); он читал также курс диалектического и исторического материализма студентам Московского университета; в 1938 году он был назначен деканом философского факультета МИФЛИ.

Основной научный интерес ученого сосредотачивался на проблеме теории познания. На эту тему он пишет докторскую диссертацию, защитить которую помешала Великая Отечественная. Подготовленные к изданию рукописи книг Федора Игнатьевича были опубликованы уже после войны. Ценность его философских работ неоспорима: с 1946 года они издавались во многих странах Европы, переведены на 28 языков мира и стали достойным памятником выдающемуся ученому, отдавшему жизнь в борьбе против фашизма. А на философском факультете МГУ они использовались в те годы в качестве учебных пособий.

Федор Игнатьевич, человек в высшей степени скромный и чуткий, пользовался в коллективе огромным авторитетом и любовью. Недаром трудящиеся Сокольнического района Москвы избрали его депутатом в районный Совет. Он отдавал немало сил улучшению условий жизни рабочих, многодетных семей, заботился о летнем отдыхе детей; встречался с избирателями. В самом начале войны, будучи ополченцем, он продолжал выполнять возложенные на него депутатские обязанности: прежде всего заботился о своевременной эвакуации из Москвы малолетних детей. А осенью 1941 года истребительный батальон под его

руководством влился в регулярную армию и участвовал в боях в московской зоне обороны.

В начале 1942 соединение войск, в котором служил Ф.И. Хасхачих, было направлено на Калининский фронт под Ржев. В тяжелые дни боев на Ржевском плацдарме он проявил себя как отважный воин. За короткое время прошел путь от рядового солдата до майора: его ценили за высокие качества политработника и волевого офицера Красной армии, обладавшего навыками не только убеждать, но и умело командовать.

Вот лишь один из военных эпизодов. В февральских боях 1942 года 158-я стрелковая дивизия, частью которой стал истребительный батальон Ф.И. Хасхачих, прямо с марша предприняла наступление на мощно укрепленный пункт врага — Холмец. В ожесточенных боях погибли один за другим командир и комиссар 875-го полка, смертельно был ранен начальник штаба. Однако полк продолжал сражаться, получая приказы политработника Ф.И. Хасхачих, взявшего командование полком на себя. Это никого не удивляло: его мужество и умение воевать ценили не только студенты-мифлийцы, сражавшиеся рядом со своим деканом, но и другие бойцы, безгранично веря ему и беспрекословно выполняя его распоряжения.

Дивизионная газета «За Родину» неоднократно отмечала бесстрашие и храбрость воина-ученого, который уже после первых боев в числе немногих политработников дивизии был награжден боевой медалью «За отвагу». Вскоре он стал известен как один из лучших пропагандистов 39-й армии. Он вел огромную агитационную, политическую и воспитательную работу среди личного состава объединения: выступал с докладами о положении на фронтах Великой Отечественной войны, о фашистских зверствах и реакционной природе фашизма. В землянках и окопах, в строю и на привале разъяснял смысл и цели борьбы против гитлеровцев, вселяя уверенность в победу, поднимая моральный дух бойцов; ходил в атаку вместе с ними — тяготы фронтовой жизни были общими.

В дни тяжелых боев он поддерживал своих товарищей. Вот строки из письма Федора Игнатьевича, адресованные раненному бойцу: «Кровь, пролитая вами и нашими товарищами, не пройдет даром. Поле победы жизнь будет еще лучше и прекрасней». Самому Ф.И. Хасхачих не довелось дожить до этих дней, он погиб на боевом посту — на передовой, выступая перед бойцами с докладом о 25-й годовщине Великой Октябрьской революции. Вражеский снаряд оборвал жизнь талантливого ученого и выдающегося пропагандиста.

Память о Федоре Игнатьевиче Хасхачих увековечена на мемориальной доске «Вечной славы» философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, где первым значится его имя.

Ольга Балла

Опровергая иллюзию смерти

Евгений Водолазкин. Лавр: Неисторический роман. — М.: Астрель, 2013.

Одно только непонятно: с чего вдруг читатели «Лавра» решили, что этот текст — «постмодернистский»?

Второй, после «Соловьёва и Ларионова», роман Евгения Водолазкина, конечно, — отчетливо и открыто ироничный (чего не отменяют ни серьезность иных эпизодов, ни их трагичность, ни часто сопутствующая тому и другому подробная — иногда до мучительного, натуралистичность и физиологичность). Называя его «постмодернистским»¹ (а это — одно из самых частых обозначений «Лавра» в сетевых откликах на него), многие, скорее всего, имели в виду именно это — забывая, вероятно, о том, что ирония была важнейшим интеллектуальным инструментом еще для иенских романтиков, которых, в свою очередь, не упрекнешь ни в каком «постмодернизме» — простецки понятом как, например, безразборный эклектизм и признание всех ценностей условными, относительными, а стало быть, и не слишком значимыми. И у Водолазкина она — отнюдь не ерническая и уж никак не пустопорожная, а та самая, шлегелевская, которая содержит в себе и «вызывает в нас чувство невозможности и необходимости всей полноты высказывания»². Одновременно, заметим: невозможности и необходимости.

Когда это, собственно, взаимоотношения человека с Богом — будучи приняты совсем всерьез — характеризовались чем-то иным, нежели это неустранимо-напряженное сочетание невозможности и необходимости?

На некоторые вещи, то есть — и главные, коренные вещи жизни как раз таковы — как на солнце, прямо, не рискуя выжечь себе глаза, не взглянешь — просто уже потому, что такова человеческая размерность и человеческая оптика. Иными словами, как только пытаешься говорить о них прямо и с пафосом, — можешь быть уверен, что в качестве неподконтрольного нам защитного механизма включится фальшь и окажется, что говоришь ты в результате совсем не то и не так, как собирался. Да и слушать тебя никому особенно не хочется. Между тем, что касается «Лавра», то один из его рецензентов, Павел Басинский, кажется, совершенно прав: этот текст — именно благодаря своей иронии и игре — счастливо избавлен от фальшивых интонаций³. Это — тот самый (и такой ли уж парадоксальный?) случай, когда уклончивость оказывается прямым условием точности и честности.

Затем и нужна сложная система зеркал, ирония и игра, чтобы главное в этих зеркалах отразилось и мигнуло нам тем лучом, который мы способны вместить.

При всей своей ироничности (при ее, так сказать, действенной помощи) «Лавр» — роман с жесткой вертикалью. Он — даже, рискну утверждать, проповеднический — хотя очень осторожно, деликатно, так сказать, в лайт-версии: хорошо зная своих современников, Водолазкин отдает себе отчет и в том, что прямая проповедь, как слишком обязывающая, с высокой вероятностью не будет услышана. От нее станут защищаться.

Смешение, в непредсказуемом порядке и в произвольных объемах, разных языковых, стилистических, а с ними и временных пластов, о которых каждый, заговаривающий об этом тексте, упоминает практически неизбежно и которое кажется верным, вернее некуда, свидетельством «постмодернистичности» текста — разумеется, одно из прямейших, едва ли не в лоб, указаний на то, что время — иллюзия (в конце концов, можно утверждать даже то, что такое указание — весь роман в целом). Впрочем, иной раз — для тех, кто уж совсем не понял — автор (пусть и устами своих персонажей) говорит о том же самом попросту открытым текстом.

«Святые вроде бы не двигались и даже не говорили, — рассказывает он о посещениях своими героями, по пути в Иерусалим, подземелий Киево-Печерской лавры, — но молчание и неподвижность умерших были не безусловны. Там, под землей, происходило не вполне обычное движение и раздавались особого рода голоса, не нарушавшие строгости и покоя. Святые говорили словами псалмов и строками из своих житий, памятных Арсению с детства. Тени от подносимых свечей перемещались по высохшим лицам и полусогнутым коричневым кистям. Казалось, что святые приподнимали головы, улыбались и едва заметно манили руками.

Город святых, прошептал Амброджо, следя за игрой теней. Они представляют нам иллюзию жизни.

Нет, также шепотом возразил Арсений. Они опровергают иллюзию смерти.»⁴

Иллюзорность времени и создаваемых им условностей, все эти пластиковые бутылки под тающим снегом XV века и цитатки из Сент-Экзюпери (мы-де в ответе за тех, кого приручили) в устах людей того времени имеют смысл исключительно в качестве указателей на существование неиллюзорного и безусловного.

Есть, правда, одна существенная проблема. Она — в том, что движется главный герой — с того самого момента, как он вообще начинает куда-то, от своих исходных заданностей, двигаться — вовсе не к Богу во всей полноте Его христианского понимания. Он преследует собственные цели (одну, но всепоглощающую цель). И это — отнюдь не соединение с Богом, не — родственное ему, в конечном счете — делание людям добра, понятое как служение Ему же, и не выполнение того, что мы, нынешним, поздним, вырожденным языком, назвали бы «выполнением собственного предназначения» (дар целительства Арсений нашел в себе готовым и, как мог, осваивал, необходимые умения и знания получил в детстве от деда, ничего не выбирая — и пользовался всем этим по мере разума и случавшейся необходимости, а вовсе не делал из этого жизненной программы — не говоря уже о том, что был в его жизни целый большой период — описанный в главе «Книга отречения» — когда он юродствовал и никаким лечением вообще не занимался). То есть вполне можно сказать, что целительство, принесшее главному герою славу и святость, для него не было

главным и не составляло его задачи — не более, в конце концов, чем то же юродство или смертельно опасное в ту пору паломничество в Иерусалим. Оно было — и догадавшийся в конце концов о проницаемости и условности всех времен Арсений не считал бы такого словоупотребления анахронизмом — по сути глубоко инструментально.

Достижимое на протяжении всей книги состояние Арсения-Амвросия-Лавра — это состояние невольной, ненамеренной святости. Даже такой, которая достигается едва ли не вопреки собственным намерениям ее, так сказать, носителя (в конце жизни схимонах Лавр прямо-таки отказывался от признания какой бы то ни было своей ценности, завещая не хоронить его по-человечески, а отволочь за ноги и бросить «на растерзание зверям и гадам»⁵. Впрочем, такое как раз в манеру поведения святых, считавших себя великими грешниками, вполне вписывается). Но скажу еще резче: Бог как Таковой, Сам по Себе и взаимоотношения с Ним его в принципе очень мало занимают. Если вообще.

Единственная, всепоглощающая задача Арсения, ставшего исключительно ради этой задачи вначале, в юродстве, по имени погубленной им любимой женщины — Устином, в монашестве, в память о своем погибшем друге — Амвросием, в схиме, уже по внеличным обстоятельствам, — Лавром — отомстить у Бога душу той, которая умерла в родах по его вине, и душу их мертворожденного и оставшегося некрещенным сына. Все, больше ничего⁶. (Именно с умершей Устиной, а вовсе не с другим, по идее — Главным Собеседником Арсений на протяжении всей жизни непрерывно разговаривает, хотя она ему и не отвечает. Именно к ней — а не к Кому-то еще — он, по собственному разумению, и движется: «<...> я боюсь, Амброджо, — признается Арсений другу в трудную минуту, — что все мои дела не помогают Устине, а путь мой ведет меня не к ней, но от нее. Ввиду близкого конца света ты ведь понимаешь, что я не вправе заблудиться.»⁷)

Вся жизнь, все смирение, служение и самоотдача оказываются подчинены только этому: вине и долгу, долгу и вине — христианского в которых лишь то, что души и их посмертную судьбу герой намерен вымолить и выслужить у Бога, понятого более-менее по-христиански. Все остальное, что он делал, в некотором смысле может быть названо побочным продуктом упорной — и часто слепой — работы над главной задачей: герой отнюдь не всякий раз знает, как ему поступать, и оказывается движим скорее случаем и обстоятельствами, нежели сознательным намерением (впрочем, можно, конечно, сказать, что и Провидением, Которому в чем же еще себя и манифестировать, как не в случаях да в обстоятельствах?).

Получилось ли что-нибудь из этой единственной сверхзадачи — мы так и не узнаем (хотя о том, как чувствовала себя душа Устины, уводимая Смертью — не ангелом, заметим, а персонифицированной Смертью — персонажем, кажется, не слишком-то христианским! — сразу по расставании с телом, автор нам рассказывает довольно красочно, так и хочется сказать — убедительно). В посмертные обстоятельства самого Лавра автор нас не пустил. Зато святость достигнута, да, была — и немедленно по кончине Лавра оказалась всеми присутствовавшими, включая самую природу, признана.

Отдельный вопрос, что пути к ее достижению Господь (руками автора) предоставил Арсению просто на редкость подходящие — от целительства (которое, повторяю, главный герой не выбирал и которого тем паче не

добивался, а получил в некотором смысле готовым) до паломничества в Иерусалим — на которое он тоже не напрашивался и которого, тем более, не инициировал. Если уж сам Арсений что-то и выбирал намеренно и осознанно, то — юродство и монашество, однако славу, ценность и место в (пусть сконструированной авторским воображением — неважно) народной памяти принесли ему не они. Запомнился Арсений-Устин не в качестве юродивого, которые — показывает нам автор — в тогдашнем Пскове и кроме Устина бывали, да еще, пожалуй, и более яркие; монашество вообще было в те поры уделом многих. Он запомнился — и обрел святость — именно как целитель-Рукинец.

Не возьмусь судить, как — насколько корректно — все это выглядит с канонической точки зрения (было бы интересно что-нибудь об этом прочесть). Впрочем, есть основания надеяться, что автор — специалист по литературе русского средневековья, знающий свой предмет профессионально — выдержал корректность и в этом отношении тоже.

Во всяком случае, подозреваю, Водолазкин — если только текст хоть сколько-нибудь отражает его собственное отношение к жизни — человек отчетливо пострелигиозной — и, что и того более важно, постатеистической — эпохи. То есть такого культурного состояния, когда и религиозная жизнь во всех ее традиционных и безусловно — как само естество вещей — принимаемых подробностях, и самоуверенный атеизм обнаружили свою если не исчерпанность (будет еще в истории — хотя вряд ли в прежних масштабах — и то, и другое), то несомненную недостаточность. Когда потребность в соотношении себя со — скажем осторожно — некоторым высшим началом и в выходе за пределы горизонтальной плоскости существования явно чувствуется, но отношения с традиционными формами такого соотношения уже не особенно складываются. (Еще и поэтому хороша, выглядит такой органичной водолазкиной ироничная интонация.) Поэтому так хорошо пишется и с таким интересом читается повествование, хотя бы и вымышленное, о герое, который проживал религиозные смыслы не то чтобы совсем вне церковной традиции, но с самого ее краешку⁸.

Кстати, тут представляется важным, что роман, как его обозначил сам Водолазкин, «неисторический». Тут, пожалуй, можно было бы даже поздравить автора с новоизобретенным жанром. Или, точнее, с новосформулированным — по крайней мере, один, уже состоявшийся и очень известный, текст такого жанра в голову приходит: это «Иосиф и его братья» Томаса Манна, в котором, при всей добросовестной тщательности реконструирующих усилий, речь вовсе не идет ни о каком восстановлении облика прошлого, о том, что, как воскликнула перепечатававшая роман машинистка, «теперь хоть знаешь, как это было на самом деле». Я не о сомасштабности, я всего лишь о жанровом родстве. И Манн всю позволял своему времени — и устройству человека, как он его понимал — отчетливо просвечивать через историческую реконструкцию, выговариваться ее средствами, и Водолазкин делает то же самое.

Еще одна сквозная мысль у сегодняшних прочтений «Лавра», которая тоже повторяется едва ли не в каждом отзыве о нем — та, что это — роман об отношениях со временем, о его (а следовательно — и смерти), в конечном счете, иллюзорности, о том, что все времена — в сущности, одно, особенно с точки зрения вечности⁹. Об этом, опять-таки даже вполне прямым текстом, говорится и в самом романе¹⁰.

«Мне все больше кажется, — говорит Арсению его спутник, итальянец Амброджо, одаренный, по авторскому умыслу, некоторыми провидческими способностями, — что времени нет. Все на свете существует вневременно, иначе как мог бы я знать небывшее будущее? Я думаю, время дано нам по милосердию Божию, чтобы мы не запутались, ибо не может сознание человека впустить в себя все события одновременно. Мы заперты во времени из-за слабости нашей.»¹¹

Эту же мысль охотно повторяю и я. Тем более, что мысль — применительно к миру в целом — старая, коренная и высказывалась людьми весьма достойными: «Смерть и Время царят на земле, — / Ты владыками их не зови; / Все, кружась, исчезает во мгле, / Неподвижно лишь солнце любви»¹². Не совсем, правда, и не исключительно той любви, что связывала Арсения с Устиной, но все же и та — несомненный отблеск «от незримого очами»¹³, позволяющий его некоторым образом уловить. Во всяком случае, роман Водолазкина — и я снова не о сомасштабности — о тех же самых трех константах: времени, смерти и любви. И о том, что некоторые из них, с известной вероятностью, иллюзорны. Лавр же, собранный из множества своих прототипов по настоящим текстам средневековых житий и пересказанный иной раз нарочито нынешним языком, — как раз такой, каким мы способны его вообразить. Это — сделанный из средневекового материала «герой нашего времени».

Очень похоже, то есть, на то, что нас сегодня куда больше занимают время и смерть, наши отношения с ними и наша собственная, определяемая ими (или не вполне) участь, чем Тот, Кто, по идее, должен был бы быть главным героем жизни Арсения-Лавра, и только ли его?¹⁴ Можно, конечно, сказать, что отношения со временем, смертью и любовью, с их возможностями и невозможностями, их проживание и прояснение — тоже способ настроиться на восприятие «незримого очами». Конечно, можно. Только, по всей вероятности, мы при этом окажемся еще более с краешку, чем Арсений-Лавр. Или — говоря более оптимистично — в самом начале.

А может быть, роман — еще и о том, что автор, с присущей ему ироничностью, высказал в диалоге двух исчезающе-второстепенных персонажей в самом его конце. Они обсуждают русскую жизнь, но разве это не относится к нашей ситуации в мире вообще?

«Что вы за народ такой, говорит купец Зигфрид. Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь, вы же его всю жизнь мучаете. А когда он умирает, привязываете ему к ногам веревку и тащите его, и обливаетесь слезами.

Ты в нашей земле уже год и восемь месяцев, отвечает кузнец Аверкий, а так ничего в ней и не понял.

А сами вы ее понимаете, спрашивает Зигфрид.

Мы? Кузнец задумывается и смотрит на Зигфрида. Сами мы ее, конечно, тоже не понимаем.»¹⁵

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Например: «"Житие святого Арсения" — не религиозная, но постмодернистская проза высокой пробы. Сравнения Водолазкина с Умберто Эко уже стали общим местом» (<http://blogs.mail.ru/mail/uniatova/4BE5A3458EC59BF5.html>); «историко-постмодернистский роман Евгения Водолазкина "Лавр", жизнеописание еще одного "несвятого святого" уже собирает восторженные рецензии» (Антон Долин. Книжные итоги года: сенсации пылятся на полке //

<http://news.mail.ru/society/11385371/>); «Роман "Лавр" — это, как пишут продвинутые критики, роман постмодернистский. Как я понимаю постмодернизм — это такой вариант китайской кухни. В Китае <...> отношения повара с едоком — отношения игры: я тебя накормил, угадай, что ты только что съел. Когда же сталкиваешься с очередной постмодернистской книгой, понимаешь, что ее автор — это твой китайский повар: не будем вести себя по правилам, угадай, что я написал.» (Владислав Толстов на сайте премии «Национальный бестселлер», http://www.natsbest.ru/Tolstov13_vodolazkin.html); «"Лавр" есть постмодернистское нафаршированное, словно кусками битого стекла, шокирующими анахронизмами житие целителя, святого, праведника <...>» (Лев Данилкин в «Афише», http://www.afisha.ru/book/2220/?from_site=asearch). С другой стороны: «Формально-исторический роман о Средневековье, "Лавр" несомненно выходит далеко за рамки "жанра", не ограничивается ими. Это — самый настоящий постмодернизм. Автор мастерски смешивает время и язык — средневековые лексика (но все понятно!) и реалии переплетаются с современными, и диссонанса не возникает — все на удивление гармонично.» (<http://www.labirint.ru/books/364570/>)

² Цит. по: http://enc-dic.com/new_philosophy/Romantizm-1028.html

³ «В этом романе вовсе нет фальши.» (<http://www.rg.ru/2012/11/26/basinskij.html>)

⁴ С. 274.

⁵ С. 433.

⁶ Интересно, что из авторов всех рецензий, в которых — как положительных, так и, чуть реже, отрицательных — у «Лавра» недостатка не было, это заметил только один — Алексей Балакин (<http://www.colta.ru/docs/13964>). Вполне вероятно, это тоже симптоматично для состояния умов нашего времени, ибо и мы, рецензенты, люди и неминуемо проецируем на осмысляемый текст то, что занимает нас и за его пределами. Многие прочитали текст как несомненное утверждение христианских ценностей, как «житие в жанре романа», — что, скорее всего, свидетельствует о соответствующих ожиданиях, о потребности в таком утверждении. Попросту — о наличии запроса.

⁷ С. 279.

⁸ Упомянутый рецензент «Кольты» высказывается об этом еще более категорично: «Большую часть романа его герой живет вне церкви и даже вне религии» (там же — <http://www.colta.ru/docs/13964>). Думается все же, что это не вполне так, — вне церкви, пожалуй, во внемонашеский период жизни — да, но от религии, вкупе с налипшими на нее бытовыми представлениями, в средневековом обществе, пусть даже (зато грамотно!) измышленном, деться было все-таки некуда — и нашему герою это тоже не удалось. В конце концов, юродивый, в качестве которого Арсений-Устин прожил целую «Книгу отречения» — фигура несомненно религиозная и в этом контексте только и имеет смысл. Да и в Иерусалим он тоже ходил не зачем-нибудь, а все-таки к Гробу Господню.

⁹ Например: «<...> это и роман о времени. Точнее — об отсутствии времени, его преодолении через приобщение к вечности. Время романа — мерцающее, его ход постоянно прерывается "врезками" из других времен.» (анонимное предисловие к отрывку из романа в «Новой газете», <http://www.novayagazeta.ru/arts/56134.html>); рецензент на «Лабиринте»: «Это книга о самых важных вещах — о Боге и вере в Бога, о времени и о том, что времени — не существует, все едино и все связано со всем, о любви и самопожертвовании...» (<http://www.labirint.ru/books/364570/>)

¹⁰ Признается в этом — за пределами романа — и сам автор: «Я думаю, — говорит он в дискуссии на электронных страницах журнала "Сноб", — "Лавр" — это во многом роман о времени, точнее — о его отсутствии. В одной из записных книжек незабвенный Дмитрий Сергеевич Лихачев сравнил время с иглой на пластинке: "Если продолжить наше сравнение с пластинкой или диском, на котором записана не только жизнь наша, но и всего существующего во времени, то надо признать, что жизнь вселенной не просто проигрывается иглой времени, но звучит и видится сразу, вневременно и всезнающе для Бога и для нас, "запертых" во времени.» (http://www.snob.ru/selected/entry/54123#comment_533807)

¹¹ С. 279.

¹² <http://rupoem.ru/solovev/bednyj-drug-istomil.aspx>

¹³ <http://rupoem.ru/solovev/milyj-drug-il.aspx>

¹⁴ Автор, похоже, и сам думает что-то в этом роде. На четвертой странице обложки он так и пишет: «Есть то, о чем легче говорить в древнерусском контексте. Например, о Боге. Мне кажется, связи с Ним раньше были прямее. Важно уже то, что они просто были. Сейчас вопрос этих связей занимает немногих, что озадачивает. Неужели со времен Средневековья мы узнали что-то радикально новое, что позволяет расслабиться?»

¹⁵ С. 440—441.

Александр Котюсов

Бог, любовь, воздух и одиночество

Первое впечатление обманчиво. А ведь не читал других рецензий, специально не искал, отводил глаза, увидев случайно, чтобы все свое, ни чужого слова, мысли, строки, авторитета, знания... Просто взял в руки в магазине, на обложке — «ПЛАЧ», крупно, плавающе, волнами, а потом мелко под ним — «по уехавшей учительнице рисования». И на обороте фото в очках — «Ее последняя книга "Тётя Мотя" спровоцировала оживленную дискуссию о современном семейном романе и победила в читательском голосовании премии "Большая книга". Приз зрительских симпатий. Другие призы академики раздают, хмурые, суровые, со степенями, борода, кофта крупной вязки, взгляд сверх очков, пальцы на правой руке пожелтели от трубки. Этот — читатели. А я вот Мотю эту, Тётю не читал, мимо прошла. Наверстаю, вон она, в разделе «Женская проза». Не люблю этот раздел, кто ввел в литературу гендерные признаки? Но мы о другом. О «Плаче». «По уехавшей учительнице рисования». Майя Кучерская. А куда она уехала? Надолго ль? Кто плакал собственно? Почему? Сейчас расскажу.

Рассказ «Nostalgia», стартующий первым, сразу читателя предупреждает звездочкой — «орфография и пунктуация авторские». В рассказе два десятка новелл, не новелл даже — сюжетов, образов, характеров, штрих-пунктиров, точка-точка-тире. Автор самозабвенно жонглирует этой самой орфографией — «счас», «отправисся», «можт», «тогось», «штоль».

Майя Кучерская. Плач по уехавшей учительнице рисования. — М.: АСТ, 2014.

Будто русских слов давно во рту не держала. Майййййя... Сидит как бабка-старушка на завалинке возле избы, с товарками своими разговаривает... слышь, Никитична... о том, о сем, а что делать еще бабке в деревне на пенсии. Так себе истории (не бросай книгу, читатель, потом пожалеешь) — тут про Ольгу Петровну, которая в туалет пошла, там про крокодила, в совхоз его привезли, здесь о том, как ребенка в капусте нашли. А вот про Алешу, у которого ноги не было и девушки его не любили. Шукшиным пахнуло. У того Колька такой же. Нogu отрезали в больнице. Он потом из-за несчастной любви застрелился. Не до смерти, правда. Выжил, ну их, баб этих. А Алеша не стрелялся, в другое время жил — стал в Москве милостыню просить, афганец как будто. Много насобирал, богатым стал, «Форд-фокус» купил, от девочек отбоя нет, ну и что, что калека. Нет, до Шукшина далеко (не торопись с выводами, читатель), не тот язык, у Василь Макарыча исконный, сам течет, по-родному, Алтай-болтай, а тут притянуто, пришито, нитки торчат, стежки неровные, не фабричный пошив. Чуть не закрыл книгу (ошибся, зря купил!). Жалел бы потом. А в конце рассказа пометка — «Лос-Анджелес, 1995». Вот эквилибристика авторская откуда (Кучерской тогда было всего 25) и название — «Nostalgia». Она ж в те годы там и училась-жила, в Калифорнийском университете на отделении славянских языков и литературы. Как не затоскуешь по родному слову. Только вот, какой же «Форд-фокус». Это название в 98-м появилось. В 95-м «Форд-Мондео» был. Ох уж эти

филологи... драндулет от лисапеда отличить не могут.

Ну да, первое впечатление обманчиво. Уже второй рассказ (всего их 14) сбивает читателя с ног, и ты понимаешь: в руках твоих — книга! Нет, не так — в руках твоих КНИГА!!! Тут тоже эквилибристика, тоже орфография, но другая, русская, приятная, забытая. С первых строк тебя словно окутывает авторский «настоянный на неполезных травах смех», ты словно сидишь за одним столом с зашедшей на чай девушкой Женей, которая «смотрит на тебя волооко», а сама «медленная и знает мало слов». Иной язык, старше, умней. И не коробит даже Гриша, наркоман со стажем, когда он хочет «покачать» (наркоманы часто хотят «какать»). И бежит неторопливо повествование, обтекает тебя вместе с главной героиней, «ему на тебя наплевать, и ты, ты тоже станешь наркоманка»... У нее муж, двое детей, семья, а словно одна. Одиночество. А потом затягивает куда-то, будто меняется ветер, погода, жизнь, воздух. Воздух. — «Ребята. Возьмите меня с собой. Я знаю, там плохо, там наркоманы, ну, но я и не буду курить и колоться тоже, я просто сяду в углу и буду сидеть, тихо-тихо, вжавшись в стенку спиной... будто я одна и никого у меня нет... никого». А любовь? Любовь. Нет любви. Некого любить. И снова меняется ветер, он свежий бодрящий, другой. Монастырь, отец Василий. Бог. Ни о чем разговор, вообще разговора нет — «давайте-ка помолимся вместе, Машенька». И словно уходит все. И меняется жизнь, появляется смысл, Пасха, исцеление. И Гриша вдруг звонит: Христос Воскрес. Нет больше наркомана.

Бог, Любовь, Одиночество и Воздух. Вот распятие, крест новой книги Кучерской, четыре колеса, реперные точки, ноги, руки, времена года, стороны света. Как говорится, ИМХО. Все герои ее на перепутье, как в сказке, направо пойдешь — Бога найдешь, налево — Любовь, прямо пойдешь — там Воздух, дыши в полную грудь, обратно вернешься — Одиночество захватит. Мечутся герои Кучерской, повернет направо, плохо там, налево пойдет, тоже не то... назад?... может назад?...

или нет, давай вперед... там воздух, в полную грудь...

Героям Кучерской его катастрофически не хватает. Алеше в «Химии "Жду"», там «все началось с воздуха. Менялся его химический состав. Что-то из него вынимали... кислород исчезал вовсе, вытеснялся углекислым газом». Для героини «Среднестатистического лица» (кстати, Кучерская часто не называет имен героинь, просто ОНА) «воздух вокруг разреженный, бледно-голубой... отсутствующий». Писатель из «Маргиналий-2» вырывается из душного города куда-то в провинцию... одиночество позади, хотя там жена... что жена — «забывала свои гвозди в него каждый день вообще», «семь тысяч рэ в месяц — это не серьезно», он ушел... на год... временно... литература требует покоя душевного, это — как монашество, надо жить в тишине, во внутреннем затворе, а впереди воздух — «объемный. Плотный. Многосоставный. Можно жевать. Расслаивать». К воздуху, к свежести рвется и маленький, детдомовский (снова одиночество), с чугунным ядром тоски, тайного гнева — а ведь копает себе землянку, чтобы прожить в ней зиму — герой рассказа «Пригодное для жилья». И снова где-то рядом Бог, но мальчику не к нему, хоть он и работает в монастыре, да только при подходе к собору начинает казаться, что его душат. Мальчик рвется к воздуху. В этом рассказе он самый насыщенный, с грозой, с проливным дождем, с льющей на землю влажной свежестью, запахом мокрой хвои, благоуханием роз у дома, чуть подернутым ароматом смолы... воздух дает мальчику победу... победу над собой, своими терзаниями, одиночеством.

Герои постоянно в поисках любви, любви на грани предела человеческих чувств. Бывший игумен ищет свою «сестренку», встреченную много лет назад на остановке в Калуге, мать двоих детей — своего Яшу, никогда не виденного, sms-ошибку, фейка из айфоновского чата, двадцатилетняя Анна в «Игре в снежки» — Саньку, еще девочку-школьницу, нет, все целомудренно, просто целовались. В поисках любви и героиня «Маскарада в сти-

ле барроко». К мальчику, сыну богатого родителя, избалованному деньгами и женским вниманием, нравящемуся всем девчонкам вокруг. Спотыкаюсь о фразу — «Ему тоже много кто нравился, но по очереди. Очередь двигалась довольно быстро». Перечитываю, перечитываю. Как просто! Героине не хочется в очередь. Хотелось его победить? Это не мой знак вопроса. Вопрос ставит Кучерская.

Самый пронзительный рассказ сборника это «Химия "Жду"». «Раб Божий Алексей» принимает решение уйти в монастырь, готовится к этому тщательно, работая уже, будучи студентом, на послушании, словно примеряя на себя нелегкое будущее, молитвы, труд, отрешение от мирских хлопот, суеты. Но что-то уже гложет, отвлекает его — мечется, то ловя в себе желание к той маленькой, круглолицей, прыскавшей от его шуток в кулачок, сестренки, мечтавшей, как и он, о монастырской жизни, то встречая в собственном видении Преподобного Амвросия Оптинского. И эта неуверенность, стремление разорваться тянется через весь рассказ, уход из монастыря через четыре года, так и не узнаем почему, только догадки, автор говорит в полголоса — тсс, потом шепотом, не слышно... что-то там нечестивое делали святые отцы — как! Вы же «проповедовали бескорыстие, жертвенность, целомудрие, любовь к ближнему и Богу». И скинуты одежды дьякона и возвращено себе мирское имя и начаты поиски той сестренки. Годы ушли, восемь лет, внутри свадьба, семейная жизнь, сын, борщ, клюквенный кисель, котлеты, никакого Бога. Та жизнь забыта. И вот она встреча, случайная, в поезде, «а помнишь», Оптина Пустынь, весна, Великий пост. Разгорелась любовь, которая тлела эти годы, словно прочтенная давным-давно и казалось забытая навсегда молитва, а нет, только возьми в руки, открой на нужной странице — и вспомнишь враз, а забудешь слова, так их подскажет сердце. Встречи, редкие, раз в месяц, в два... не могу, семья, муж... он у меня... Кто? Давай не будем. А потом вообще... я буду тебе звонить один

раз в год и вынимать симку из телефона. Так надо. И развязка! По силе восприятия развязка рассказа пробивает насквозь, навывлет. За последние несколько лет такую мощь, сказанную простыми русскими словами, я ощутил только у Андрея Дмитриева в «Крестьянине и тинейджере», когда главному герою, больному неизвестной кожной болезнью и испробовавшему все, простая деревенская женщина говорит — все пройдет, нужно только помыть ноги мылом, которым обмывали покойника. И вот через много лет после смерти его любимой, с которой он был близок лишь однажды, да и при каких обстоятельствах (не о том речь) и потом расстался навсегда, но все эти годы любил, буднично передают мыло — на... мы обмыли им твою Сашеньку... И у Кучерской так же... ни слова о муже, столько лет измен, пусть раз в год, но тоже измена. Так он — священник! — понимает вдруг главный герой. Она — матушка. До него доходит, что измена ее не перед мужем вовсе — перед Богом. Рвется рассказ, расстались, ему на воздух, не встретимся, и сразу сердце рвется... инсульт, инфаркт (а зачем жить, лучшее позади), Алеша возвращается к Богу, хочет попросить прощения то ли за себя, то ли за нее, согрешили... «Никогда уже больше, Алеша, не будет у тебя такой радости», — шепчет Бог и главного героя освещает луч — день его крещения.

Трудно на трех страницах выдохнуть, все, что обрел читая. В десять тысяч знаков не вложить мысли о каждом из четырнадцати рассказов. Да и не нужно, будет не интересно читателю. Плач. Плач. Существительное. Глагол. Слезы на повороте страницы. Не женская проза. Просто хорошая! Не делится по гендерному признаку. Так о ком плач? О литературе! Хорошей литературе. Мало ее нынче. А учительница куда уехала? Да никуда... Здесь она. Кучерская ей фамилия. Учит нас. Богу. Любви. Дышать. Уводит от одиночества. Ну и русскому языку, понятное дело, учит. С авторской орфографией и пунктуацией.

Марина Михайлова

Большая жизнь малого мира

В ноябре 2012 года в Москве состоялись презентации сборника Джованнино Гуарески «Малый мир. Дон Камилло», переведенного Ольгой Гуревич. До этого момента Гуарески (1908–1968) был почти не известен русскому читателю: в советское время автор-католик, занимающий отчетливо критическую позицию по отношению к обществу победившего социализма, по определению не мог быть представлен в нашей стране, только в последние годы появились журнальные публикации нескольких рассказов. При этом книги Гуарески вышли общим тиражом более 20 миллионов экземпляров на нескольких десятках языков.

Действительно, «habent sua fata libelli», книжечки имеют свою судьбу (меня всегда трогало это уменьшительное «libelli», «книжечки», рядом с торжественным именованием судьбы, но сейчас не об этом). Непритязательные рассказы Гуарески, действие которых происходит в 1947 году в небольшой деревне в долине реки По, оказались как нельзя кстати сегодня, спустя десятилетия, нам, жителям холодной северной страны.

Дон Камилло — католический священник, настоятель сельского прихода. Это огромный дядька, который в пылу драки запросто может воспользоваться дубовой скамейкой. У него нежное сердце, полное сочувствия к людям и животным. Он живо откликается на радости окружающего его малого мира и серьезно относится к своим пастырским обязанностям. В деревне есть человек, о котором дон Камилло помнит постоянно. Это Пеппоне, вожак местных коммунистов и мэр. Он такой же здоровенный, такой же добрый и такой же упрямый, как дон Камилло. Схожи они и в том, что смысл своей жизни оба полага-

ют в служении человеку, а поскольку философские основания и конкретные методы этого служения они понимают слишком различно, конфликт между ними неизбежен. Разнообразные перипетии отношений этой парочки и составляют основу сюжета книги, составленной из рассказов, что появлялись еженедельно с декабря 1946 года в миланской газете «Кандидо», сопровождаемые рисунками автора. Эти нежные, забавные, создающие особую атмосферу картинки сохранены в нынешнем московском переводе, за что издателям особая благодарность.

Смешные и жизнеутверждающие рассказы о дружбе-вражде столь ярких и значительных персонажей не оставили читателей равнодушными. Не будет преувеличением сказать, что не было в Италии человека, который не знал бы дона Камилло и Пеппоне. Особую славу истории Гуарески приобрели благодаря кинематографу: в 1950–60-е годы одна за другой появились несколько полнометражных комедий с Фернанделем в роли дона Камилло и Джино Черви в роли Пеппоне. Фернандель считал, что это одна из лучших его работ. Фильмы получились искренние, веселые, трогательные, их вполне можно с удовольствием смотреть и сегодня.

Теперь о том, почему работа Ольги Гуревич оказалась столь своевременна. Искрометное веселье, придуманное Гуарески, представляется очень важным в наши дни прежде всего потому, что это подлинное веселье, это тексты, неизменно вызывающие смех в диапазоне от сдержанной улыбки до безудержного хохота — в зависимости от темперамента читателя. И жизнь, и искусство дают нам немало поводов для тоски, печали и депрессии. То тут, то там видишь, как образ человеческий попирается, разлагается и унижается. Какой радостью на этом унылом фоне звучат простые, полные жизненной силы

Джованнино Гуарески. Малый мир. Дон Камилло. Пер. с итал. О. Гуревич. — М.: Центр Книги Рудомино, 2012.

истории про человеколюбцев из долины реки По! Особенно радует то, что Гуарески вполне реалистичен: в его малом мире смерть, насилие, грубость и жестокость представлены так же сильно и разнообразно, как и в нашем большом. Но это вовсе не мешает автору рассказывать веселые истории про хороших людей.

Гуарески был не менее упрям и честен, чем его любимые герои. Чего стоит его девиз «Не умру, даже если меня убьют», который помог ему выстоять в лагере, куда лейтенант Гуарески был посажен за отказ воевать на стороне нацистов. Сидел он и при демократическом правительстве (он опубликовал материалы, обличающие неблаговидные поступки премьер-министра Альчиде Де Гаспери, одного из отцов итальянской республики, и его обвинили в клевете). Тогда ему принесли бланк прошения о помиловании, и он старательно исписал его с обеих сторон словами: «Прав, я прав, я прав...» Словом, толерантность и разумный компромисс Гуарески были неведомы. Ровно так же горячи и непреклонны его герои, католик и коммунист. Каждый из них идет до конца в верности тому, во что верит, каждый готов за это отдать жизнь — это вовсе не метафора, а вполне реальная перспектива в условиях жесткого политического противостояния в стране, переполненной всяческим оружием. В первые послевоенные годы жизнь была сурова и страшна, и Гуарески честно об этом написал, сохраняя, впрочем, чувство меры и чувство юмора. Удивительно не то, что герои «Малого мира» исполнены решимости и уверенности в своей правде, а то, что каждый из них при этом исполнен глубокого уважения к другому. Никакого псевдовольтерьянства в духе «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». Ничего такого, напротив, дон Камилло не стесняется в выражениях, высказываясь в адрес пустозвонов красных, а Пеппоне гневно (и безграмотно, а потому уморительно смешно) обличает реакционных клерикалов. Но именно отчетливость уверенности и последовательность служения обоим не только вызывают взаимное уважение, но и наполняют их, этих двух огромных деревенских вожаков, невероятной нежностью друг к другу.

В этом и скрыта большая тайна малого мира. Как возможно такое парадоксаль-

ное сочетание верности собственной правде и открытости другому, такая немислимая способность искренне любить своего противника? В нашем большом мире на каждом шагу, на всех уровнях, от межгосударственных отношений до интернет-полюмики по ничтожному поводу цветут непримиримость, взаимные обличения и яркие идеологические конфликты, но нежности и уважения практически нигде не наблюдается. Почему же эти двое так хороши — и так убедительны, ведь персонажи Гуарески совершенно живые и реалистичные? Замечу попутно, что он вовсе не хочет сказать, что все священники таковы, как прекрасный дон Камилло: падре, который его временно заменяет, вовсе не обладает какими-либо выдающимися достоинствами. Автор также не пытается нас убедить, что все коммунисты таковы, как трогательный Пеппоне. Не случайно в конце книжки появляется мерзкий товарищ Споккья с прилизанными волосами и маленькими пустыми глазами. То есть Гуарески не говорит, что люди (священники или коммунисты) таковы, как его герои. Он говорит нам, что они *могут быть* такими. Так вот, при каких же условиях это возможно? Что позволяет героям Гуарески подняться на нравственную высоту, что недостижима для нашего просвещенного общества, оснащенного всевозможными инновационными технологиями? Автор дает тому два объяснения.

Первое состоит в том, что эти двое — простые люди. Они живут на земле под небом, смотрят на мощное неспешное течение реки. А река эта — часть поэзии, «которая началась с сотворения мира и никогда не кончалась», сам великий поток бытия. Ровно настолько, насколько человек может жить в простоте, в открытости миру, его стихиям и вещам, он способен и открываться другому человеку. Пеппоне драгоценен дону Камилло (и наоборот — Камилло дорог Пеппоне) просто потому, что он живет здесь, на этой земле под этим небом. Он составляет необходимую часть мира, и тайна его присутствия значит неизмеримо больше, чем его никчемные убеждения. Гуарески напоминает нам о том, что помимо социальных, политических, идеологических, вероучительных и прочих определенностей есть еще тот глубокий и незблемый

уровень жизни, где мы все на берегу реки, а потому все друг другу свои.

Второе объяснение заключается в том, что эти двое слышат голос Третьего. Дон Камилло постоянно беседует с Христом — эти разговоры Гуарески пишет (а Ольга Гуревич переводит) так сдержанно, тактично и просто, что присутствие Христа как персонажа нисколько не смущает и не раздражает, что можно считать большой литературной удачей. Понятно, что священнику по статусу показано разговаривать с Богом, но ведь и коммунист Пеппоне, глубоко чуждый каких бы то ни было мистических откровений, в момент смертельной опасности явственно различает голос, который ему говорит: «Стоп!» — и Пеппоне останавливается, что и спасает ему жизнь. Эта простота богообщения, убедительно изображаемая Гуарески, тоже чрезвычайно важна. Сегодня, когда непрестанно разворачиваются мелкие и крупные медиаскандалы с участием церковных лиц, когда только ленивый не высказывается в адрес РПЦ — а заодно и всех клерикалов, да и вообще «верующих» — критически и саркастически, очень уместно напоминание о том, что Церковь — это не только эмпирически наличествующие персонажи (спору нет, зачастую весьма далекие от совершенства и щедро наделенные всевозможными слабостями и пороками), но прежде всего сообщество людей, состоящих в личных отношениях с Христом. В этом смысле дон Камилло убедительно свидетельствует, что христиане — и даже священники — могут быть живыми, искренними, умными и веселыми. С точки зрения Гуарески, границы церкви как института не совпадают с границами любви Божией, которая, как дождь и солнечный свет, на всех изливается и всех объемлет. Именно об этом автор говорит в финале пространного предисловия: «В моих историях говорит *мой* Христос, то есть голос моей совести. А это мое личное, внутреннее дело. Так что каждый за себя, а Бог за всех» (с. 57). Не думаю, что речь идет о сознательном цитировании, но слова Гуарески очевидно перекликаются с замечательным местом из «Улисса»: «Любовь любит любить любовь. Медсестра любит нового аптекаря. Констебль бляха 14 А любит Мэри

Келли. Герти Макдауэлл любит парня с велосипедом. М. Б. любит красивого блондина. Ли Чи Хань любви целовай Ча Пу Чжо. Слон Джамбо любит слоницу Алису. Старичок мистер Вершойл со слуховым рожком любит старушку миссис Вершойл со вставным глазом. Человек в коричневом макинтоше любит женщину, которая уже умерла. Его Величество Король любит Ее Величество Королеву. Миссис Норман В. Таппер любит капитана Тэйлора. Вы любите кого-то. А этот кто-то любит еще кого-то, потому что каждый любит кого-нибудь, а Бог любит всех». Интеллектуальный виртуоз Джойс и Гуарески, который декларирует, что в его книжечке нет «никакой литературы», собственно, говорят одно и то же: мы можем что угодно думать о церкви и Боге, об истине и другом, и это нисколько не воспрепятствует каждому из нас любить кого-нибудь, а Богу — любить всех.

«Habent sua fata libelli», и не случайно, что книжечка Гуарески появилась в конце ноября, как раз в начале Рождественского поста, в самое темное и холодное время. Книгу завершает рождественский рассказ: Пеппоне, которому вдруг стало скучно и противно на очередном партсобрании, заходит к дону Камилло. Тот как раз поновляет фигурки для рождественского вертепа, и как-то так получилось, что Пеппоне в свою огромную ручищу механика берет Младенца и тоненькой кисточкой аккуратно прорисовывает лицо (без сомнения, христианин Гуарески здесь имеет в виду известное святоотеческое высказывание о том, что «кто видел брата своего, тот видел Бога Своего»: Пеппоне достоин обновить лик Младенца Христа именно потому, что он способен видеть в другом священную реальность). Разговор при этом происходит, казалось бы, самый простой и непритязательный, и вскоре они прощаются. «За дверью Пеппоне поджидала та же мрачная падуанская ночь, но у него было спокойно на сердце: он все еще ощущал в ладони тепло Младенца». Простые истории «Малого мира» Джованнини Гуарески отдают большую жизненную силу, тепло и спокойствие, а потому они будут хороши в любые дни года, от самых мрачных и безнадежных до самых солнечных и радостных.

Ольга Гертман

В зоне Божьего слуха

С очень давних пор, еще с ранних эссе Михаила Эпштейна (составивших, например, его вышедшую в девяностых книгу «Бог деталей»¹), мне упорно думалось, что он, известный главным образом как философ, эссеист, культуролог и генератор культуротворческих идей, — по существу, по интеллектуальному темпераменту, по внутренней структуре мысли — религиозный мыслитель; все же остальное, в изобилии им написанное и сказанное — скорее иновыговаривание этой глубокой интенции, своего рода умалчивание о ней в словах, обозначение ее иными средствами. Оказалось — именно так. Вышедшую только что книгу, думаю, есть все основания рассматривать как его религиозно-философскую программу.

Книга, посвященная судьбам религиозной мысли и религиозного чувства в посттрадиционном мире, после эпохи официального атеизма в нашем отечестве и параллельной ей эпохи религиозной усталости на Западе, писалась и обдумывалась много лет. В ней читатель встретит и — включенный в общую ткань рассуждения — текст совсем ранний: «Манифест бедной религии», написанный в 1982-м, у самых, еще подземных, корней той культурной и религиозной ситуации, в которой мы находимся сегодня. За тридцать с лишним минувших с тех пор лет она успела обрести внятные черты и обрести множественностью подробностей, которые из 1982-го

еще не могли быть видны. Однако вернуться теперь к ее корням тем полезнее, что тогдашняя особенная чуткость думающих людей к трансцендентному, особенная в нем потребность — которой мы несомненно обязаны длительному общекультурному религиозному голоду — сегодня (в эпоху стремительного превращения религии в государственную идеологию) стала, пожалуй, уже забываться. В этом «Манифесте», положившем основу размышлениям, которые и составили в своем полном развитии книгу (надо заметить, все сказанное в нем автор затем развивал довольно последовательно: это именно основа), описывается вера, возможная в культурном пространстве с максимально вычищенными, как казалось тогда, религиозными традициями, в ситуации, иной раз, элементарной религиозной неграмотности и слепоты. Эта вычищенность и возникший в ее условиях феномен «бедной религии» — веры в Бога «вообще», без сколько-нибудь внятной конфессиональной определенности — выявила, полагает Эпштейн, докультурную, дотрадиционную природу потребности человека в Том, Кого принято — чтобы хоть как-то видеть — называть именем Бога, и в том особенном отношении, которое принято обозначать словом «вера».

«Когда же произошел разрыв с традициями, — пишет Эпштейн, — обнаружилась некая единая, вневероисповедная, сверхисторическая форма самой веры. Бедная религия и есть именно общий знаменатель всех вер, их общая форма, ставшая содержанием постатеистической веры. Атеистический разрыв с религиозными традициями ведет к постатеистическому их объединению.»

Михаил Эпштейн. Религия после атеизма: Новые возможности теологии. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013.

¹ Бог деталей. Народная душа и частная жизнь в России на исходе империи. — Нью-Йорк: Слово, 1997; 2-е изд. — М.: ЛИА Р. Элинина, 1998. — (Классика XXI века).

«<...> во всей этой бедной религии нет почти ничего сформированного, определенного, оно проявляет себя, скорее всего, как повседневность огромного количества людей, которые мало что знают друг о друге. У нее нет пророков, провозвестников, потому что она живет предчувствием конца, доходящим до нас не в виде откровения, а в виде смысловой гулкости, разреженного пространства, окружающего наши собственные слова и поступки. В этом уникальность ситуации: потеряв на долгое время контакт с Божьим словом, люди очутились в зоне Божьего слуха. Никто не говорит от имени Бога, но все говорят так, как если бы их Кто-то слышал и эти слова оставались бы надолго, запечатленные высшим слухом.»

Эпштейновское представление о постатеистической религии и начавшейся ныне «протомессианистичной» эпохе, «пред-дверии эпохи пред-верия» и само, конечно, обязано своим возникновением этой вычищенности традиционного пространства с его «смысловой гулкостью». Говоря об этом, он рефлектирует и собственную интеллектуальную и духовную ситуацию (может быть, прежде всего ее; такие вещи по-настоящему познаются только изнутри, как собственный опыт). Он и сам — характернейший ее представитель и выразитель, отличный от основного числа прочих разве что степенью — чрезвычайно высокой — ее осознания. Поэтому убедительнее всего он будет, видимо, для тех, кто, подобно автору этих строк, и сам осознает себя в той же самой ситуации в качестве ее характерного представителя.

Интересно, что Эпштейн — как, вообще, мало кому свойственно — обращает внимание на плодотворность потерь и катастроф. Советский массовый, общеобязательный и агрессивный атеизм он включает в религиозную историю на правах ее, в своем роде, полноценного звена (а не в качестве ее перерыва). Внутри самих атеистических форм культуры: и в воинствующем материализме, и в искусстве авангарда, и в позднесоветском концептуализме — он обнаруживает более или менее — чаще всего менее — скрытый

религиозный потенциал и пафос, усматривает в них иносуществование той самой религиозной потребности, которая уже не имела возможности проживаться в прежних, привычных, узнаваемых формах — но совсем перестать быть тоже не могла, ибо, похоже, — антропологическая константа. Интересна и концепция «постатеистической» культуры, предполагающая, что далее культура будет существовать не иначе как с учетом пережитого, продуманного и преодоленного атеистического опыта, причем так, что само неверие (верой, в свою очередь, питающееся) работает на возрастание веры и в конечном счете представляет собой ее «скрытую форму»: «...чехарда "верю/не верю" происходит в душе людей как почти верующих, так и почти неверующих, а к этим "почти" относится почитай 90% живущих. Но каждая последующая вера глубже предыдущей, вбирает в себя очередное неверие, как и последующее неверие вбирает в себя предыдущую веру. И вдруг выясняется, что это не чехарда, а живой рост, как у дерева одно годичное кольцо замыкает в себе другое...» Право, иной раз кажется, что автор как-то даже чересчур оптимистичен. (С другой стороны, мы можем вспомнить тут и Дитриха Бонхёффера, на которого Эпштейн ссылается как на одного из своих предшественников и единомышленников: он — в обстоятельствах, куда менее располагавших к оптимизму, чем наши нынешние — считал, что «теперь, когда мир вошел в возраст, он более безбожен, и, может быть, по этой самой причине ближе к Богу, чем когда-либо раньше».)

Важнее всего, однако, то, что Эпштейн в книге отнюдь не ограничивается предметами культурологическими (или, что в этом случае звучало бы даже органичнее, культурософскими), о которых здесь, казалось бы, говорится очень много. Его интеллектуальное предприятие куда амбициознее. Да, разумеется, эта книга — сама по себе антропологическое суждение, формулирующее не то чтобы несамодостаточность рационального в человеке, но, скорее, то, что рациональность и вера в нем — взаимно необходимые

части одного целого (речь об этом идет в основном в той части, где автор развивает мысль, что наука чем дальше, тем больше подтверждает истины веры: «наука последнего столетия приучила нас познавать возможность и даже необходимость таких чудес, за которыми трудно было угнаться вере древнего человека». Вопрос, «возможно ли создание <...> культуры, для которой научное объяснение и религиозное постижение мира будут равно приемлемыми, не исключаящими, а дополняющими друг друга», для Эпштейна остается еще как будто в модальности вопроса, но он, по всему видно, склоняется к положительному ответу). Тут, правда, как раз нет ничего ни особенно нового, ни даже особенно интересного (напротив того, это представляется скорее общим местом, противоположным тому хорошо известному атеистическому общему месту, согласно которому наука чем больше развивается, тем больше опровергает утверждения религии. Как во всякое слишком общее и гладкое по виду место, хорошо бы повнимательнее всмотреться и в это: точно ли подтверждает? Нет ли тут подгонки материала под напряженно ожидаемый ответ?). Куда интереснее и острее другое. Эпштейн предлагает ни больше ни меньше как новую онтологию и новую теологию — по крайней мере, намечает их возможности; выщупывает их внутри тех интеллектуальных построений, которые уже состоялись и широко известны. (В этом смысле можно даже сказать, что Эпштейн — совершенный традиционалист: в самом деле, чего он точно не делает, так это никогда не оспаривает традиции, — он всего лишь умеет ее, уже сложившуюся, видеть с неожиданных, не слишком замечаемых сторон и, что, пожалуй, и того реже, — в точках роста.)

Книга же построена таким образом, что ход мыслей в ней движется от культуры и культурологии — к онтологии и к (неотъемлемой в его глазах от нее) теологии. Причем, говоря о культурных состояниях, Эпштейн рассматривает их как часть «судьбы Бытия», как ее культурные проекции. Начав с культурного, он выходит к над- и предкультурному, к тому, что

составляет основу всякой культуры и об устройстве чего мы, внутри культуры живущие, можем только догадываться и строить предположения.

Вся книга Эпштейна, в ее «надкультурной» части — такое предположение.

Начав разговор о такой, казалось бы, целиком располагающейся в горизонте культуры теме, как взаимоотношения религии и науки — двух разных способов мироотношения и миромоделирования (и затратив, на мой взгляд, незаслуженно много усилий на полемику с убогой концепцией Ричарда Докинза о «Богe как иллюзии») — Эпштейн «вдруг» переходит к вопросу, самому коренному из возможных, который он сам признает «величайшей метафизической загадкой»: как возникло бытие в его отличии от небытия, почему вообще, как спрашивал в свое время Лейбниц, «существует нечто, а не ничто». Об этом — глава «К теологии вакуума. Двойное небытие и мужество быть».

Там, отталкиваясь от физического представления о вакууме, с помощью простых аналогий из физики и математики, Эпштейн показывает, каким образом могло произойти творение из ничего. «Если Бог сотворил Вселенную из ничего, то этот материал все еще ощутим в ее основе.» «Из <...> самоотрицания "не", поскольку оно охватывает и область онтологии, возникают все конкретные предметы и отношения, бытие которых можно определить как двойное небытие, не-небытие. Интересная параллель этой онтологии двойного ничто — математическое отношение нуля к самому себе. По правилам арифметики, деление на ноль запрещено, но исключение делается для самого нуля. Значение операции 0:0 считается "неопределенным", и задача деления нуля на ноль имеет бесконечное множество решений, т.е. результатом являются все действительные числа. Точно так же результатом отношения ничто к самому себе может считаться все множество существующих вещей.»

Более того, он находит возможным понять даже возникновение Самого Бога — которого считает имеющим начало: «из

Ничто, из Безосновного (Ungrund) рождается Бог-Творец и <...> из этого же Ничто Он потом творит мир» — в самом Ничто обнаруживается возможность «к такому последовательному и именно двойному переходу». Этот процесс позволяет объяснить «философия двойного "не", или неустойчивого вакуума», с привлечением иудейской теологической мысли: творение можно рассматривать, полагает Эпштейн, «как действие "не", обращенное Субъектом-Творцом <...> на самого себя», как его самоумаление и самоуничтожение, известное, например, каббале как «самосжигание» Его, «Цимцум» — «Бог как бы жертвует собой, чтобы освободить место для не-Себя, для мира. Христианское понятие *кеносиса*, самоопустошения Бога в его человеческой ипостаси, в жертвоприношении Сына, тоже может рассматриваться как действие того же начального "не", обращенного на второй ступени уже на то "Себя", которое возникает из отношения Ничто к себе. "Не" оказывается тем динамическим принципом, который, обращаясь на себя, производит само это Себя, которое, в свою очередь, отрицая себя, производит не-Себя». «Таким образом, чтобы описать происхождение мира, достаточно двух логических кванторов: "не" и "себя"». Логика, математика, физика, онтология и теология оказываются на одной — и даже довольно короткой: все рядом — прямой, в одном смысловом континууме.

От онтологии и теологии автор снова возвращается к судьбам культуры и ее новообретаемым структурам — и, в конечном счете, к некоторой общечеловеческой этике существования и мироотношения, которая, как он предполагает, будет свойственна «следующей эпохе духовного становления человечества». Эта эпоха, по Эпштейну, ожидается такой, что в ней «сама антитеза религии и атеизма (или секуляризма) исчерпывает свой актуальный потенциал и предстает знаком архаики». Одну из ведущих отличительных черт этой новой эпохи он называет взятым у Жака Деррида словом «мессианистичность». В отличие от мессианства, объясняет Эпштейн, это — «бо-

лее широкое незнание: не только дня и часа, но и самой возможности пришествия Мессии. Это ожидание без уверенности в том, что оно сбудется; это общее условие всех других ожиданий: блага, справедливости, совершенства». Она — «остается ускользающим горизонтом, на линию которого нам не дано наступить», «исключает всякие гарантии в виде "страхующего антропо-теологического горизонта присутствия" (это — снова Деррида. — О.Г.), — это, скорее, горизонт отсутствия, заново пустеющий после очередного краха мессианских ожиданий и вместе с тем сохраняющий открытую структуру ожидания, сходную со структурой гостеприимства». То будет, полагает он, «эпоха веры, остающейся без всяких гарантий и именно так себя осознающей».

По совести сказать, у меня нет уверенности в том, что Эпштейн — именно в своем, по моему разумению, основополагающем, качестве религиозного мыслителя — будет здесь, в России, как следует услышан. Пожалуй, у приверженцев более типичных взглядов на обсуждаемые в книге предметы он скорее вызовет возражения (которые, если они будут подробно развиты и внятно аргументированы, очень бы хотелось прочитать), а то и вовсе протест, ибо позиции, им занимаемые, при всей своей виртуозной вписанности в традиции изрядно неортодоксальны.

В современном отечественном интеллектуальном контексте он, похоже, представляет собой фигуру вполне одинокостоящую — и это при том, что из истории русской религиозной мысли начала XX века он выводится вполне органично и прямо ей наследует. Среди его духовных собратьев в нашей культуре я могла бы назвать, пожалуй, разве что только недавно умершего Григория Соломоновича Померанца. (В культуре англоязычной у Эпштейна явно есть не то чтобы совсем единомышленники, но, по крайней мере, люди, прочитывающие его сочувственно, имеющие с ним точки соприкосновения, партнеры по диалогу. В приложениях к книге даны образчики текстов, позволяю-

щих составить представление об их мышлении. Прежде всего это — Томас Альтцер, «один из крупнейших американских (пост)религиозных мыслителей и создателей теологии "смерти Бога"»; Эпштейн публикует фрагменты своей переписки с ним, позволяющие увидеть области их взаимного понимания и непонимания. Кроме того, это — канадский философ Чарльз Тейлор, посвятивший большое исследование истории секуляризации Запада от Средних веков до наших дней и рассматривающий там, среди прочего, выявленный и поименованный Эпштейном феномен «бедной религии». Наконец, в третьем приложении представлены отрывки из книг американских авторов Малкольма Джонса и Роуэна Уильямса, именно у Эпштейна нашедших модель для понимания Достоевского: у русского писателя они усматривают «религиозный минимализм», ставший, по мысли авторов, «одним из источников "бедной веры", много позднее возникшей в позднесоветском обществе». Он — мыслитель скорее надконфессиональный, хотя эта надконфессиональность отчетливо осознает свои христианские корни и даже подчеркивает

их. Чувствительный вообще к «возможностным» аспектам культуры, к тем точкам, из которых растут ее будущие или предполагаемые состояния (я бы сказала, тема потенциального в культуре — это его «фирменная» тема, которую в русскоязычной мысли не разрабатывает, кажется, больше никто), Эпштейн предлагает линию мысли, намеренную развиваться, безусловно, в направлении, намеченном христианством, и на его основе — но, кажется, выходя за его пределы. Он не экуменист — не сторонник объединения исторически сложившихся форм веры, но, скорее, свидетель возможности выхода за пределы их всех ради чего-то, сегодня еще мало представимого. Только возможности, которая, разумеется, может и не осуществиться, но которая уже теперь существует как культурный — и надкультурный — факт.

Во всяком случае, случившееся после атеизма «возвращение» к традициям религиозного понимания мира Эпштейн считает по-настоящему возможным только как их перерастание (следовательно, в некотором смысле — преодоление). Это — единственный жизнеспособный и зрячий способ связи с ними.

Одиннадцать острот Черчилля о России

Рубрику ведет Лев Аннинский

Вот уже сто лет человечество осмысляет, обговаривает и обсасывает высказывания Уинстона Черчилля о реальности. То есть обо всем на свете. Эти высказывания передаются из уст в уста, из источника в источник, из цитаты в цитату.

Два года назад английские читатели получили выверенное собрание высказываний знаменитого остролова — The Definitive Collection — где собраны и систематизированы «Churchill's WIT», что на русский переведено как «Изречения и размышления». Составитель и издатель английского собрания — Ричард Л. Лэнгуорт. Состав книги по существу настолько интересен, что я приведу названия разделов:

ПОЛЕМИКА. ИЗРЕЧЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ. РАССКАЗЫ И АНЕКДОТЫ. ЧЕРЧИЛЛИЗМЫ (ВЫРАЖЕНИЯ, ИЗОБРЕТЕННЫЕ ЧЕРЧИЛЛЕМ. — Л. А.). **ЧУВСТВО СЛОВА. ЛЮДИ. БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОДРУЖЕСТВО. СТРАНЫ. ВОЙНА. ПОЛИТИКА И ПРАВИТЕЛЬСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ, ИСКУССТВО И НАУКА. ЛИЧНОЕ. АФОРИЗМЫ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ЧЕРЧИЛЛЮ.**

Теперь собрание изречений и размышлений знаменитого британца получили и русские читатели. Заботливый и точный перевод с английского осуществил Александр Ливергант.

Триста страниц увлекательного текста. Две страницы — про нас с вами. В разделе «Страны». Это хочется откомментировать.

Я понимаю, что комментировать суждения одного из великих политиков XX столетия, да еще нобелевского лауреата по литературе — с моей стороны самонадеянность на грани интеллектуального посмешища. И все-таки я на это решаюсь. Потому что одиннадцать высказываний сэра Уинстона на наш счет мы и так про себя комментируем, не спрашивая ничьего позволения. Все равно торчат в нашем сознании, требуя реакции.

Моя реакция — тут.

1. Судьба обошлась с Россией безжалостно. Ее корабль затонул, когда до гавани оставалось не более полумили. (1917)

«Судьба» — хорошее слово для обозначения такого рода дел. Она, «судьба», пожалуй, вообще безжалостна. А что, ситуация, оказавшаяся смертельной для царской России, не была создана усилиями других участников войны, включая Британию? А что, они, эти участники, не надеялись увидеть «через полмили» решение своих национальных проблем? И что получили? Компьенский лес, мирный договор, унижение Германии. А потом — приход Гитлера? И как насчет судьбы? К кому она оказалась небезжалостна? К Британии?

2. Признать большевиков — то же самое, что легализовать гомосексуализм. (1919)

Вы, господа, в конце концов и признали гомосексуализм в качестве свидетельства политкорректности столь излюбленной вами демократии. Вы на Западе продолжаете борьбу за эту политкорректность уже на почве законности однополых браков. Большевики тут ни при чем.

3. После того как я расправился со всеми тиграми и львами, стать жертвой павианов мне бы не хотелось. (1919)

Это мы — павианы? А думать в 1919 году, что со всеми тиграми и львами Британия уже расправилась, — это зоркость укротителя? А то, что к 1939 году в роли вооружившихся львов и тигров оказались вчерашние павианы, вообразившие себя существами высшей расы, — не ответ ли павианского начала всечеловеческой слепоте, его прикрывающей?

4. В России человека называют реакционером, если он не хочет, чтобы самого его ограбили, а жену и детей убили. (1919)

А в Британии, в Германии и в любой из стран, сцепившихся в кровавый клубок мировой войны, много ли было таких мудрецов, которые хотели бы, чтобы их ограбили, а детей и жен убили? А уж как их назвать: реакционерами, революционерами, интернационалистами или нацистами, — это уж как выйдет.

5. В философии русских большевиков нет ни одного социального или экономического принципа, который не был бы миллион лет назад осуществлен на практике термитами. (1927)

Ну, вот, от павианов к термитам. А если пути совместного выживания или взаимопощады на протяжении миллиона лет опробованы в человечестве как в части животного мира, — так в этом тоже большевики виноваты?

6. Разве Англия, Франция и Америка в 1919 году воевали с Советской Россией? Нет, конечно... Они не раз повторяли, что им совершенно безразлично, как русские устроят свои внутренние дела. Им было все равно — вот теперь и расплачиваются! (1929)

Всем безразлично, как их соседи устроят свои внутренние дела, а потом оказывается, что счета перемешаны, и платить надо кровью. Вот теперь и соображаем, как устроить геополитические балансы Севера и Юга, Запада и Востока — чтобы не пришлось неожиданно расплачиваться...

7. В революции участвовали самые разные русские. А вот пожинать ее плоды не довелось никому. (1931)

Пожинать ее плоды досталось всем! А если бы все повернулось как-то иначе, все равно всем бы досталось. Впрочем, может, под другими национальными адресами.

8. Как поведет себя Россия, я предсказать не берусь. Это всегда загадка, больше того — головоломка, нет, тайна за семью печатями. А впрочем, у этой загадки, может, и есть отгадка — русские национальные интересы. (1939)

Отгадка в том, что путь России и решение вставших перед ней вопросов — загадка прежде всего для самих русских. Наградила же «судьба» такой геополитической неизбежностью, когда ты или погибнешь, или спасешься всеотзывчивостью.

9. Русских всегда недооценивали. А между тем они умеют хранить тайны не только от врагов, но и от друзей. (1942)

От самих себя приходится хранить тайны нашего самоспасения. От раскола,

дремлющего в нашем многонациональном составе. От свирепого единения, удерживающего от гибельного раскола.

10. ПРИЗРАК ОТЦА ЧЕРЧИЛЛЯ. В России по-прежнему есть царь?

У.Ч. Да, но это уже не Романов. У него другая фамилия. (1947)

Да, царь есть. Царь в голове. Уже не Романов и даже не Сталин, не Хрущев и не Брежнев, не Ельцин и не... Там другая фамилия.

11. ...настанет день, когда всем станет окончательно ясно, что задушить большевизм в колыбели было бы величайшим благом для всего человечества. (1949)

Надо же: в 1949 году все еще бредит большевизмом, который следовало задушить за 30 лет до того. Благом для всего человечества было бы глобальное поумнение потомков, но оно, увы, человечеству не грозит. Так что история продолжается.

* * *

Перед закрытием лавки. Хочется завершить афоризмом про медведя. Считается, что Черчилль сказал это про Джона Фостера Даллеса. Беру на себя смелость отнести это к нам, то есть к России.

«Медведь в посудной лавке. Это единственный медведь, который носит свою посудную лавку с собой».

Только бы не растерять по дороге.

Summary

Alexander MELIKHOV. My little Taj-Mahal. A novel

Does love exist after the death? Does life exist after the death of the beloved person? And what is the memory — a gravestone or the Temple in the soul of the one who has survived?

Poetry

«Wind from the Hudson» — this is the name of our project to compose the magazine's version of an anthology of today's Russian poetry from America. Together with Andrey GRITZMAN, the editor-in-chief of the international magazine «Interpoesia», we'll try to collect some poems of the most bright Russian authors living in the USA and present them in this and the next issues.

A warm fresh wind from the sea bursts into the «Mediterranean Songs» of Olesya NICKOLAEVA easily recognizable by their intonation.

With a heavy heart we present «The Last Poems» of recently passed away Igor MELAMED.

Nadezda SIRIKH. One More Time about England

Nadezda Sirikh is not a tourist or a guest in England. She has been living there for more than fifteen years and knows the country from inside but still she is looking at it a little bit from outside and thus preserves somehow objectivity of the view. This makes particularly interesting for us her observations over the English — what are they like in everyday life and whether our stereo-typed ideas of them are right.

The Critique

«To speak seriously when in fact the relationships of a person with God were characterized with anything other than this unavoidably tense combination of the impossible and the necessary? There are things (the main, basic things of life are exactly of this type) like the sun at which one can't look directly without risking to burn one's eyes just because thus is the human scale and the human optics», -- observes Olga BALLA, rereading «The Laurel» by Evgenij Vodolazkin.

The whole of the literary-critical section in this issue is dedicated to the books about the search of Faith and the purport of life.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

На журнал «Дружба народов»

можно подписаться с любого месяца во всех отделениях
Почты России

подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» —

70250

подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» —

91826

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала
дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

<http://drujba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

В ближайшее время мобильная версия «ДН» станет доступной
для устройств на iOS и Android

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой